This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4345.28.2

Harvard College
Library

THE GIFT OF
Archibald Cary Coolidge
Class of 1887
PROFESSOR OF HISTORY

KIREEVSKII
POLNOE SOBRANIE
SOCHINENII
I

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

КИРѢЕВСКАГО.

ТОМЪ I,

изданный

А. И. КОШЕЛЕВЫМЪ.

МОСКВА.
Въ типографіи П. Бахметева.

1861.

22
22

Sla. 4345.28.2

HARVARD COLLEGE LIBRARY
GIFT OF
ARCHIBALD CARY COOLIDGE
APR 9 1924

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, 21-го декабря 1861 года.

Цензора: *Н. Гиляровъ-Платоновъ.*
А. Петровъ.

Издаваемыя нынѣ сочиненія Кирѣевскаго были отпечатаны почти два года тому назадъ,—но собраніе необходимыхъ матеріаловъ для біографіи и нѣкоторыя другія обстоятельства задержали выпускъ въ свѣтъ этихъ двухъ томовъ. Мы надѣемся, со временемъ, издать третій томъ, дополнительный, въ который войдутъ письма Кирѣевскаго къ разнымъ лицамъ и нѣкоторыя вновь найденныя небольшія статьи и замѣтки.

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ БІОГРАФІИ

И. В. КИРѢЕВСКАГО.

Родъ Кирѣевскихъ принадлежитъ къ числу самыхъ старинныхъ и значительныхъ родовъ Бѣлевскихъ и Козельскихъ дворянъ. Въ старину, Кирѣевскіе служили по Бѣлеву, владѣли въ Бѣлевскомъ уѣздѣ многими вотчинами и помѣстьями, и имъ изстари принадлежало село Долбино, въ 7 верстахъ отъ г. Бѣлева. Замѣчательное красотою мѣстоположенія, Долбино знаменито въ округѣ своею старинною церковью, въ которой находится чудотворный образъ Успенія Пресвятой Богородицы, усердно чтимый мѣстными жителями. Въ продолженіе лѣтнихъ мѣсяцевъ, почти ежедневно являются изъ г. Бѣлева благочестивые горожане отслужить молебенъ и поклониться Св. Иконѣ. Въ Августѣ, во время Успенской ярмарки, нѣсколько тысячь народа стекается въ с. Долбино изъ всѣхъ окружныхъ городовъ и уѣздовъ.

Въ Долбинѣ прошли первые дѣтскіе годы И. В. Кирѣевскаго. Его отецъ, Василій Ивановичъ Кирѣевскій, былъ человѣкъ замѣчательно просвѣщенный. Онъ зналъ пять языковъ; библіотека, имъ собранная, свидѣтельствуетъ о его любви къ чтенію; въ молодости, самъ переводилъ и даже печаталъ романы и другія мелкія литературныя произведенія того времени; но по преимуществу онъ занимался естественными науками, физикой, химіей и медициной; охотно и много работалъ въ своей лабораторіи; съ успѣхомъ лечилъ всѣхъ, требовавшихъ его помощи. Онъ служилъ въ гвардіи, и вышелъ въ отставку секундъ-маіоромъ; въ 1805 году женился на Авдотьѣ Петровнѣ Юшковой. Во время первой милиціи былъ онъ выбранъ въ дружинные начальники. Въ 1812 году перевезъ всю свою семью въ Орелъ. Здѣсь и въ Орловской деревнѣ своей (Кирѣевской Слободкѣ), въ 3-хъ верстахъ отъ Орла, онъ далъ пріютъ многимъ семействамъ,

бѣжавшимъ изъ Минска, Смоленска, Вязьмы и Дорогобужа; взялъ на себя леченіе, содержаніе и продовольствіе 90 человѣкъ раненыхъ Русскихъ, съ христіанскимъ самоотверженіемъ ухаживалъ за больными, брошенными Французами,—и на подвигѣ христіанскаго сердоболія заразившись тифозною горячкою, скончался въ Орлѣ 1-го Ноября 1812 года. Тѣло его было перевезено въ с. Долбино и похоронено въ церкви. Послѣ него остались два сына—Иванъ (родился въ Москвѣ 1806 года 22 Марта) и Петръ (родился въ Долбинѣ 1808 года 11 Февраля), и еще дочь Марія (род. 1811 года 8 Августа), на рукахъ своей матери, овдовѣвшей на 23-мъ году жизни.

Авдотья Петровна Кирѣевская возвратилась съ дѣтьми въ Долбино. Сюда въ началѣ 1813 года переѣхалъ Василій Андреевичъ Жуковскій, ея близкій родственникъ, воспитанный съ нею вмѣстѣ, и съ дѣтства съ нею дружный. Жуковскій прожилъ здѣсь почти два года. Въ концѣ 1815 года онъ оставилъ свою Бѣлевскую родину: поѣхалъ въ Петербургъ для изданія своихъ стихотвореній, надѣясь возвратиться скоро и думая посвятить себя воспитанію маленькихъ Кирѣевскихъ и принять на себя опекунскія заботы.

Вотъ отрывки изъ его писемъ 1815 года:

«Вотъ мое расположеніе: кончивъ изданіе своихъ стиховъ, котораго на бѣду никому постороннему поручить не могу, тотчасъ отправлюсь въ Дерптъ..... Вы между тѣмъ увѣдомьте, что́ вы хотите дѣлать, когда соберетесь къ намъ и когда должно мнѣ пріѣхать за вами. Гораздо было бы лучше, когда бы я васъ и проводилъ изъ Дерпта, тогда могъ бы подолѣе съ вами остаться. При свиданіи будемъ говорить о томъ, что для меня есть одно *изъ главныхъ дѣлъ жизни*, о воспитаніи нашихъ дѣтей. Я ждалъ и жду плана, и право *не даромъ* сказалъ, что въ этотъ планъ входитъ много моего будущаго. Чтобы придумать что-нибудь основательное, надобно имѣть этотъ планъ въ рукахъ; а вы все еще его не присылаете.»

«Милые друзья, благодарствуйте за добрые совѣты, а еще болѣе за то нѣжное чувство дружбы, которое видно въ вашихъ письмахъ. Слава Богу! Это восклицаніе весьма тутъ кстати. Какъ не сказать слава Богу, думая о друзьяхъ и видя ихъ къ себѣ дружбу? Послушайте, милая Долбинская сестра (*). Я и самъ было испугался своего предложенія (**), сдѣланнаго вамъ въ первую минуту, но испугался только своей неспособности его исполнить. Что, если бы мнѣ удалось только болѣе еще испортить дѣла ваши? Но, какъ говорятъ, на безрыбьѣ и ракъ рыба, а я готовъ быть для васъ ракомъ. Что же было бы лучше, какъ потрудиться для нашихъ милыхъ дѣтенковъ, да вы отъ меня не уйдете. Дайте мнѣ устроить свое здѣшнее, и я опять у васъ, опять въ своей семьѣ, опять въ прекрасномъ родимомъ краю, окруженный всѣми милыми воспоминаніями, среди соловьевъ и розъ и проч. и проч. Знаете, что всякій ясный день, всякій запахъ березы производитъ во мнѣ родъ Heimweh. . . . .»

Жуковскому не суждено было возвратиться на житье въ Долбино. Жуковскій остался въ Петербургѣ, вступилъ въ службу и только изрѣдка, и на короткое время, могъ пріѣзжать въ свою Бѣлевскую родину. Но нѣсколько лѣтъ, проведенныхъ вблизи такого человѣка, каковъ Жуковскій, не могли пройти безъ слѣда для молодой души Кирѣевскаго. Кирѣевскій развился весьма рано. Еще въ 1813 году, онъ такъ хорошо владѣлъ шахматною игрою, что плѣнный генералъ Бонами не рѣшался играть съ нимъ, боясь проиграть семилѣтнему мальчику; съ любопытствомъ и по нѣскольку часовъ слѣдилъ за игрою ребенка, легко обыгрывавшаго другихъ Французскихъ офицеровъ. Десяти лѣтъ Кирѣевскій былъ коротко знакомъ со всѣми лучшими произведеніями Русской Словесности и такъ называемой классической Французской литературы; двѣнадцати лѣтъ онъ хорошо зналъ Нѣмецкій языкъ. Конечно, тихіе Долбинскіе вечера, когда Жуковскій почти каждый разъ прочитывалъ что-нибудь, только что имъ

(*) Авдотья Петровна Елагина.

(**) Быть опекуномъ надъ малолѣтными Кирѣевскими.

написанное, должны были имѣть сильное вліяніе на весь строй его будущей жизни; отсюда, быть можетъ, его рѣшительная склонность къ литературнымъ занятіямъ, идеально-поэтическое настроеніе его мыслей. Для Кирѣевскаго Жуковскій всегда оставался любимымъ поэтомъ. Излишне, кажется, говорить объ ихъ дружескихъ отношеніяхъ, неизмѣнявшихся во все продолженіе ихъ жизни. Жуковскій горячо любилъ Кирѣевскаго, вполнѣ цѣня и его способности, и возвышенную чистоту его души. При всѣхъ литературныхъ предпріятіяхъ Кирѣевскаго, Жуковскій спѣшилъ являться первымъ и ревностнымъ сотрудникомъ, и, если обстоятельства того требовали, энергическимъ заступникомъ. Зная Кирѣевскаго, онъ всегда смѣло могъ ручаться за благородство его стремленій, за искренность его желаній блага. Вотъ отрывокъ изъ письма Кирѣевскаго къ матери, писаннаго не задолго до кончины Жуковскаго.

«Съ тѣхъ поръ, какъ я вамъ писалъ, я получилъ письмо отъ Жуковскаго, въ отвѣтъ на мое. Удивительный человѣкъ этотъ Жуковскій. Хотя, кажется, знаешь необыкновенную красоту и возвышенность его души, однако при каждомъ новомъ случаѣ узнаешь, что сердце его еще выше и прекраснѣе, чѣмъ предполагалъ. Онъ почти кончилъ свою Одиссею, работая надъ нею постоянно, и перевелъ, и уже почти напечаталъ 23 пѣсни съ половиною, — и оторвался отъ этой работы, потому что пришла страстная недѣля, и онъ сталъ говѣть. Въ это время получилъ онъ мое письмо съ просьбою. Для говѣнья онъ оставилъ Одиссею; но для добраго дѣла въ ту же минуту нарушилъ свой святой шабашъ, и написалъ длинное и прекрасное письмо къ принцу Ольденбургскому, другое къ Б. и третье ко мнѣ. Эту жертву, конечно, Богъ приметъ, какъ живую молитву сердца.»

До пятнадцатилѣтняго возраста Кирѣевскіе оставались безвыѣздно въ Долбинѣ; у нихъ не было ни учителей, ни гувернеровъ (*); они росли и воспитывались подъ непосредст-

(*) При маленькихъ Кирѣевскихъ отъ 1815 до 1818 года былъ Нѣмецъ К. И. Вагнеръ, для упражненія въ Нѣмецкихъ разговорахъ. Обязанность его была одѣвать дѣтей, гулять съ ними, словомъ все, что требуется отъ дядьки; но онъ никогда не былъ ни гувернеромъ, ни преподавателемъ.

веннымъ руководствомъ матери и вотчима. Въ 1817 году А. П. Кирѣевская вышла за мужъ за своего внучатнаго брата Ал. Ан. Елагина. Елагинъ, горячо и нѣжно любившій Кирѣевскихъ, былъ ихъ единственнымъ учителемъ до 1822 года; и молодой Ваня Кирѣевскій привязался къ своему второму отцу всѣми силами своей любящей души. Кирѣевскій развивался быстро; не говоря уже о томъ, что онъ еще въ деревнѣ прекрасно выучился по Французски и по Нѣмецки, коротко познакомился съ литературами этихъ языковъ, перечелъ множество историческихъ книгъ, и основательно выучился математикѣ. Еще въ Долбинѣ началъ онъ читать философическія сочиненія, и первые писатели, которые случайно попались ему подъ руки, были Локкъ и Гельвецій, но они не оставили вреднаго впечатлѣнія на его отроческой душѣ (*). А. А. Елагинъ, въ началѣ усердный почитатель Канта, котораго «Критику чистаго разума» онъ вывезъ съ собою изъ заграничныхъ походовъ, въ 1819 году черезъ Веланскаго познакомился съ сочиненіями Шеллинга, сдѣлался его ревностнымъ поклонникомъ, и въ деревнѣ переводилъ его письма о догматизмѣ и критицизмѣ. Свѣтлый умъ и врожденныя философическія способности И. В. Кирѣевскаго были ярки въ этомъ, почти что отроческомъ возрастѣ; прежніе литературные разговоры, во время длинныхъ деревенскихъ вечеровъ не рѣдко стали замѣняться бесѣдами и спорами о предметахъ чисто философическихъ; и когда Елагины, для дальнѣйшаго воспитанія дѣтей, переселились въ Москву, молодой Кирѣевскій явился (1822) въ кругу своихъ сверстниковъ знакомымъ со многими положеніями тогдашней Германской философіи.

(*) Въ 1839 году, вотъ что писалъ Кирѣевскій А. И. Кошелеву: „О Гельвеціи, я думаю, и самъ былъ бы такого же мнѣнія, какъ ты, если бы прочелъ его теперь, но лѣтъ десять назадъ, онъ произвелъ на меня совсѣмъ другое дѣйствіе. Признаюсь тебѣ, что тогда онъ казался мнѣ не только отчетливымъ ясымъ, простонародно убѣдительнымъ, но даже нравственнымъ, не смотря на проповѣданіе эгоизма. Эгоизмъ этотъ казался мнѣ не точнымъ словомъ потому что подъ нимъ могли разумѣться и патріотизмъ и любовь къ человѣчеству и всѣ добродѣтели. Къ тому же мысль, что добродѣтель для насъ не только долгъ, но и счастіе, казалась мнѣ отмѣнно убѣдительною въ пользу Гельвеціи."

Въ Москвѣ (1822) И. В. началъ учиться по Латыни и по Гречески, и выучился сколько требовалось тогда для экзамена (*), бралъ уроки у Снегирева, Мерзлякова, Цвѣтаева, Чумакова и другихъ профессоровъ Московскаго Университета; слушалъ публичныя лекціи профессора Павлова, и выучился по Англійски. Нѣкоторые уроки онъ бралъ вмѣстѣ съ Ал. Ив. Кошелевымъ, и съ этихъ поръ начинается дружба Кирѣевскаго и Кошелева, крѣпкая на всю жизнь. Они вмѣстѣ выдержали такъ называемый комитетскій экзаменъ, и въ одно время вступили на службу въ 1824 году, въ Московскій Главный Архивъ Иностранной Коллегіи. Въ это время, въ Архивѣ, подъ просвѣщеннымъ начальствомъ Алексѣя Ѳедоровича Малиновскаго, служилъ цвѣтъ тогдашней Московской молодежи,—архивные юноши, какъ называлъ ихъ Пушкинъ. Товарищами Кирѣевскаго были: Веневитиновы (Д. В. и А. В.), В. П. Титовъ, С. П. Шевыревъ, И. С. Мальцевъ, Н. А. Мельгуновъ, С. А. Соболевскій и многіе другіе. Изъ нихъ составился первый кругъ друзей Кирѣевскаго, и къ нему примкнули питомцы Московскаго Университета: Н. М. Рожалинъ, М. А. Максимовичъ и М. П. Погодинъ. Это было цвѣтущее время Русской Словесности, ознаменованное яркими успѣхами Пушкина; вокругъ него начинала свѣтиться блестящая плеяда первоклассныхъ поэтическихъ талантовъ; имена: Баратынскаго, Языкова, Барона Дельвига, Веневитинова, Хомякова, начали не рѣдко мелькать въ альманахахъ и журналахъ того времени. Они навсегда останутся драгоцѣннымъ украшеніемъ Русской Словесности;—но рядомъ съ возникновеніемъ дѣятельности чисто литературной, въ Москвѣ стала возникать въ это время новая умственная дѣятельность, подъ вліяніемъ философіи Шеллинга. Въ 1821 году профессоръ М. Г. Павловъ, по возвращеніи изъ-за границы, читалъ въ Университетѣ и въ Университетскомъ благородномъ пансіонѣ лекціи о природѣ. Впечатлѣніе его лекцій было сильное и

(*) Недостаточность своихъ свѣдѣній въ древнихъ языкахъ, И. В. почувствовалъ гораздо позднѣе, и въ сороковыхъ годахъ, черезъ 20 лѣтъ, снова сталъ учиться по Латыни и по Гречески, и выучился хорошо, такъ что могъ въ подлинникѣ читать классиковъ и Св. Отцовъ.

плодоносное, возбудившее въ тогдашнемъ поколѣніи Москвичей сочувствіе къ философіи Германской. Однимъ изъ первыхъ ея поборниковъ явился тогда питомецъ Московскаго Университета, князь В. Ѳ. Одоевскій, собиравшій у себя небольшой кругъ молодыхъ литераторовъ, во имя *Любомудрія*, и съ 1824 года издававшій свою 4-хъ книжную Мнемозину, въ началѣ которой была помѣщена прекрасная статья его учителя Павлова о способахъ изслѣдованія природы. Къ этому кругу принадлежалъ Кирѣевскій съ своими архивскими сослуживцами, между которыми самою блестящею и любимою надеждою былъ Д. Веневитиновъ, «рожденный для философіи еще болѣе, чѣмъ для поэзіи» (*); но по несчастію, у той и другой отнятый преждевременною неожиданною смертью. Еще въ исходѣ 1826 года, когда, пріѣхавши въ Москву, Пушкинъ такъ дружно сошелся съ Веневитиновымъ и сблизился съ его товарищами, у нихъ состоялся новый литературный журналъ, Московскій Вѣстникъ, подъ редакціей М. П. Погодина. Кирѣевскій не выступалъ еще на литературное поприще, къ которому готовился, и на которомъ начинали дѣйствовать его товарищи. Къ этому времени (1826 и 1827) относятся первыя уцѣлѣвшія его письма, и мы помѣщаемъ ихъ здѣсь вполнѣ.

КЪ А. А. ЕЛАГИНУ.

1826 Августъ.

«Вы ко мнѣ не хотите писать, милый папенька, потому, что въ грустномъ расположеніи духа, а я гораздо лучше бы хотѣлъ отъ васъ получить грустное письмо, нежели шуточное, и пишу къ вамъ теперь именно потому, что мнѣ не весело. Въ эти минуты душа невольно какъ-то обращается къ тому, что всего дороже, и забываетъ все, что ее разсѣявало, и всѣ обыкновенныя занятія, которыя, скользя только по поверхности ея, не доходили въ глубь. Я, по крайней мѣрѣ во время печали, невольно ищу предмета, который бы вполнѣ занималъ всего меня, который бы заключалъ въ себѣ не одно опредѣленное желаніе, не одну опредѣленную мысль, но входилъ бы во всѣ желанія, во всѣ мысли,

(*) Слова Кирѣевскаго.

и если что нибудь живое на землѣ можетъ быть такимъ предметомъ *полнаго я*, то, безъ сомнѣнія, это вы и маменька. Ибо вы оба служите для меня связью всей прошедшей моей жизни, и входите во всѣ тѣ планы, которые воображеніе строитъ въ будущемъ, которые, можетъ быть, не сбыточны, но которые трогаютъ самыя чувствительныя струны моего сердца. На всемъ пути жизни моей (которую, признаюсь, люблю одѣвать въ блестящія краски) я вижу васъ непремѣннымъ сопутникомъ моимъ и до сихъ поръ не рождалось у меня ни одного желанія, ни одной надежды, которыя бы вполнѣ занимали меня, и которыя бы могли исполниться безъ васъ. Вотъ почему и думается объ васъ, когда грустно, а если думается, то и пишется. Но, впрочемъ, мысли эти не связываются ни съ чѣмъ тѣмъ, что у насъ *теперь* дѣлается, ни въ чемъ изъ того, что насъ *теперь* занимаетъ, и связываются только съ тѣмъ, что занимаетъ меня всегда, къ чему я постоянно возвращаюсь отъ вседневныхъ занятій. И такъ, если бы писать къ вамъ объ томъ, о чемъ думается, и такъ, какъ хочется, то я не писалъ бы къ вамъ ни объ васъ, ни обо мнѣ, ни объ нашемъ, но писалъ бы къ вамъ о высочайшемъ счастіи, о средствахъ къ общему нашему достиженію онаго, о самоусовершествованіи, и т. п. Не знаю, впрочемъ, въ какую минуту вы получите письмо мое; можетъ быть, въ минуту холодную, — а мнѣ бы не хотѣлось профанировать моихъ мыслей. И такъ, если вы хотите, чтобы я къ вамъ писалъ, то обѣщайте мнѣ, что вы иначе не распечатаете письма моего, какъ тогда, когда вамъ будетъ грустно. Это небходимое условіе для того, чтобы понять меня, какъ я того хочу.»

1827.

КЪ А. И. КОШЕЛЕВУ.

«Спасибо, Кошелевъ, за твое письмо. Истинно счастливый подарокъ. Я въ немъ нашелъ прежнее участіе, прежнюю любовь и довѣренность. Минута полученія была для меня драгоцѣнною минутою. Признаться стыдно, но необходимо для облегченія совѣсти, что и я начиналъ уже сомнѣваться

въ твоихъ чувствахъ ко мнѣ. Твои холодныя письма— и Богъ знаетъ что еще—а можетъ быть, и привычка къ потерямъ, внушали мнѣ самыя грустныя мысли. Я ихъ развивалъ и оправдывалъ. Я думалъ: теперь Кошелевъ живетъ въ свѣтѣ, сдѣлалъ много новыхъ знакомствъ и, можетъ быть, пріобрѣлъ новыхъ друзей; они открыли ему новую сторону въ жизни, и его образъ мыслей могъ измѣниться; можетъ быть, онъ нашелъ людей съ умомъ возвышеннымъ, съ дарованіями рѣшительными, и тѣ качества, которыя уважалъ прежде, уже считаетъ ничтожными. Я съ своей стороны долгимъ молчаніемъ далъ ему право думать, что и я перемѣнился, и пр. пр. Все это оправдывалось одно другимъ и сливалось въ одно тяжелое чувство. Но твое письмо, милое, дружеское, разомъ уничтожило все сплетенье несправедливыхъ предположеній, сказавъ: Кошелевъ тотъ же; онъ тебя любитъ и увѣренъ въ твоей любви.

«Благодарю тебя за твои разспросы обо мнѣ и буду охотно отвѣчать на нихъ обстоятельно; ибо нѣтъ тяжеле состоянія, какъ быть неузнаннымъ тѣми, кого мы любимъ. Для меня на всемъ земномъ шарѣ существуютъ только два человѣка, которыхъ одобреніемъ я дорожу, какъ собственнымъ: это ты и Титовъ. И оба вы меня не поняли. Вы думаете, что я, не зная цѣны жизни, безполезно трачу свое время, не сожалѣя о потерянныхъ минутахъ и не имѣя въ душѣ того огня, который не позволяетъ успокоиться въ бездѣйствіи, за настоящимъ забываю и прошедшее и будущее; что я произвольно предоставилъ обстоятельствамъ направлять мои поступки по волѣ случая, и оправдываю это состояніе (которое ты справедливо называешь состояніемъ ничтожества) тѣмъ, что въ немъ есть нѣчто поэтическое. Но въ самомъ дѣлѣ не знаю я: есть ли поэзія въ произвольной утратѣ самобытности; знаю только, что я не искалъ *такой* поэзіи. Но не вы виноваты въ томъ, что не поняли меня; виноватъ одинъ я, или, лучше сказать, тѣ обстоятельства, которыя ввели меня въ двумысленное положеніе.

«Еслибы передъ рожденіемъ судьба спросила меня: что хочешь ты избрать изъ двухъ? или родиться воиномъ, жить

въ безпрестанныхъ опасностяхъ, безпрестанно бороться съ препятствіями, и не зная отдыха, нагрэдою за всѣ труды имѣть одно сознаніе, что ты идешь къ цѣли высокой, — и лечь на половинѣ пути, не имѣя даже въ послѣднюю минуту утѣшенья сказать себѣ, что ты видѣлъ желанное? или провесть спокойный вѣкъ, въ кругу мирнаго семейства, гдѣ желанья не выходятъ изъ опредѣленнаго круга возможностей, гдѣ одна минута сглаживаетъ другую, и каждая встрѣчаетъ тебя равно довольнымъ, и гдѣ жизнь течетъ безъ шума и утекаетъ безъ слѣда?... Я бы не задумался о выборѣ и рѣшительною рукою взялъ бы мечъ. Но, по несчастію, судьба не посовѣтовалась со мною. Она окружила меня такими отношеніями, которыя разорвать значило бы измѣнить стремленію къ той цѣли, которая одна можетъ украсить жизнь, но которыя сосредоточиваютъ всю дѣятельность въ силу перенесенія. И здѣсь существуетъ для меня борьба, и здѣсь есть опасности и препятствія. Если онѣ незамѣтны, ибо происходятъ внутри меня, то отъ того для меня значительность ихъ не уменьшается.

«Въ самомъ дѣлѣ, разсмотри безпристрастно (хотя въ теперешнемъ твоемъ положеніи это значитъ требовать многаго): какое поприще могу я избрать въ жизни, выключая того, въ которомъ теперь нахожусь?—Служить—но съ какою цѣлью? —Могу ли я въ службѣ принесть значительную пользу отечеству? Ты говоришь, что сообщеніе съ людьми необходимо для нашего образованія,—и я съ этимъ совершенно согласенъ; но ты зовешь въ П.—Назови же тѣхъ счастливцевъ, для сообщества которыхъ долженъ я ѣхать за тысячу верстъ, и тамъ употреблять большую часть времени на безполезныя дѣла. Мнѣ кажется, что здѣсь есть вѣрнѣйшее средство для образованія: это—возможность употреблять время, какъ хочешь. Не думай, однакоже, чтобы я забылъ, что я Русскій и не считалъ себя обязаннымъ дѣйствовать для блага своего отечества. Нѣтъ! всѣ силы мои посвящены ему. Но мнѣ кажется, что внѣ службы—я могу быть ему полезнѣе, нежели употребляя все время на службу. Я могу быть литераторомъ, а содѣйствовать къ просвѣщенію народа не есть ли величай-

шее благодѣяніе, которое можно ему сдѣлать? На этомъ поприщѣ мои дѣйствія не будутъ безполезны; я могу это сказать безъ самонадѣянности. Я не безполезно провелъ мою молодость, и уже теперь могу съ пользою дѣлиться своими свѣдѣніями. Но цѣлую жизнь имѣя главною цѣлью: образовываться, могу ли я не имѣть вѣса въ литературѣ? Я буду имѣть его, и дамъ литературѣ свое направленіе. Мнѣ все ручается въ томъ, а болѣе всего сильные помощники, въ числѣ которыхъ не лишнее упомянуть о Кошелевѣ; ибо люди, связанные единомыслiемъ, должны имѣть одно направленіе. Всѣ тѣ, которые совпадаютъ со мной въ образѣ мыслей, будутъ моими сообщниками. Кромѣ того, слушай одно изъ моихъ любимыхъ мечтаній: у меня четыре брата, которымъ природа не отказала въ способностяхъ. Всѣ они будутъ литераторами, и у всѣхъ будетъ отражаться одинъ духъ. Куда бы насъ судьба ни завела и какъ бы обстоятельства ни разрознили, у насъ все будетъ общая цѣль: благо отечества, и общее средство: литература. Чего мы не сдѣлаемъ общими силами? Не забудь, что когда я говорю *мы*, то разумѣю и тебя, и Титова .....

«Мы возвратимъ права истинной религіи, изящное согласимъ съ нравственностію, возбудимъ любовь къ правдѣ, глупый либерализмъ замѣнимъ уваженіемъ законовъ, и чистоту жизни возвысимъ надъ чистотою слога. Но чѣмъ ограничить наше вліяніе? Гдѣ положишь ты ему предѣлъ, сказавъ nec plus ultra? Пусть самое смѣлое воображеніе поставитъ ему Геркулесовы столбы,—новый Колумбъ откроетъ за ними новый свѣтъ.

«Вотъ мои планы на будущее. Что можетъ быть ихъ восхитительнѣе? Если судьба будетъ намъ покровительствовать, то представь себѣ, что лѣтъ черезъ 20 мы сойдемся въ дружескій кругъ, гдѣ каждый изъ насъ будетъ отдавать отчетъ въ томъ, что онъ сдѣлалъ, и въ свои свидѣтели призывать просвѣщеніе Россіи. Какая минута!

«Но если я теперь не дѣлаю ничего, то причина тому, по несчастію, слишкомъ достаточная. Я такъ разстроилъ свое здоровье въ нынѣшнюю зиму, что всякое напряженіе ума

для меня вредно. Нѣкоторыя обстоятельства заставляютъ даже опасаться чахотки, и потому ѣздить верхомъ, ходить, спать и прочее, составляютъ всѣ мои занятія. Даже кофе, на который ты такъ нападаешь, долженъ я былъ промѣнять на шоколадъ à la santé. Трубка еще не покидаетъ меня, но это потому, что она мнѣ не вредитъ. Впрочемъ, образъ жизни моей весьма однообразенъ. Утро я провожу въ своей комнатѣ, читаю романы, стихи и все то, что не требуетъ большаго труда. Послѣ обѣда сплю, а ввечеру ѣзжу верхомъ. Новыхъ знакомствъ не дѣлаю, и видаюсь почти только съ Рожалинымъ, Полевымъ, Мицкевичемъ и Соболевскимъ, съ которымъ вмѣстѣ ѣзжу по окресностямъ Москвы. Вотъ тебѣ подробный отчетъ обо всемъ, что до меня касается. Надѣюсь получить отъ тебя такой же. Если же ты собираешься скоро къ намъ, то оставь Титову завѣщаніе: не лѣниться. Онъ сталъ ни на что не похожъ.»

Въ началѣ 1827 года, когда въ Москвѣ возобновились литературные вечера у княгини З. А. Волконской, на которыхъ бывалъ Кирѣевскій, князь Вяземскій успѣлъ взять съ него слово написать что-нибудь для прочтенія, и онъ написалъ «Царицынскую ночь». Это былъ первый литературный опытъ Кирѣевскаго, сдѣлавшійся извѣстнымъ многочисленному кругу слушателей и нынѣ впервые напечатанный. Весною 1828 г., когда Московскіе литераторы провожали уѣзжавшаго въ Петербургъ Мицкевича, за ужиномъ, при поднесеніи ему серебрянаго кубка, И. Кирѣевскому первому пришлось произнесть свои стихи въ честь Польскаго поэта. Въ томъ же году, онъ написалъ для Московскаго Вѣстника, издаваемаго его друзьями, Погодинымъ и Шевыревымъ: *Нѣчто о характерѣ поэзіи Пушкина*. Статья была напечатана безъ подписи его имени и только съ цифрами 9 и 11. Тогда же и Петръ Кирѣевскій напечаталъ въ Вѣстникѣ отрывокъ изъ Кальдерона, переведенный имъ съ Испанскаго, и издалъ особою книжкою переводъ Байроновской повѣсти Вампиръ. Такимъ образомъ въ 1828 г. оба брата вмѣстѣ выступили на литературное поприще.

КЪ А. И. КОШЕЛЕВУ, ВЪ 1828 г. ОКТЯБРЯ 1-го.

«Получивши твое письмо 17 Сентября, я отложилъ отвѣтъ до сегодняшнаго дня, потому что рѣшился писать къ вамъ, Петербургскимъ, только два раза въ мѣсяцъ, 1-го и 15, для того, чтобы писать, ибо иначе я вѣчно бы остался при однихъ сборахъ. И такъ, ты не долженъ на меня сердиться за медленность отвѣта и напередъ пріучи себя ждать 2 недѣли, выключая экстренныхъ случаевъ. Я лучше хочу навѣрное писать изрѣдка, нежели собираться цѣлый годъ—писать каждый день, т. е. я не хочу брать примѣра съ людей, каковъ Кошелевъ. Нечего сказать, министръ на обѣщанія! Хотѣлъ писать часто и до сихъ поръ написалъ только одно письмо; хотѣлъ прислать отрывки изъ своихъ сочиненій объ исторіи, и я увѣренъ, и сочиненія и отрывки sind noch im Werden. Хотѣлъ перевести Cousin, хотѣлъ прочесть всего Гердера, и я дамъ руку отсѣчь, что ты одного не кончилъ, а другаго и не начиналъ. Знаешь ли ты, отчего ты до сихъ поръ ничего не написалъ?—Отъ того, что ты не пишешь стиховъ. Еслибы ты писалъ стихи, тогда бы ты любилъ выражать даже бездѣльныя мысли, и всякое слово, хорошо сказанное, имѣло бы для тебя цѣну хорошей мысли, а это необходимо для писателя съ душой. Тогда только пишется, когда весело писать, а тому, конечно, писать не весело, для кого изящно выражаться не имѣетъ самобытной прелести, отдѣльной отъ предмета. И потому: хочешь ли быть хорошимъ писателемъ въ прозѣ?—пиши стихи. Я увѣренъ, что Титовъ моего мнѣнія. Что Шеллингъ любитъ поэзію и хорошо знаетъ всѣхъ древнихъ и новыхъ поэтовъ,—это извѣстно; но, читая его рѣчь объ искусствахъ, нельзя сомнѣваться, чтобы онъ въ молодости не писалъ стиховъ. За то Кантъ, поручусь, никогда не прибралъ ни одной риѳмы; за то онѣ незваныя приходили къ нему въ его прозѣ; за то читатели Канта къ читателямъ Шеллинга какъ 5 къ 5000. Изо всего этого слѣдуетъ: Кошелевъ, пиши стихи! Не будешь писать стиховъ, не будешь имѣть читателей, какъ бы твои мысли хороши ни были; слѣдовательно: Кошелевъ, пиши стихи!

«Я увѣренъ, что не только для усовершенствованія слога, но и для образованія ума и воображенія, для развитія чувства изящнаго (которое, какъ мы съ тобой знаемъ, есть начало, причина, мѣра и цѣль всякаго усовершенствованія), слѣдовательно для счастія жизни, для красоты жизни, для возвышенности жизни, необходимо писать стихи; и потому, Кошелевъ, пиши стихи!

«Ты вѣрно согласенъ, что чѣмъ образованнѣе человѣкъ, тѣмъ онъ лучше владѣетъ своимъ языкомъ; но развей эту мысль и ты увидишь, что въ ней самой заключается еще другая: чѣмъ лучше человѣкъ владѣетъ языкомъ, тѣмъ онъ образованнѣе. Слѣдовательно, опять возвратимся къ моему припѣву: Кошелевъ, пиши стихи!

«Не думай, чтобы это была шутка, или, что я пишу къ тебѣ объ стихахъ отъ *нечего писать*: нѣтъ, у меня это крѣпко лежитъ на сердцѣ, и я считаю *за долгъ* говорить тебѣ объ томъ, что мнѣ кажется въ тебѣ недостаткомъ. Впрочемъ, если ты знаешь другое средство заставить себя заниматься языкомъ для самаго языка, тогда, пожалуй, можешь и не писать стиховъ. Но мнѣ все таки лучшимъ средствомъ кажутся стихи, потому: Кошелевъ, пиши стихи!

«Перейдемъ къ прозѣ, т. е. къ моимъ занятіямъ. Съ твоего отъѣзда мои занятія состояли въ ничего-недѣланіи. Прожектовъ много, но лѣни еще больше. Недумай однако, чтобъ я не писалъ стиховъ; я часто ихъ дѣлаю, хотя, разумѣется, никому не показываю. Но мое стихотворство не помѣшаетъ моей дѣятельности. Не знаю, отчего, мнѣ даже некогда и читать то, что хочется, а некогда отъ того вѣроятно, что я ничего не дѣлаю. Правда, я прочелъ комедій 200 послѣ твоего отъѣзда, одну съигралъ, одну перевелъ, но мои прожекты объ Жуковскомъ, объ критикѣ, объ философіи въ Россіи,—до сихъ поръ все еще прожекты. На дняхъ намѣренъ приняться за исполненіе. Между тѣмъ много еще другихъ сочиненій—кандидатовъ, которые просятся въ комплектъ, но которыхъ я до сихъ поръ оставляю при особенныхъ порученіяхъ. А между тѣмъ ты понимаешь, что они другъ другу мѣшаютъ, перебиваютъ другъ у друга мѣста и пр. Но я буду писать, и скоро. Ес-

ли бы ты зналъ, какъ весело быть писателемъ. Я написалъ одну статью, говоря по совѣсти довольно плохо, и если бы могъ, уничтожилъ бы ее теперь. Но, не смотря на то, эта одна плохая статья доставила мнѣ минуты неоцѣненныя; кромѣ многаго другаго, скажу только одно: есть въ Москвѣ одна дѣвушка, прекрасная , умная, любезная, которую я не знаю, и которая меня отъ роду не видывала. Тутъ еще нѣтъ ничего особенно пріятнаго, но дѣло въ томъ, что у этой дѣвушки есть альбомъ, куда она пишетъ все, что ей нравится, и, вообрази, подлѣ стиховъ Пушкина, Жуковскаго и пр., списано больше половины моей статьи. Что она нашла въ ней такого трогательнаго, я не знаю; но, не смотря на то, это одно можетъ заставить писать, если бы даже въ самой работѣ и не заключалось лучшей награды.

«Кстати или не кстати: на другой день послѣ твоего отъѣзда былъ у меня А. Н. съ своею поэмою. Я уговорилъ его не печатать ее, не сдѣлавши нѣкоторыхъ поправокъ; а поправки я ему задалъ такія, что, надѣюсь будетъ работы по крайней мѣрѣ еще на годъ. Мнѣ того только и хотѣлось, ибо въ поэмѣ много хорошихъ мѣстъ, но вся она никуда не годится. Чѣмъ больше онъ будетъ поправлять ее, тѣмъ лучше. Я знаю, ты другаго мнѣнія; но если ты хочешь спорить, то я возвращусь опять къ старому припѣву: Кошелевъ, пиши стихи. Между тѣмъ пиши письма. Сдѣлай по моему, пиши рѣдко и много. Отчего бы, напримѣръ, не развивать тебѣ твои мысли объ исторіи въ письмахъ ко мнѣ! Мы будемъ спорить, толковать, и, право, это будетъ намъ обоимъ полезно, а всего полезнѣе для твоего сочиненія, ибо это заставитъ тебя невольно больше и чаще объ немъ думать. Одно условіе: пиши безъ приготовленій, что въ голову придетъ, и въ томъ порядкѣ, какъ придетъ въ голову, иначе мнѣ вѣкъ не дождаться твоего письма. Такая переписка всего лучше познакомитъ насъ съ положеніемъ другъ друга; для насъ теоретическія мысли еще жизнь; наша опытность— опытность ума; покуда мы не будемъ богаче дѣлами, чѣмъ мыслями, до тѣхъ поръ, вмѣсто вопросовъ о здоровьѣ, о житьѣ-бытьѣ и пр., намъ надо спрашивать другъ у друга:

какія перемѣны въ вашемъ образѣ мыслей? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ мы скажемъ все. Въ старости будетъ у насъ другая переписка.

«Твоимъ мыслямъ о Cousin, я очень радъ. Что ты говоришь объ его лекціяхъ, я то же думалъ объ его fragments philosophiques. Но я еще больше радъ тому, что тебѣ нравится Гердеръ. Не испорченность ума, какъ ты думаешь, но бо́льшая зрѣлость заставляетъ тебя предпочитать поэтическое сухимъ выкладкамъ. Самъ Шеллингъ — поэтъ тамъ, гдѣ даетъ волю естественному стремленію своего ума. Только необходимость принаравливаться къ ограниченному понятію читателей заставляетъ его иногда быть сухимъ. Но, мнѣ кажется, онъ въ этомъ ошибся: кто не понялъ мысль чувствомъ, тотъ не понялъ ее, точно также какъ и тотъ, кто понялъ ее однимъ чувствомъ. Но для меня не понятно то, чго ты говоришь о пламенной любви Гердера ко *вселенной*. Что такое любовь ко вселенной? Ты что-то не то хотѣлъ сказать.

«Было у меня еще что-то сказать тебѣ, но теперь забылъ. Прощай. *Твой Кирѣевскій.*»

Въ концѣ 1829 года М. А. Максимовичь, собираясь издать Альманахъ *Денницу* на 1830 годъ, убѣдилъ Кирѣевскаго написать для нея Обозрѣніе Русской Словесности за 1829 годъ. И онъ охотно занялся этою второю статьею, написанною имъ для печати, и рѣшился подъ нею, въ первый разъ, подписать свое имя.

Въ Іюлѣ 1829 года, Петръ Васильевичъ Кирѣевскій отправился за границу для слушанія лекцій въ Германскихъ университетахъ. Ив. Вас. остался въ Москвѣ; онъ желалъ ѣхать въ чужіе края, прежде чѣмъ приступить къ исполненію своихъ завѣтныхъ предположеній объ изданіи журнала и заведеніи типографіи. Его приковывали къ Москвѣ другія сердечныя заботы. Иванъ Васильевичъ полюбилъ ту, которой впослѣдствіи суждено было сдѣлаться подругой его жизни, и въ Августѣ 1829 года искалъ ея руки; но предложеніе его, по нѣкоторымъ недоразумѣніямъ, не было принято. Со сто-

роны Кирѣевскаго, это не была минутная страсть, скоропреходящее увлеченіе молодости: онъ полюбилъ всею душою, на всю жизнь, и отказъ глубоко потрясъ всю его нравственную и физическую природу. Его, и безъ того слабое, здоровье видимо разстроилось, за него стали бояться чахотки, — и путешествіе было уже предписано медиками, какъ лучшее средство для разсѣянія и поправленія разстроеннаго здоровья. Иванъ Васильевичъ выѣхалъ изъ Москвы въ началѣ Января 1830 г. — и 11-го Января былъ уже въ Петербургѣ.

Письма Кирѣевскаго изъ-за границы.

11 Января 1830. 11 часовъ вечера.

«...Какъ провели вы нынѣшній день? Я встрѣтилъ его тяжело, а кончилъ грустно, слѣдовательно легче; я кончилъ его съ Жуковскимъ, у котораго въ комнатѣ пишу теперь. Хотѣлось бы разсказать вамъ все, что было со мною до сихъ поръ и, лучше сказать, было во мнѣ, но этого такъ много, такъ смѣшано, такъ нестройно. Оставя Москву, я уже оставилъ родину; въ ней все, что въ отечествѣ не могила и все, что могила; я оставилъ все; на дорогу вы отпустили со мною память о вашихъ слезахъ, которыхъ я причиною. Осушите ихъ, если любите меня; простите мнѣ то горе, которое я доставилъ вамъ; я возвращусь, возвращусь скоро. Это я чувствую, разставшись съ вами. Тогда, можетъ быть, мнѣ удастся твердостью, покорностью судьбѣ и возвышенностью надъ самимъ собою загладить ту слабость, которая заставила меня уѣхать, согнуться подъ ударомъ судьбы.»

Половина перваго.

«Я остановился писать, задумался и, очнувшись, уже не въ состояніи продолжать. Прощайте до завтра. Трое сутокъ я почти не спалъ, а сегодня почти ничего не ѣлъ и оттого усталъ очень, хотя здоровъ совершенно. Боюсь только, что завтра не вспомню всего, что говорилъ съ Жуковскимъ. Вы теперь еще не легли, а вы, маменька, еще, можетъ быть, долго не заснете. Чѣмъ заплачу я вамъ?»

12 Января.

«Я пріѣхалъ въ Пбргъ вчера въ два часа. Въ конторѣ дилижансовъ меня ждали уже два письма: одно отъ А. П., другое отъ Жуковскаго. — Первая пріискала для меня квартиру, а Василій Андреевичъ звалъ переѣхать прямо къ нему. Я такъ и сдѣлалъ. Жуковскій обрадовался мнѣ очень и провелъ со мною весь вечеръ, разспрашивалъ обо всѣхъ васъ, радовался моему намѣренію ѣхать учиться и совѣтовалъ ѣхать въ Берлинъ, хотя на мѣсяцъ. «Тамъ на мѣстѣ ты лучше увидишь, что тебѣ дѣлать: оставаться въ Берлинѣ, или ѣхать въ Парижъ». Послѣднее, однако, кажется, ему не нравится. Я послушаюсь его, поѣду въ Берлинъ, проведу тамъ мѣсяцъ, буду ходить на всѣ лекціи, которыя меня будутъ интересовать, познакомлюсь со всѣми учеными и примѣчательными людьми, и если увижу, что Берлинская жизнь полезнѣе для моего образованія, нежели сколько я ожидаю отъ нея, то останусь тамъ и больше... Разговоръ Жуковскаго я въ связи не припомню. Вотъ вамъ нѣкоторыя отрывочныя слова, которыя остались у меня въ памяти; вообще каждое его слово, какъ прежде было, носитъ въ себѣ душу, чувство, поэзію. Я мало съ нимъ разговаривалъ, потому что больше слушалъ, и старался удержать въ памяти все хорошо сказанное, т. е. все похожее на него; а хорошо сказано и похоже на него было каждое слово.

«При немъ невольно теплѣешь душею, и его присутствіе даетъ самой прозаической головѣ способность понимать поэзію. Каждая мысль его — ландшафтъ съ безконечною перспективою. Вотъ что я запомнилъ изъ его разговора: «Изо всѣхъ насъ твоя мать перемѣнилась меньше всѣхъ. Она все та же, по крайней мѣрѣ такъ кажется изъ ея писемъ. Все, кажется, она пишетъ *одно* письмо. — Ты будешь со временемъ писателемъ, когда поучишься хорошенько. Теперь объ этомъ еще и думать рано. У тебя въ слогѣ, сколько я читалъ твои сочиненія, есть свой характеръ; — виденъ человѣкъ мыслящій, но еще молодой, который кладетъ свои мысли на Прокрустову постель. Но со временемъ это качество можетъ быть полезно, ибо это доказываетъ привычку

думать. Теперь тебѣ надо наблюдать просто, безкорыстно. Теоріи только вредны, когда мало фактовъ. Замѣчай самъ все, и не старайся подвести подъ систему твои наблюденія; бойся вытянуть карлу и обрубить ноги великану. Впрочемъ, слогъ твой мнѣ нравится. Знаешь ли, у кого ты выучился писать? у твоей матери. Я не знаю никого, кто бы писалъ лучше ея. Ея письма совсѣмъ она. Она, М. А. и А. А. — вотъ три. А. А. писала прекрасно, il y avait du génie dans son style. Тутъ пріѣхалъ Г. П. Опухтинъ, и я ушелъ въ ту комнату, которую Жуковскій отвелъ для меня. Мнѣ бы хотѣлось описать вамъ эту комнату, потому что она произвела на меня сильное впечатлѣніе своими картинами. Горница почти квадратная. Съ одной стороны два окна и зеркало, передъ которымъ бюстъ покойной Прусской королевы, прекрасное лицо и хорошо сдѣлано. Она представлена сонною. На другой стѣнѣ картины Фридрихса. По серединѣ большая: ночь, луна и подъ нею сова. По полету видно, что она видитъ; въ расположеніи всей картины видна душа поэта. Съ обѣихъ сторонъ совы виситъ по двѣ маленькихъ четвероугольныхъ картинки. Одна подарокъ Александра Тургенева, который самъ заказалъ ее Фридриксу. Даль, небо, луна, — впереди рѣшетка, на которую облокотились трое: два Тургенева и Жуковскій. Такъ объяснилъ мнѣ самъ Жуковскій. Одного изъ этихъ мы вмѣстѣ похоронили, сказалъ онъ. Вторая картинка: ночь, море и на берегу обломки трехъ якорей. Третья картина: вечеръ, солнце только что зашло и западъ еще золотой; остальное небо, нѣжно-лазуревое, сливается съ горою такого же цвѣта. Впереди густая высокая трава, по срединѣ которой лежитъ могильный камень. Женщина въ черномъ платьѣ, въ покрывалѣ, подходитъ къ нему и, кажется, боится, чтобы кто-нибудь не видалъ ее. Эта картина понравилась мнѣ больше другихъ. Четвертая, къ ней, это могила Жидовская. Огромный камень лежитъ на трехъ другихъ меньшихъ. Никого нигдѣ нѣтъ. Все пусто и кажется холодно. Зеленая трава наклоняется кой-гдѣ отъ вѣтра. Небо сѣро и испещрено облаками; солнце уже сѣло и кой-гдѣ на облакахъ еще не погасли послѣдніе отблески его лучей.

Этимъ наполнена вторая стѣна противъ двери. На третьей стѣнѣ четыре картины, также Фридрихсовой работы. На одной, кажется, осень, внизу зеленая трава, на верху голыя вѣтви деревьевъ, надгробный памятникъ, крестъ, бесѣдка и утесъ. Все темно и дико. Вообще природа Фридрихсова какая-то мрачная и всегда одна. Это островъ Рюгенъ, на которомъ онъ жилъ долго. Другая картина—полуразвалившаяся каменная стѣна; на верху, сквозь узкое отверстіе, выходитъ луна. Внизу, сквозь вороты, чуть виденъ ландшафтъ: деревья, небо, гора и зелень. Третья картина: огромная чугунная рѣшетка и двери, растворенныя на кладбище, которое обросло густою, непроходимою травою. Четвертая картина: развалины, образующія сводъ по серединѣ колонны, подлѣ которой стоитъ, облокотившись, женщина. Она обернулась задомъ, но видно, по ея положенію, что она уже давно тутъ, давно задумалась, засмотрѣлась ли на что-нибудь, или ждетъ, или такъ задумалась—все это мѣшается въ головѣ и даетъ этой картинѣ необыкновенную прелесть. Между дверью и окномъ Мадонна съ Рафаэлевой,—чей-то подарокъ. Двѣ стѣны комнаты занимаетъ угловой диванъ, подлѣ котораго большой круглый столъ—подарокъ Прусскаго принца. Онъ самъ разрисовалъ его. Когда Опухтинъ уѣхалъ, я опять пришелъ къ Ж. Ему принесли Сѣверную Пчелу и разговоръ сдѣлался литературный. Про Булгарина онъ говоритъ, что у него есть что-то похожее на слогъ и однако нѣтъ слога; есть что-то похожее и на талантъ, хотя нѣтъ таланта; есть что-то похожее на свѣдѣнія, но свѣдѣній нѣтъ; однимъ словомъ, это-какой то восковой человѣкъ, на котораго разныя обстоятельства жизни положили нѣсколько разныхъ печатей, разныхъ гербовъ, и онъ носится съ ними, не имѣя ничего своего.

«Выжигинъ ему крѣпко не нравится, также и Самозванецъ; онъ говорилъ это самому Булгарину, который за то на него сердится. Юрій Милославскій ему понравился очень. Я показывалъ ему дѣтскій журналъ и сочиненія. Онъ прочелъ *все*, съ большимъ удовольствіемъ, смѣялся и особенно радовался повѣстью, которую хвалилъ на каждомъ почти словѣ. Разспрашивалъ объ нашемъ житьѣ-бытьѣ, взялъ мою статью на

ночь и улегся спать. На другой день говорилъ, что она ему не понравилась. Опять Прокрустова постель, говоритъ онъ. Гдѣ нашелъ ты литературу? Какая къ чорту въ ней жизнь? Что у насъ своего? Ты говоришь объ насъ, какъ можно говорить только объ Нѣмцахъ, Французахъ и проч. Душегрѣйка ему не понравилась, о Баратынскомъ также; однимъ словомъ, онъ почти ничего не похвалилъ. Говоритъ, однакоже, что эта статья также хорошо написана, какъ и первая, и со временемъ изъ меня будетъ прокъ, только надобно бросить Прокрустову постель.

«... Потомъ я отправился къ Титову и Кошелеву. Обѣдали мы вмѣстѣ съ Жуковскимъ, который остался дома нарочно для меня; разспрашивалъ про Долбино, про Мишенское. Всѣ дома, говоритъ онъ, всѣ слѣды прежняго уже не существуютъ. Въ Москвѣ я не зналъ ни одного дома; они сгорѣли, перестроены, уничтожены; въ Мишенскомъ также, въ Муратовѣ также. И это, казалось ему, было отмѣнно грустно. Послѣ обѣда онъ легъ спать въ моей комнатѣ; я также. Въ вечеру онъ отправился въ Эрмитажъ, а ко мнѣ пришелъ Кошелевъ и увелъ меня къ Одоевскому, гдѣ ждалъ Титовъ. Кошелевъ и Титовъ оба зовутъ меня переѣхать къ нимъ; но кажется, что я не стѣсняю Ж.— Здѣсь я останусь до слѣдующей середы, до 22-го Января. Въ своихъ я нашелъ здѣсь еще больше дружбы и теплоты, нежели сколько ожидалъ. Говоря свои, я разумѣю Титова и Кошелева. Вчерашній вечеръ у Одоевскихъ была совсѣмъ Москва.

«Я былъ вчера въ Казанскомъ соборѣ и слушалъ Евангеліе загадавши, но не разслушалъ ни однаго слова, кромѣ послѣдняго: «*И возвратится въ домъ свой*».

«Прощайте, пора на почту.»

Отъ 14-го Января.

«... Оттуда я пошелъ осматривать Петербургскія улицы и зашелъ въ лавку къ Смирдину. Вертеръ, который у него былъ, уже весь проданъ (*). Онъ проситъ прислать ему экзем-

(*) Переводъ П. М. Рожалина, изданный Елагинымъ.

пляровъ 20 на коммиссію. Полеваго Исторіи у него разошлось около 200 экз., т. е. почти всѣ, на которые онъ подписался. Юрій Милославскій былъ разхваченъ въ одну минуту, и теперь его въ Петербургѣ нельзя найдти до новаго полученія изъ Москвы. Видѣлъ тамъ Денницу, и ея изданіе мнѣ очень понравилось. Скажите это Максимовичу, которому кланяются всѣ здѣшніе и я включительно. Выйдя изъ лавки Смирдина, я озябъ порядочно и отправился обѣдать къ Демуту, оттуда къ Титову, тамъ домой. Въ вечеру явились Тит. и Одоевск., съ которыми мы просидѣли до часу ночи. Жуковскій, который сидѣлъ вмѣстѣ съ нами, былъ очень милъ, веселъ, любезенъ,—не смотря на то, что его глаза почти слипались, какъ говоритъ Вася, ибо онъ обыкновенно ложится въ 10 часовъ. Онъ разсказывалъ много интереснаго про свое путешествіе, про Жанъ-Поля, говорилъ объ Исторіи Полеваго, объ Юріи Милославскомъ и пр., словомъ выискивалъ разговоръ общезанимательный. Я еще не описалъ вамъ его образа жизни, потому что не хорошо знаю его и не успѣлъ распросить всего подробно. Я выѣзжаю отсюда ровно черезъ недѣлю, потому отвѣтъ на это пишите ко мнѣ въ Берлинъ, poste-restante.»

Отъ 15 Января.

«... Я всякій день вижусь съ своими Петербургцами: съ Титовымъ, Кошелевымъ, Одоевскимъ и Мальцевымъ. Пушкинъ былъ у насъ вчера и сдѣлалъ мнѣ три короба комплиментовъ объ моей статьѣ. Жуковскій читалъ ему дѣтскій журналъ, и Пушкинъ смѣялся на каждомъ словѣ, — и все ему понравилось. Онъ удивлялся, ахалъ и прыгалъ; просилъ Жуковскаго «Зиму» напечатать въ Литературной газетѣ, но Ж. не далъ. На Литературную газету подпишитесь непремѣнно, милый другъ папенька; это будетъ газета достоинства Европейскаго; большая часть статей въ ней будетъ писана Пушкинымъ, который открылъ средство въ критикѣ, въ простомъ извѣщеніи объ книгѣ, быть такимъ же необыкновеннымъ, такимъ же поэтомъ, какъ въ стихахъ. Въ его извѣщеніи объ исповѣди Амстердамскаго палача вы найдете, какъ говоритъ Жуковскій, и умъ, и приличіе, и поэзію вмѣстѣ.

«... Жуковскаго опять нѣтъ дома, у него почти нѣтъ свободной минуты; оттого немудрено ему лѣниться писать. Вчера однако мы видѣлись съ нимъ на минуту поутру и вмѣстѣ провели вечеръ съ Пушкинымъ.»

17 Января.

«... Дни мои проходятъ все однимъ манеромъ. Поутру я встаю поздно часовъ въ 11, пишу къ вамъ, потомъ одѣваюсь, кто нибудь является ко мнѣ, или я отправляюсь куда нибудь; потомъ обѣдаю по большей части въ трактирѣ,— послѣ обѣда я сплю, или гуляю: въ вечеру, если дома, то съ Жуковскимъ, а если не дома, то съ Петербургскими Московцами; потомъ ѣду къ вамъ въ Москву, т. е. ложусь спать: въ эти два часа, которые проходятъ между раздѣваньемъ и сномъ, я не выхожу изъ-за Московской заставы. Вчера Жуковскій сдѣлалъ вечеръ, какъ я уже писалъ къ вамъ; были всѣ, кого онъ хотѣлъ звать, выключая Гнѣдича, мѣсто котораго заступилъ Василій Перовскій, и, слѣдовательно, число 12 не разстроилось. Жуковскій боялся тринадцати, говоря, что онъ не хочетъ, чтобы на моемъ прощальномъ вечерѣ было несчастное число. Чтобы дать вамъ понятіе о Крыловѣ, лучше всего повторить то, что говоритъ объ немъ Жуковскій, т. е. что это славная виньетка для его басень: толстый, пузатый, сѣдой, чернобровый, кругломордый, старинный, въ каждомъ движеніи больше смѣшной, чѣмъ острый.—Пришелъ Мальцевъ. Прощайте до завтра.»

20 Января.

«Неуже ли вы не получаете моихъ писемъ, тогда какъ я писалъ каждый день, три раза во время дороги и здѣсь уже разъ 12? Не носятъ ли писемъ моихъ кому другому? Нѣтъ ли другой Елагиной у Красныхъ воротъ? Если вы теперь получили мои письма, то вы видѣли изъ нихъ, что вчера я еще разъ осматривалъ Эрмитажъ. Я употребилъ на это три часа; стоялъ передъ нѣкоторыми картинами болѣе $^1/_4$ часа и потому все еще не видалъ большей половины какъ должно. Оттуда я отправился къ Dubois, (это родъ Andrieux), гдѣ меня ждали Титовъ и Кошелевъ; оттуда къ

Одоевскому, потомъ домой, гдѣ проспорилъ съ Васильемъ Андреевичемъ до 1-го о Фламандской школѣ, и, кажется, опять оставилъ о себѣ такое же мнѣніе, какое онъ имѣлъ обо мнѣ послѣ перваго нашего свиданія въ 26 году. Но я не раскаиваюсь; когда нибудь мы узнаемъ другъ друга лучше. Онъ читалъ мнѣ нѣкоторые стихи свои давнишніе, но мнѣ неизвѣстные: къ Фрейлинамъ, къ Нарышкину, на заданныя риемы и проч. Cette proanation du génie m'a choqué. Теперь онъ не пишетъ ничего, и тѣмъ лучше. Поэтическое дѣло важнѣе поэтическихъ стиховъ. Но окончивши, ему опять хочется возвратиться къ поэзіи и посвятить остальную жизнь Греческому и переводу Одиссеи.

«Если бы я могъ высказать вамъ всю дружбу, которую мнѣ показываютъ здѣсь всѣ наши, то вѣрно доставилъ бы вамъ этимъ большое удовольствіе; — особенно Кошелевъ, который обходится со мною такъ, какъ только дѣлается между родными братьями. Жуковскій надавалъ мнѣ кучу рекомендательныхъ писемъ въ Берлинъ и Парижъ; кромѣ того подарилъ мнѣ свою дорожную чернилицу и ящикъ съ складными перьями. Онъ читалъ письма Петрушины и говоритъ объ нихъ съ большимъ чувствомъ. Въ самомъ дѣлѣ письма брата такъ хороши, что по нимъ можно узнать его. Жуковскій обѣщается писать къ вамъ послѣ моего отъѣзда, и я увѣренъ, что сдержитъ слово. Напишите мнѣ въ Берлинъ все, что онъ скажетъ обо мнѣ. По многимъ причинамъ мнѣ это будетъ отмѣнно интересно. Если можно, пишите обо всемъ, что для меня можетъ быть интересно и что мнѣ весело будетъ узнать и что нѣтъ,—только бы я зналъ.»

Письмо В. А. Жуковскаго.

Середа 21 Января, Спб. 1830.

«. . . . Нынче въ 10 часовъ отправился нашъ милый странникъ въ путь свой, здоровый и даже веселый. Мы съ нимъ простились у самаго дилижанса, до котораго я его проводилъ. Ему будетъ хорошо ѣхать. Повозка теплая, просторная; онъ не одинъ; хлопотъ не будетъ никакихъ до самаго

Берлина. Дорога теперь хороша, и ѣзда будетъ скорая. Въ Берлинѣ ему будетъ, надѣюсь, пріятно. Я снабдилъ его письмами въ Ригу, Берлинъ и Парижъ. Въ Ригѣ одинъ мой добрый пріятель поможетъ ему уладить свои экономическія дѣла, то есть размѣнять деньги выгоднѣйшимъ образомъ. Въ Берлинѣ мое письмо познакомитъ его прозаически съ нашимъ посломъ, который дастъ ему рекомендательныя письма далѣе, и поэтически съ Гуфландомъ, который потѣшитъ душу его своею душою. Въ Парижѣ онъ найдетъ Тургенева, котораго я просилъ присосѣдить его къ себѣ, и быть ему руководцемъ на Парижскомъ паркетѣ. Для меня онъ былъ минутнымъ милымъ явленіемъ, представителемъ яснаго и печальнаго, не въ обоихъ образахъ драгоцѣннаго прошедшаго, и веселымъ образомъ будущаго, ибо, судя по немъ и по издателямъ нашего домашняго журнала (особливо по знаменитому автору заговора Катилины) и еще по Мюнхенскому нашему медвѣженку, въ вашей семьѣ заключается цѣлая династія хорошихъ писателей — пустите ихъ всѣхъ по этой дорогѣ! Дойдутъ къ добру. Ваня—самое чистое, доброе, умное и даже философическое твореніе. Его узнать покороче весело. Вы напрасно такъ трусили его житья-бытья въ Петербургѣ: онъ не дрожалъ отъ холода, не терпѣлъ голода въ трактирѣ; онъ просто жилъ у меня подъ роднымъ кровомъ, гдѣ бы и вамъ было мѣсто, если бы вы его проводить вздумали, и напрасно не вздумали. Къ несчастію, по своимъ занятіямъ, я не могъ быть съ нимъ такъ много, какъ бы желалъ, но все мы пожили вмѣстѣ. Я познакомилъ его съ нашими отборными авторами; показывалъ ему Эрмитажъ. Болѣе вмѣстѣ нигдѣ быть ни удалось. Но Петербургъ отъ него не убѣжитъ: черезъ 2 года вы пріѣдете его встрѣтить здѣсь, и вмѣстѣ съ нимъ и со мною все осмотрите. Удивляюсь, что вы не получали писемъ отъ него. Онъ писалъ ихъ нѣсколько разъ съ дороги и почти всякій день изъ Петербурга. Я не писалъ отъ того, что онъ писалъ. Теперь пишу объ немъ, чтобы вы были совершенно спокойны на его счетъ: здоровъ и веселъ. До извѣстной вамъ раны я не прикасался, дорога затянетъ ее. . . .»

Письма И. В. Кирѣевскаго.

27 Января, Воскресенье, Рига.

«Вотъ онъ *я*, въ Ригѣ. Вчера въ вечеру пріѣхалъ и вчера же отправился съ письмомъ отъ Жук. къ прокурору Петерсону, которымъ studiosus Петерсонъ стращалъ станціонныхъ смотрителей. Этотъ прокуроръ Петерсонъ принялъ меня какъ роднаго, какъ друга. Но въ будущемъ письмѣ я опишу это подробно. Сегодня цѣлый день провелъ я въ расхаживаньи, въ разъѣздѣ по городу, котораго достопримѣчательности показывалъ мнѣ этотъ милый толстый прокуроръ. Сейчасъ изъ Муссы, гдѣ видѣлъ Нѣмцевъ, которые еще Vorschmack тѣхъ Нѣмцевъ, къ которымъ ѣду. Въ Дерптѣ я не былъ у бабушки, потому что проѣзжалъ черезъ Дерптъ въ 2 часа ночи; но видѣлъ ихъ домъ и отсюда пошлю ваше письмо, вмѣстѣ съ своимъ и съ вашимъ образомъ. Прощайте, уже 1 часъ, а завтра мнѣ надо вставать въ 6, мѣнять деньги, пить кофе у Петерсона и перемѣнить паспортъ, который оказался недѣйствительнымъ, ибо по новому постановленію онъ живетъ только три недѣли. Найду ли я на почтѣ письмо отъ васъ? Я оставлю здѣсь у Петерсона подробное описаніе моего отъѣзда изъ Петербурга сюда, до послѣдняго часа отсюда въ Кенигсбергъ. Петерсонъ отправитъ это на слѣдующей почтѣ».

27 Января.

«Я ошибся вчера числомъ и вмѣсто 26 поставилъ 27. Сегодня, т. е. въ Понедѣльникъ, я послѣдній день въ Ригѣ и завтра вмѣстѣ съ свѣтомъ выѣзжаю въ Кенигсбергъ, куда нанялъ извощика за 40 руб. сер. Это очень дешево по мнѣнію цѣлой Риги, потому что я познакомился почти съ цѣлой Ригой у милаго, почтеннаго, толстаго, добраго Петерсона, который совершенно плѣнилъ меня своею добротою, добродушіемъ, готовностію къ добру и умѣньемъ его дѣлать. Весело видѣть человѣка, котораго почти каждая минута посвящена пользѣ и добру. Онъ пользуется здѣсь всеобщимъ уваженіемъ и заслуживаетъ его болѣе, чѣмъ кто другой. Das Rechte—вотъ его цѣль, его любовь, его божество. Въ

два или три дня, которые я пробылъ здѣсь, я успѣлъ уже узнать его такъ хорошо, что готовъ отвѣчать головою за каждый его поступокъ. Право, онъ успѣлъ уже сдѣлать столько хорошаго, показать столько доброты, сколько у другаго частнаго человѣка растянется на всю жизнь. Въ исполненіи своей должности онъ отличается какимъ-то рыцарствомъ законности, независимостію отъ постороннихъ толковъ и частныхъ волей (какъ вы говорите), самостоятельностію характера, твердостію, прямотою, и необыкновеннымъ знаніемъ дѣла и людей. Вотъ общая молва объ немъ всего города. Комната его съ утра до вечера набита людьми, изъ которыхъ одни приходятъ просить у него совѣта, другіе помощи, третьи услуги, четвертые приходятъ толковать о городскихъ новостяхъ, пятые ничего не дѣлать, и для всѣхъ для нихъ достанетъ у него времени, охоты и веселости. Теперь особенно домъ его набитъ народомъ, потому что все почетное дворянство Остзейскихъ провинцій съѣхалось сюда провожать маркиза Паулучи, который черезъ недѣлю ѣдетъ въ Италію, оставляя свое мѣсто графу Палену. Со мной Петерсонъ обошелся такъ, какъ обходятся съ 20-лѣтнимъ другомъ. Но я разскажу вамъ все подробно: изъ Петербурга выѣхалъ я 22-го. Жуковскій, Мальцевъ, Титовъ и Кошелевъ провожали меня въ контору дилижансовъ. Всѣ провожавшіе меня обѣщались въ тотъ же день писать къ вамъ. Напишите, кто сдержитъ слово. Дорога была довольно безпокойна, потому что дилижансы изъ Петербурга въ Ригу устроены скверно. Черезъ Дерптъ я проѣхалъ въ 2 часа ночи и не видалъ никого и ничего. Но только дышать Дерптскимъ воздухомъ и знать, что здѣсь университетъ, здѣсь Ласточка и проч. — все это такъ живо напоминаетъ нашего Петерсона и Языкова, что мнѣ было въ Дерптѣ и весело и скучно. Въ Ригу я пріѣхалъ 25-го въ 12 часовъ, остановился въ трактирѣ Петербургъ, напился кофе, выбрился, разложился; между тѣмъ пришло время обѣда, послѣ котораго я улегся спать и въ осьмомъ часу отправился къ прокурору Петерсону. У него я засталъ большое общество и музыку. Онъ самъ маленькій, толстый, плѣшивый, въ тепломъ пестромъ халатѣ,

сидитъ важно посреди комнаты въ большихъ креслахъ, которыя едва вмѣщаютъ его персону. Когда я отдалъ ему письмо отъ Жуковскаго и назвалъ свое имя, онъ вскочилъ, бросился обнимать меня и пришелъ въ совершенный восторгъ. Когда первый порывъ его кончился, прерванная музыка доигралась, то онъ повелъ меня въ другую комнату, прочелъ письмо Жуковскаго, говорилъ много объ немъ въ Дерптѣ, съ большимъ чувствомъ, съ большою душою, и разстроганный разговоромъ и воспоминаніемъ, досталъ кошелекъ, который подарила ему A. A. W. при прощаніи, и поцѣловалъ его со слезами, говоря, что это лучшее сокровище, которое онъ имѣетъ. На другой день этотъ кошелекъ отдавалъ мнѣ на память.—Нужно ли еще разсказывать вамъ, *какъ* онъ обходился со мною? Интереснаго я въ Ригѣ видѣлъ: 1) Die Domkirche, гдѣ недавно отвалился камень и открылся замурованный человѣкъ: это былъ рыцарь, заколовшій епископа въ этой же церкви. Вотъ повѣсть для Погодина. Церковь сама стара только снаружи, внутри все перекрашено, выбѣлено и—чисто. 2) Домъ Шварцгейптеровъ, das Schwarzhäupterhaus, котораго зала превращена въ новую, но изъ подъ новаго можно отгадать и весело отгадывать бывшее старое. Я многое осматривалъ еще, но интереснаго, кромѣ этого, не видалъ; былъ однако въ Муссѣ, смотрѣлъ водопроводъ и безпрестанно гляжу на памятникъ 12-го года, который стоитъ передъ моими окнами. Это такая же холодная металлическая слава, какая стоитъ у насъ на Красныхъ воротахъ, только вмѣсто Красныхъ воротъ узенькая колонна, вмѣсто Москвы Рига, вмѣсто—и проч. Забылъ еще интересное: постыдный столпъ, къ которому привязывали преступниковъ. — Довольны ли вы моею аккуратностію? Чего я не разсказалъ, то вы можете легко отгадать. Отъ васъ же писемъ здѣсь нѣтъ и Богъ знаетъ будутъ ли?»

$^{11}/_{23}$ *Февраля. Берлинъ.*

«Сегодня рожденіе брата. Какъ-то проведете вы этотъ день? Какъ грустно должно быть ему! Этотъ день долженъ быть для всѣхъ насъ святымъ: онъ далъ нашей семьѣ луч-

шее сокровище. Понимать его возвышаетъ душу. Каждый поступокъ его, каждое слово въ его письмахъ обнаруживаютъ не твердость, не глубокость души, не возвышенность, не любовь, а прямо величіе. И этого человѣка мы называемъ братомъ и сыномъ!

«Вчера получилъ я ваши письма, ваши милыя, святыя письма. Чувство, которое они дали мнѣ, я не могу ни назвать, ни описать. На *каждое* слово ваше я отвѣчалъ вамъ слезою, а на большую часть у васъ недостаетъ словъ. Не удивляйтесь этому: съ нѣкотораго времени я выучился плакать. Однако не толкуйте этого дурно; напротивъ, вообще я сталъ покойнѣе, яснѣе, свѣжѣе, чѣмъ въ Москвѣ.—За чѣмъ спрашиваете вы, борюсь ли я самъ съ собою? Вы знаете, что у меня довольно твердости, чтобы не пережевывать двадцать разъ одного и того же. Нѣтъ, я давно уже пересталъ бороться съ собою. Я покоенъ, твердъ и не шатаюсь изъ стороны въ сторону, иду вѣрнымъ шагомъ по одной дорогѣ, которая ведетъ прямо къ избранной цѣли. Мысли, въ несбытности которыхъ я разъ убѣдился, для меня умерли, безъ воскресенія. Слѣдъ, который онѣ оставили въ душѣ, не ослабляетъ ее, но укрѣпляетъ. Не знаю, поймете ли вы меня, по крайней мѣрѣ вѣрьте, что это такъ. Мои намѣренія, планы, мечты получили какую-то осѣдлость. Я сталъ такъ дѣятеленъ, какъ не былъ никогда. На жизнь и на каждую ея минуту я смотрю какъ на чужую собственность, которая повѣрена мнѣ на честное слово, и которую слѣдовательно я *не могу* бросить на вѣтеръ. Иногда мнѣ кажется, что такое состояніе души и его причина есть особенное благодѣяніе моего Ангела Хранителя, въ котораго я вѣрю. Я не рожденъ былъ къ нему. Но можетъ быть оно спасетъ меня отъ ничтожества и сдѣлаетъ достойнымъ братомъ моего брата, возвышеннаго, сильнаго. Если бы можно-было пережить снова, то я опять дѣйствовалъ бы такъ же, какъ прежде; но *теперь* если бы *все* перемѣнилось, я уже не возвратился бы назадъ, а остался бы вѣренъ теперь избранной дорогѣ.

Въ Берлинъ пріѣхалъ я третьяго дня въ вечеру и едва, едва могъ отыскать комнату въ трактирѣ: такъ весь городъ

набитъ проѣзжими, которые отправляются на Франкфуртскую ярмарку. Завтра надѣюсь переѣхать на особенную квартиру, которую отыскалъ мнѣ молодой Петерсонъ, сынъ Рижскаго прокурора, получившій въ наслѣдство отъ отца все его добродушіе и обязательность. Онъ покуда единственный человѣкъ, съ которымъ я познакомился въ Берлинѣ. Надѣюсь однако, что не оставлю ни одного примѣчательнаго человѣка, которыхъ здѣсь какъ въ морѣ песку, съ которымъ бы, по крайней мѣрѣ, я не попробовалъ познакомиться. Въ Кенигсбергѣ я провелъ вечеръ у профессора Штруве, филолога и брата Дерптскаго. Я имѣлъ къ нему письмо отъ стараго Петерсона и узналъ въ немъ человѣка отмѣнно любопытнаго, умнаго, ученаго, проницательнаго и теплаго. Черезъ полчаса мы уже были съ нимъ, какъ старые знакомые и разстались почти какъ друзья. Все, что онъ сказалъ мнѣ интереснаго, я напишу въ письмѣ къ Баратынскому, вмѣстѣ съ подробнымъ описаніемъ моего путешествія. Если всѣ Нѣмецкіе ученые такъ доступны, какъ Штруве, то я возвращусь въ Россію не съ одной расходной книжкой. Послѣдняя, впрочемъ, не велика до сихъ поръ и могла бы быть вдвое меньше, еслибы я зналъ напередъ, гдѣ и что должно платить. Но опытность моя не должна пропасть понапрасну. Скажите Погодину, что я пришлю ему подробную роспись всѣхъ издержекъ, сдѣланныхъ мною, вмѣстѣ съ совѣтами и примѣчаніями. Но все это, вмѣстѣ съ письмомъ къ Баратынскому и съ вторымъ Берлинскимъ письмомъ къ вамъ, я пришлю черезъ мѣсяцъ, а можетъ быть и меньше. А вы, ради Бога, пишите ко мнѣ два раза въ мѣсяцъ, и если можно еще больше, еще подробнѣе. Говорите меньше обо мнѣ и больше объ васъ: это тотъ же я, только лучше, больше интересный для худшаго. Голубушка, милая сестра! исполни свое обѣщаніе, пиши всякій день и больше. Сегодня я видѣлъ тебя во снѣ такъ живо, такъ грустно, какъ будто въ самомъ дѣлѣ. Мнѣ казалось, что вы опять собираете меня въ дорогу, а Маша сидитъ со мною въ залѣ подлѣ окна и держитъ мою руку и уставила свои глазки на меня, изъ которыхъ начинаютъ выкатываться слезки. Мнѣ опять стало такъ же жаль ее, какъ

въ день отъѣзда, и все утро я сегодня плакалъ, какъ ребенокъ. Умѣлъ однако спрятать слезы, когда пришелъ Юлій Петерсонъ. Вообще не бойтесь моей излишней довѣрчивости. Что для меня свято, тѣмъ помыкаться я не могу, еслибы и хотѣлъ; либо полное участіе, либо никакого, было моимъ всегдашнимъ правиломъ, и я тѣмъ только дѣлюсь съ другими, что они могутъ *вполнѣ* раздѣлить со мною.»

13 Февраля.

25 Февраля.

Я былъ два раза на лекціи у Риттера. Онъ читаетъ географію, и покуда я останусь въ Берлинѣ не пропущу ни одной его лекціи, не смотря на то, что онъ читаетъ въ одинъ часъ съ Hegel'емъ. Одинъ часъ передъ его каѳедрой полезнѣе цѣлаго года одинокаго чтенія. Каждое слово его было для меня новостью, ни одна мысль не пахнетъ общимъ мѣстомъ. Все обыкновенное, проходя черезъ кубикъ его огромныхъ свѣдѣній, принимаетъ характеръ геніальнаго, всеобъемлющаго. Все факты, все частности, но въ такомъ порядкѣ, въ такой связи, что каждая частность кажется общею мыслію. Даже въ отдѣльности почти каждая частность была для меня новостью. Присоедините къ этому даръ слова отмѣнно пріятный, спокойный и неможко поэтическій, и вы поймете, почему я предпочитаю его Hegel'ю, котораго впрочемъ я еще не слыхалъ. Кромѣ Риттера, я буду еще слушать Раумера, профессора новѣйшей исторіи, Stuhr, также профессора исторіи 18-го столѣтія, и, можетъ быть, нѣкоторыхъ другихъ, о которыхъ отдамъ отчетъ слышавши ихъ. Каждую лекцію я буду записывать и присылать вамъ экстракты всего интереснаго; это будетъ для Петерсона и для тѣхъ, кому онъ захочетъ показать. Я былъ также на лекціи Риттера, когда онъ читалъ географію Палестины, но только для того, чтобы увидѣть и удивляться его манерѣ. Но такъ какъ эти подробности меня не очень интересуютъ, то я ограничусь одною всеобщею географіею. Комнату я нанялъ особенную, хорошень-

кую, чистую, меблированную, съ постелью, полотенцами для умыванья и пр. пр., пр., и плачу въ мѣсяцъ 6 талеровъ, т. е. около 22 руб. Не познакомился я еще ни съ кѣмъ, кромѣ здѣшнихъ Русскихъ студентовъ, изъ которыхъ большая часть взята изъ семинаріи и воротится въ Россію такими же неумытыми, какими пріѣхали сюда. Завтра отправлюсь къ Радовицу, къ которому Жуковскій далъ мнѣ письмо, оттуда къ Барону Мальтицу, оттуда къ Посланнику, оттуда къ Гуфланду. Обо всемъ напишу вамъ подробно въ слѣдующемъ письмѣ, за которое готовьтесь платить рублей 20, потому что это будетъ не письмо, а тетрадь. Письма къ вамъ мой журналъ. Не смотря на то, или именно потому, не ждите найдти въ нихъ многаго обо мнѣ самомъ. Я теперь то, что̀ внѣ меня; то, что̀ я вижу, то, что̀ я слышу—плюсъ нѣсколько мыслей объ Москвѣ, одинакихъ, неизмѣнныхъ, какъ Господи помилуй. Одна только перемѣна можетъ быть и бываетъ въ этихъ мысляхъ: большее или меньшее безпокойство объ васъ: Вотъ почему прошу васъ всѣмъ сердцемъ, пишите ко мнѣ больше и чаще..... Уѣзжая я думалъ, что меня будутъ интересовать подробности объ моей статьѣ; вообразите, что это было самое не интересное мѣсто въ вашемъ письмѣ, если что нибудь можетъ быть не интересно въ вашемъ письмѣ. Это письмо, я думаю, вы получите 1-го Марта. Поздравляю всѣхъ васъ и обнимаю крѣпко, крѣпко. Прощайте до черезъ мѣсяцъ. Въ Берлинѣ я останусь до 1-го Апрѣля, т. е. до конца лекцій.»

20 Февраля.

4 Марта.

«Вы, конечно, не позабыли, что обѣщали мнѣ писать черезъ 2 недѣли послѣ 27 Января; а вотъ уже 4-е Марта, т. е. 20-е Февраля, а отъ васъ еще нѣтъ ни слова. Вы также вѣрно помните, что послѣднее письмо ваше было для меня не совсѣмъ понятно, потому что многое въ немъ было продолженіемъ того, что вы писали ко мнѣ въ Ригу и что, слѣдова-

тельно, до меня не дошло. Къ тому же корь, шпанская муха, ваше безпокойство, нездоровье, безсонныя ночи, требовали бы отъ васъ скорѣйшаго извѣстія. Я пишу къ вамъ это для будущаго, потому что надѣюсь отъ васъ получить прежде, чѣмъ вы получите это письмо. Къ брату писалъ почти тотчасъ по пріѣздѣ и безпрестанно жду отвѣта. Я звалъ его на будущій семестръ въ Берлинъ, надѣясь, что здѣшній университетъ будетъ для него полезнѣе Мюнхенскаго. Но теперь вижу, что ошибся. Историческія лекціи здѣсь не стоятъ ни гроша, не потому чтобы профессора не были люди ученые, и особенно въ своей части, но потому, что они читаютъ отмѣнно дурно. Штуръ читаетъ исторію 18-го вѣка по тетрадкѣ, написанной весьма посредственно, съ большими претензіями на краснорѣчіе, слѣдовательно дурно. Раумеръ, славный ученый Раумеръ, всю лекцію наполняетъ чтеніемъ реляцій и другихъ выписокъ изъ публичныхъ листовъ. Эти реляціи и выписки по большей части на Французскомъ языкѣ; вообразите же, какъ пріятно передаютъ ихъ Нѣмецкія уста! Нѣмецкія остроты ихъ еще пріятнѣе. Особенно острятся Штуръ и Раумеръ. Когда удается имъ сказать что нибудь соленое, т. е. соленое на Нѣмецкій вкусъ, то они такъ обрадуются этой находкѣ, что жуютъ и пережевываютъ свою соль до тѣхъ поръ, пока она совершенно распустится, а между тѣмъ вся аудиторія громко хохочетъ. Вообще исторія здѣсь не въ большомъ уваженіи, и тогда какъ въ Университетѣ больше 2,000 студентовъ, у профессоровъ исторіи ихъ бываетъ отъ 40 до 50 человѣкъ. У Раумера на предпослѣдней лекціи было 37, вмѣстѣ съ нимъ и со-мною.—Теологовъ здѣсь больше другихъ, и говорятъ, что этотъ факультетъ здѣсь въ цвѣтущемъ состояніи. Въ особенности блеститъ Берлинскій университетъ своимъ юридическимъ факультетомъ. Здѣсь Савиньи, Гансъ, Кленцъ и другіе пріобрѣли извѣстность Европейскую еще больше своими лекціями, нежели книгами. Ганса я слушалъ нѣсколько разъ; это ученикъ Гегеля и читаетъ естественное право, народное положительное право и Прусское гражданское. Онъ отмѣнно краснорѣчивъ, уменъ и милъ на каѳедрѣ, не смотря на то, что онъ крещенный Жидъ. Но этотъ Жидъ провелъ

многіе года во Франціи, въ Парижѣ, и это отзывается въ каждомъ его словѣ: приличностію, блескомъ изложенія и неосновательностію свѣдѣній. Въ его лекціяхъ рѣдко можно услышать новый фактъ (выключая одной объ Жидовскомъ правѣ, гдѣ онъ сказалъ много любопытнаго); за то безпрестанныя отступленія къ общимъ мыслямъ, отступленія неумѣстныя и которыя были бы утомительны, еслибъ онъ не умѣлъ ихъ прикрасить жаромъ и даромъ слова. — Медицинскій факультетъ также, говорятъ, одинъ изъ лучшихъ въ Германіи. Но все это не то, что нужно намъ—съ братомъ. Гегель на своихъ лекціяхъ почти ничего не прибавляетъ къ своимъ Handbücher. Говоритъ онъ несносно, кашляетъ почти на каждомъ словѣ, съѣдаетъ половину звуковъ и дрожащимъ, плаксивымъ голосомъ едва договариваетъ послѣднюю. Есть однако здѣсь одинъ профессоръ, который одинъ можетъ сдѣлать ученье въ Берлинѣ полезнымъ и незамѣнимымъ—это Риттеръ, профессоръ географіи. Каждое слово его дѣльно, каждое соображеніе ново и вмѣстѣ твердо, каждая мысль всемірна. Малѣйшій фактъ умѣетъ онъ связать съ бытіемъ всего земнаго шара. Присоедините къ этому простоту, ясность, легкость выраженія, краснорѣчіе истины, и вы поймете, отчего я не пропускаю почти ни одной его лекціи. Вотъ все, что я до сихъ поръ могу сказать объ здѣшнемъ университетѣ. Студенты по большей части не отличаются ничѣмъ отъ другихъ гражданъ ни въ одеждѣ, ни въ манерахъ. Немногіе только носятъ усы, еще меньшее число носитъ длинные волосы и не носитъ галстуковъ, и не больше 20 ходятъ съ бородою, и тѣ не Берлинцы, а выходцы изъ другихъ Университетовъ. Дуэли здѣсь почти также рѣдки, какъ въ нашей миролюбивой Москвѣ, и если встрѣтится гдѣ нибудь разрубленная щека, то почти навѣрное можно сказать, что она принадлежитъ лицу не Берлинскому.—Знакомствъ я до сихъ поръ сдѣлалъ не много. Былъ у посланника, который пригласилъ меня обѣдать, и я провелъ у него почти цѣлый день, вмѣстѣ съ маркизомъ Паулучи, который былъ здѣсь на два дня проѣздомъ въ Парижъ. Ни жена посланника, ни дочь не знаютъ ни одного слова по-Русски, и спрашивали меня, хорошо ли

пишетъ Жуковскій. Изъ его писемъ и записокъ они отгадывали qu'il doit ecrire très joliment. Впрочемъ, онѣ любезны и со мной были очень привѣтливы за письмо Жуковскаго, котораго они очень любятъ. Кромѣ того я познакомился съ барономъ Мальтицемъ, совѣтникомъ при посольствѣ, къ которому также имѣлъ письмо отъ Жуковскаго. Онъ только годъ въ Берлинѣ и провелъ 8 лѣтъ въ Соединенныхъ Штатахъ: человѣкъ отмѣнно серьезный, молчаливый, умный и немного ultra. Онъ обѣщалъ мнѣ показать все достопримѣчательное въ Берлинѣ, но до сихъ поръ еще не успѣлъ, потому что мы или не заставали другъ друга дома, или онъ былъ занятъ службою и пр. У Гуфланда я еще не былъ. Но больше всѣхъ понравился мнѣ въ Берлинѣ Радовицъ, также хорошій знакомый Жуковскаго. Твердую, богатую, многостороннюю ученость соединяетъ онъ съ душою горячею, съ мыслями оригинальными и съ добродушіемъ Нѣмецкимъ. Онъ досталъ мнѣ билетъ въ здѣшній музей, который я осматривалъ съ однимъ молодымъ, но уже извѣстнымъ живописцемъ Rühl, съ которымъ я познакомился у Радовицей. Она, или Frau Majorin von Radowitz, молодая, хорошенькая, очень умная, очень добрая и очень любезная женщина, особенно пріятна простотою своего обхожденія. . . .

«Скажите Погодину, что я ему пришлю для журнала выписку изъ моего журнала, заключающую въ себѣ дорогу отъ Кенигсберга до Берлина, т. е. больше всего описаніе Маріенбурга. Если Дельвигъ въ Москвѣ, то скажите ему, что онъ можетъ получить отъ меня статью объ религіозномъ направленіи ума въ Германіи. Кстати: я слышалъ проповѣди Шлейермахера, славнаго переводчика Платона, одного изъ краснорѣчивѣйшихъ проповѣдниковъ Германіи, одного изъ замѣчательнѣйшихъ теологовъ и философовъ, одного изъ лучшихъ профессоровъ Берлина, и человѣка имѣющаго весьма сильное вліяніе на высшій классъ здѣшней столицы и на религіозныя мнѣнія всей протестантской Германіи. За то, послѣ Гегеля, можетъ быть нѣтъ человѣка, на котораго бы больше нападали, чѣмъ на него. Но прежде чѣмъ я оставлю Берлинъ, я постараюсь покороче познакомиться съ его сочиненіями и съ нимъ самимъ, и тогда

напишу объ немъ подробно. Въ—театрѣ я былъ нѣсколько разъ, видѣлъ всѣхъ лучшихъ актеровъ и въ хорошихъ піесахъ, но больше не пойду, потому что ни одно представленіе мнѣ не пришлось по вкусу. Тасса—Гете я смотрѣлъ даже съ досадой, не смотря на то, что его играли лучшіе актеры и что почти вся публика была въ восторгѣ. Можетъ быть я ошибаюсь но мнѣ казалось, что ни одинъ актеръ не понялъ поэта, и одинокое кабинетное чтеніе этой трагедіи говоритъ въ тысячу разъ больше душѣ, чѣмъ ея представленіе. Видѣлъ новую трагедію Раупаха—Генриха VI, гдѣ, не смотря на неестественность и нехудожественность цѣлаго и частей, красота и сила стиховъ и эффектность нѣкоторыхъ сценъ невольно увлекаютъ и трогаютъ. Видѣлъ также нѣкоторыя новыя Нѣмецкія комедіи, которыя гораздо лучше на сценѣ, чѣмъ воображалъ. Во всѣхъ этихъ представленіяхъ особенное вниманіе обращалъ я на публику, и результатомъ моихъ наблюденій было то, что, не смотря на бо̀льшую образованность Нѣмцевъ, они въ массѣ такъ же бездушны и глупы, какъ наши соотечественники, которыми наполняются наши театры. Въ трагедіяхъ великій крикъ, *особенно неумѣстный*, непремѣнно аплодированъ. Все истинное, простое, естественное незамѣчено, какъ бы не было. Вообще чѣмъ больше актеры горячатся, тѣмъ больше имъ хлопаютъ; чѣмъ напыщеннѣе стихъ, тѣмъ больше восхищаетъ онъ публику. Это объясняетъ множество лирическихъ трагедій, которыми наводнена Нѣмецкая литература. Какъ это портитъ актеровъ и писателей, тому служитъ доказательствомъ Берлинскій театръ и Раупахъ. Въ комедіи, Нѣмцы хохочутъ каждой глупости, аплодируютъ каждый непристойности, и на театральное лицо, которое говоритъ самыя обыкновенныя вещи и дурачится самымъ незамысловатымъ образомъ, Нѣмцы глядятъ съ какимъ-то почтеніемъ, какъ на существо другаго міра. Между всѣми восклицаніями, которыми они выражаютъ свой восторгъ, особенно повторяется das ist ein verrückter Kerl. Все, что выходитъ изъ однообразной колеи ихъ жизни и разговоровъ, кажется имъ признакомъ геніальности. Я вслушивался въ разговоры простаго народа на улицахъ и замѣтилъ, что онъ вообще любитъ шутить, но съ

удивленіемъ замѣтилъ также, что шутки ихъ почти всегда однѣ и тѣ же. Сегодня онъ повторитъ *съ удовольствіемъ* ту же замысловатость, которую отпустилъ вчера, завтра тоже, не придумавъ къ ней ничего новаго, и, не смотря на то, повторитъ опять, покуда какой нибудь verrückter Kerl выучитъ его новому, и это новое онъ пойметъ и приметъ не прежде, какъ слышавши разъ 20 отъ другихъ. Отъ того нѣтъ ничего глупѣе, какъ видѣть смѣющагося Нѣмца, а онъ смѣется безпрестанно. Но гдѣ ни глупъ народъ? Гдѣ толпа не толпа?..... Наконецъ письмо отъ васъ! Я не умѣю выразить, что̀ мнѣ получить письмо отъ васъ! Не смотря на то, что оно грустно, что почти каждое слово въ немъ тема на цѣлый концертъ тяжелыхъ догадокъ, я читалъ его съ такимъ наслажденіемъ, котораго давно не имѣлъ. Вы знаете, какъ не люблю я говорить о томъ, что чувствую, на это считаю необходимымъ сказать вамъ, чтобы вы знали и соображались съ этимъ, писали ко мнѣ больше, чаще и подробнѣе. Вся моя жизнь съ тѣхъ поръ, какъ оставилъ Москву, была въ мысляхъ объ Москвѣ, въ разгадываньи того, что у васъ дѣлается; все остальное я видѣлъ сквозь сонъ. Ни одного впечатлѣнія не принялъ я здѣсь свѣжимъ сердцемъ, и каждый порывъ вниманія стоилъ мнѣ усилія. Судите жъ, послѣ этого, какъ живительны, какъ необходимы мнѣ ваши письма..... Я былъ, наконецъ, у Гуфланда, который былъ со мной отмѣнно милъ, показалъ мнѣ много добродушной привѣтливости и звалъ къ себѣ въ середу на вечеръ. Alle Tage und jeden Augenblick wird es mir höchst erfreulich seyn Sie zu sehen, aber Mittewochs müssen Sie mir versprechen auf jeden Fall bei mir den Abend zuzubringen, denn da versammeln sich gewöhnlich alle meine Freunde; es wird mir eine grosse Freude machen Sie mit meiner Familie bekannt zu machen.

«У Гуфланда я, можетъ быть, познакомлюсь съ нѣкоторыми учеными, которыхъ здѣсь, какъ въ Москвѣ извощиковъ. Для чего Рожалину жить съ Петрушей? Для перваго это будетъ жертва, для втораго стѣсненіе,—кому жъ польза? Петръ долженъ дѣйствовать и учиться самъ; наставника, который бы безпрестанно надсматривалъ за нимъ, дать ему мудрено

и странно. Учиться вмѣстѣ съ Рожалинымъ можетъ быть пріятно (и то, судя по характеру брата, сомнительно), но пріятное и полезное не одно. Я теперь испыталъ, что учиться и вообще дѣйствовать *одному* и легче и успѣшнѣе. При товарищѣ онъ мѣрило нашихъ успѣховъ; *одинъ* никогда не доволенъ собою, боишься отдыхать и дѣлаешь въ тысячу разъ больше и лучше. Впрочемъ поговорю объ этомъ съ Рожалинымъ и съ братомъ. Отчего васъ такъ занимаютъ критики на меня? Или онѣ справедливы? Это было бы весьма удивительно отъ Булгарина и я былъ такъ увѣренъ въ невозможности этого, что Сѣверная Пчела, гдѣ разборъ моей статьи, уже двѣ недѣли здѣсь у одного изъ моихъ знакомыхъ Русскихъ, я до сихъ поръ еще не собрался со временемъ прочесть ее, хотя мы живемъ на одной улицѣ. Пойду завтра, потому что ваше участіе въ ней мнѣ не понятно, послѣ того, какъ вы напередъ знали, что Булгаринъ будетъ отвѣчать и отвѣчать съ желчью. Писать противъ него было бы неприлично и, простите мнѣ эту гордость, мнѣ кажется, это было бы унизительно защищаться отъ *его* нападеній. Если будете имѣть случай что нибудь послать ко мнѣ, то не забудьте прислать Максимовича альманахъ, потому что даже тѣ листочки, гдѣ была моя статья, я оставилъ въ Петербургѣ у Жуковскаго, а мнѣ хотѣлось бы прочесть мою статью брату. Живу я здѣсь въ одной изъ лучшихъ частей города между театромъ, нашимъ посланникомъ и университетомъ, подлѣ той улицы, которая называется Unter den Linden, потому что на ней посажены въ 4 ряда липки. Моя улица называется die Mittelstrasse. Комната моя не велика, но свѣтла и покойна, въ ней $4^1/_2$ шага поперегъ и около 9 шаговъ въ длину, 2 окна, бюро, постель, фортепіяно, диванъ, два столика и 3 стула. Плачу въ мѣсяцъ mit Aufwartung 6 талеровъ. За кофе поутру и чай въ вечеру, за хлѣбъ, сахаръ, молоко и топку выходитъ въ недѣлю около $2^1/_2$ талеровъ. Обѣдаю я въ трактирѣ, гдѣ плачу 8 грошей, т. е. около нашего рубля. Вообще въ Берлинѣ 2-мя тысячами можно жить безъ нужды, а если разомъ устроиться на годъ, то, тративши еще меньше, можно жить еще лучше.....»

3/15 Марта.

«Сегодня только могъ я отправить къ вамъ письмо, потому что вчера слишкомъ поздно понесъ его на почту. Надѣюсь однако, что оно было не такъ далеко отъ предпослѣдняго, чтобы заставить васъ безпокоиться. *Это* письмо отправится къ вамъ черезъ двѣ недѣли, т. е. при отъѣздѣ моемъ изъ Берлина. Я началъ его сегодня только потому, что доволенъ своимъ днемъ, т. е. своею сегодняшнею дѣятельностію, и чувствую, что стою награды—разговора съ вами. Начну его хвастовствомъ, т. е. отчетомъ въ сегодняшнихъ занятіяхъ. Я всталъ сегодня въ 6 часовъ. Вообще въ Берлинѣ я встаю рано. Два часа провелъ дома за умываньемъ, кофеемъ, одѣваньемъ и Шлейермахеровой догматикой. Въ 8 часовъ я былъ уже въ университетѣ у Шлейермахера же, который отъ 8 до 9 читаетъ жизнь Іисуса Христа. Сегодня была особенно интересная лекція объ воскресеніи. Но что сказать о профессорѣ?—Сказать что нибудь надобно, потому что сегодня онъ выказалъ *зерно* своихъ религіозныхъ мнѣній. Говоря объ главномъ моментѣ христіанства, онъ не могъ достигнуть до него иначе, какъ поднявшись на вершину своей вѣры, туда, гдѣ вѣра уже начинаетъ граничить съ философіей. Но тамъ, гдѣ философія сходится съ вѣрою, тамъ весь человѣкъ, по крайней мѣрѣ духовный человѣкъ. Коснувшись этого разбора двухъ міровъ, міра разумнаго *убѣжденія* и душевной *увѣренности*, онъ долженъ былъ разорвать всѣ понятія о ихъ взаимномъ отношеніи, представить вѣру и философію въ ихъ противоположности и общности, слѣдовательно въ ихъ цѣлостномъ, полномъ бытіи. Необходимость такой исповѣди заключалась въ самомъ предметѣ. Иначе онъ дѣйствовать *не могъ*, если бы *и хотѣлъ;* доказательство то, что онъ *хотѣлъ* и *не могъ*. Я заключаю изъ того, что онъ точно хотѣлъ избѣгнуть центральнаго представленія своего ученія, что вмѣсто того, чтобы обнять разомъ предметъ свой въ одномъ вопросѣ, онъ вертѣлся около него съ кучею неполныхъ, случайныхъ вопросовъ, которые не проникали въ глубь задачи, но только шевелили ее на поверхности, какъ

напр. началось ли гніеніе въ тѣлѣ Іисуса или нѣтъ, оставалась ли въ немъ непримѣтная искра жизни, или была совершенная смерть, и проч. Но самая случайность его вопросовъ, самая боязнь:—обнять *вполнѣ* предметъ свой, по моему мнѣнію, уже вполнѣ показываютъ его образъ мыслей. Такъ ли смотритъ истинный Христіанинъ на воскресеніе Іисуса? такъ ли смотритъ философъ нынѣшній на моментъ искупленія человѣческаго рода, на моментъ его высшаго развитія, на минутное, но полное сліяніе неба и земли? Здѣсь совокупность Божественнаго откровенія для перваго; здѣсь средоточіе человѣческаго бытія для втораго; для обоихъ задача, которая обнимаетъ все зданіе ихъ убѣжденія. Для разрѣшенія этой задачи совершенно безполезно знать, разложилась ли кровь на свои составныя части или нѣтъ, глубока ли была рана копьемъ, и точно ли въ ребра или ниже. Къ какому классу мыслящихъ людей принадлежитъ тотъ, кто съ такими вопросами приступаетъ къ такому предмету? Можно смѣло сказать, что онъ не принадлежитъ къ числу истинно вѣрующихъ, потому что для послѣднихъ вопросъ о дѣйствительной или мнимой смерти Іисуса разомъ рѣшенъ тѣмъ, что душа Его, на это время, отдѣлилась отъ *тѣла;* по крайней мѣрѣ, вопросъ ляжетъ передъ нимъ въ этомъ видѣ, если только для него можетъ существовать вопросъ такого рода. Съ такимъ же правомъ, мнѣ кажется можно сказать, что человѣкъ, который съ этой матеріальной точки смотритъ на смерть Іисуса, не принадлежитъ къ числу мыслителей нашего времени, для которыхъ вопросъ о достовѣрности воскресенія принимаетъ опять другой видъ, т. е. разлагается на два другихъ вопроса: 1) на вопросъ историческій о достовѣрности Евангелія вообще, и 2) на вопросъ умозрительный объ отношеніи чудеснаго къ естественному, или другими словами, объ отношеніи обыкновеннаго къ необыкновенному, вседневнаго къ вѣковому; ибо чудо, въ физическомъ мірѣ, также отличается отъ тѣхъ событій, которыя нашими несовершенными науками разложены на извѣстные намъ вседневные (*) законы природы, какъ въ нравственномъ мірѣ

(*) Шлейермахерово выраженіе.

геній отличается отъ толпы. Къ числу невѣрующихъ нельзя отнести Шлейермахера, потому что какъ бы ни былъ матеріаленъ образъ его объясненій, но это объясненіе совершенно очищаетъ предметъ отъ противорѣчій, а вѣру отъ сомнѣній. Кромѣ того лучшимъ доказательствомъ глубоко христіанскаго, сердечнаго расположенія Шлейермахера можетъ служить его проповѣдь, недавно имъ самимъ говоренная надъ тѣломъ страстно любимаго единственнаго сына его. То же подтвердитъ цѣлая жизнь его и энтузіазмъ значительной части его прихожанъ. Къ числу людей неглубокомыслящихъ нельзя отнести его, во первыхъ, за его превосходный, можетъ быть лучшій переводъ Платона, не выключая самаго Cousin; во вторыхъ, за его философическія сочиненія, гдѣ нѣкоторые вопросы проникнуты до дна, и рѣшены съ окончательностію мышленія самобытнаго, свободнаго, глубокаго и строго отчетливаго. Какъ же согласить эти противорѣчія? Что онъ такое? Чтобы имѣть право рѣшить этотъ вопросъ, надобно познакомиться съ его мнѣніями короче, нежели сколько я успѣлъ сдѣлать до сихъ поръ. Но *до сихъ поръ* вотъ какъ я понимаю его: ему также мало можно отказать въ сердечной преданности къ религіи, какъ и въ философическомъ *самодержавіи ума*. Но сердечныя убѣжденія образовались въ немъ отдѣльно отъ умственныхъ, и между тѣмъ какъ первые развились подъ вліяніемъ жизни, классическаго чтенія, изученія св. Отцевъ и Евангелія, вторые росли и костенѣли въ борьбѣ съ господствующимъ матеріализмомъ XVIII вѣка. Вотъ отчего онъ вѣритъ сердцемъ и старается вѣрить умомъ. Его система похожа на языческій храмъ, обращенный въ христіанскую церковь, гдѣ все внѣшнее, каждый камень, каждое украшеніе, напоминаетъ объ идолопоклонствѣ, между тѣмъ какъ внутри раздаются пѣсни Іисусу и Богородицѣ. Но если онъ остатокъ прошедшаго, не переплавленный въ составъ новѣйшаго, то все онъ примѣчателенъ, какъ одна изъ прекраснѣйшихъ и значительныхъ развалинъ XVIII вѣка. Къ XIX-му онъ принадлежитъ, во первыхъ, какъ интересный фактъ, во вторыхъ, какъ мыслитель, имѣющій сильное вліяніе на отсталыхъ. Я думаю, что онъ особенно

былъ бы полезенъ у насъ, какъ одна изъ ловкихъ ступеней къ высшему, и переводъ его книгъ могъ бы быть важнымъ литературнымъ предпріятіемъ. Но довольно объ Шлейермахерѣ. Я заговорился объ немъ потому, что вмѣстѣ и писалъ и думалъ. Прежде обдумать этого было некогда, потому что тотчасъ, послѣ его лекціи, отправился къ славному Савиньи. Объ внутреннемъ достоинствѣ его преподаванія я не скажу ничего, во первыхъ потому что въ этой части мало смыслю (онъ читаетъ пандекты), а во вторыхъ потому, что прекрасный обзоръ его системы былъ изъ Revue Encyclop. переведенъ въ Телеграфъ. Наружная форма преподаванія не можетъ быть приличнѣе, изящнѣе и проще. Въ 10 часовъ я отправился на почту, которая около 2-хъ верстъ отъ университета. Тамъ нашелъ я письмо отъ брата, милое, теплое и почти все объ васъ, объ Московской половинѣ насъ. Онъ еще не знаетъ, что у всѣхъ дѣтей была корь. Объ себѣ обѣщаетъ онъ писать на дняхъ. Оттуда отправился я въ противоположную часть города, гдѣ чинились мои часы. Оттуда въ театръ, чтобы перемѣнить билетъ. Не смотря на зарокъ, услышавши, что играютъ Гамлета, я рѣшился отправиться туда, чтобы имѣть какое нибудь понятіе о Шекспировскихъ трагедіяхъ на сценѣ; но, по несчастію, билетъ взялъ не самъ, а поручилъ одному Нѣмцу, знакомому съ дирекціей. Этотъ Нѣмецъ досталъ билетъ близкій къ сценѣ, но не театральнаго, а абонированнаго кресла. Сегодня я узналъ, что Гамлета отмѣнили, хотѣлъ перемѣнить билетъ, потому что со всѣмъ не любопытенъ былъ видѣть Клейстову Kätchen, но мнѣ не удалось, потому что билетъ былъ не отъ дирекціи, а купленъ у частнаго человѣка. Оттуда, немного уставши, пошелъ я въ университетъ отдохнуть на лекціи Ганса. Объ немъ я, кажется, уже писалъ къ вамъ. Сегодня онъ читалъ Церковное право, совершенно въ Римско-Католическомъ духѣ, что было для меня отмѣнно интересно своею новостью, а особенно тѣмъ, что этотъ Римско-Католическій духъ былъ подчиненъ духу Гегелевой философіи, и слѣдовательно этотъ католицизмъ былъ не Іезуитскій, а, если можно такъ сказать, католицизмъ новѣйшаго протестантства. Оттуда въ 12

часовъ я пошелъ въ Thiergarten, единственный Берлинскій садъ и который лежитъ подлѣ самаго города. Оттуда въ трактиръ обѣдать, оттуда въ университетъ къ Вилькену, сочинителю Крестовыхъ походовъ, который читаетъ отъ 2-хъ до 4-хъ. Вообразите, какъ я долженъ былъ удивиться войдя въ аудиторію Вилькена, когда нашелъ ее совершенно пустою! Черезъ нѣсколько минутъ вошли 3 человѣка и скоро за ними Вилькенъ. Мы четверо сѣли на лавку, передъ нами профессоръ; и что же? вмѣсто исторіи среднихъ вѣковъ, которую онъ читаетъ отъ 3-хъ до 4-хъ, я попалъ на лекцію Арабскаго языка, который онъ преподаетъ отъ 2-хъ до 3-хъ. Само собою разумѣется, какую жалкую роль и фигуру я игралъ въ продолженіе этого часа. Вилькенъ смотрѣлъ на меня съ большимъ любопытствомъ и почтеніемъ, принимая, можетъ быть, за какого нибудь славнаго оріенталиста. Какой-то услужливый студентъ, который сидѣлъ подлѣ меня, во всю лекцію держалъ мнѣ передъ носомъ свою Арабскую тетрадь и показывалъ пальцемъ на тѣ мѣста, которыя читалъ профессоръ. Давно я не былъ въ такомъ фальшивомъ положеніи. Но что было дѣлать? Сказать услужливому студенту, что я не знаю по Арабски, нельзя было, не объяснивъ причины моего присутствія; а говорить много нельзя, не прервавши лекціи. Уйти также нельзя: здѣсь ни одинъ студентъ не уходитъ съ лекціи прежде конца, хотя многіе входятъ передъ самымъ концомъ. Оставалось одно сидѣть и слушать. Но и второй часъ Вилькенова чтенія не вознаградилъ меня за Арабскій языкъ. Я былъ у него въ первый разъ сегодня и больше не буду. Сказать объ его манерѣ ничего нельзя особеннаго, кромѣ: не хорошо. Отъ Вилькена до Гегеля оставался цѣлый часъ, который я провелъ у Stehely, лучшемъ кофейномъ домѣ въ Берлинѣ, гдѣ всѣ Нѣмецкія и мало Французскихъ газетъ. Въ 5 часовъ я слушалъ Гегеля, который читаетъ исторію философіи и сегодня кончалъ Декарта и началъ Спинозу. Я началъ мириться съ его гнуснымъ образомъ преподаванія: съ нѣкотораго времени я промѣнялъ на него моего Риттера, который читаетъ съ нимъ въ одни часы. Я предпочелъ слушать Гегеля, потому что онъ старъ,

скоро умретъ, и тогда уже не будетъ возможности узнать, что онъ думалъ о каждомъ изъ новѣйшихъ философовъ. Но трудолюбивый Риттеръ вѣроятно издастъ новую Erdkunde, гдѣ изложитъ вполнѣ свою систему. Въ 6 часовъ попробовалъ я пойти въ театръ, но небрежная игра актеровъ и пустота піэсы выгнали меня оттуда послѣ перваго акта, и вотъ я теперь у себя и пишу къ вамъ. Не думайте однако, чтобы всѣ дни мои были такъ дѣятельно наполнены, какъ сегодняшній. Но уже поздно, прощайте!»

$^{14}/_{26}$ *Марта.*

«За полночь. Сейчасъ отъ Гегеля и спѣшу писать къ вамъ, чтобы подѣлиться съ вами моими сегодняшними впечатлѣніями, хотя не знаю, какъ выразить то, до сихъ поръ неиспытанное расположеніе духа, которое *насильно* и какъ чародѣйство овладѣло мною при мыслѣ: *я окруженъ первоклассными умами Европы!* Но начну сначала, чтобы вы лучше поняли причину этого страннаго расположенія духа. Вотъ исторія моего знакомства съ Гегелемъ: я долго не рѣшался, идти къ нему или нѣтъ! Зачѣмъ? думалъ я. Къ чему послужитъ мнѣ холодный пятиминутный визитъ? Уваженіе, участіе и пр. пр. со стороны *неизвѣстнаго*, интересны для него быть не могутъ, когда онъ имѣетъ столько поклонниковъ между *извѣстными*. Между тѣмъ мнѣ хотѣлось его видѣть. Но чтобы визитъ мой не былъ просто церемонною незначительностію, я написалъ къ нему письмо отмѣнно учтивое и много мнѣ стоявшее, потому что я давно уже ничего не писалъ по Нѣмецки. Въ этомъ письмѣ просилъ я позволенія придти къ нему. Онъ въ тотъ же день отвѣчалъ мнѣ очень милымъ и Французски свѣтскимъ манеромъ, назначая часы, когда я могу застать его дома. На другой день я провелъ у него часть утра. Разговоръ былъ интересный, глубокій и, не смотря на то, очень свободный,—такъ глубокое для него сдѣлалось естественнымъ и легкимъ. Каждому предмету разговора давалъ онъ невольно оборотъ ко всеобщности, все намекало на цѣлую систему новѣйшаго мышленія, мышленія Гегелевскаго. Можете представить, какъ ши-

роко и вмѣстѣ тѣсно я себя чувствовалъ въ это время. Результатъ этого разговора, или лучше сказать, результатомъ этого добродушія было то, что на другой день посланный отъ него разбудилъ меня съ приглашеніемъ отъ Гегеля на вечеръ завтра или послѣ завтра, или въ воскресенье, или если вы въ эти дни не свободны, то назначьте, когда вамъ угодно: Herr Professor möchte aber es voraus wissen, denn es werden dazu noch mehrere Andere eingeladen. Что можетъ быть милѣе этого? Я выбралъ пятницу, потому что это былъ ближайшій свободный день, хотя, впрочемъ, я всѣ возможныя дѣла оставилъ бы охотно для Гегелевскаго вечера.— Сейчасъ оттуда, гдѣ, кромѣ хозяина, хозяйки и его родственницы Frau Generalin von... забылъ, были: 1) Гансъ, извѣстный всѣмъ изъ моихъ писемъ и который столько же любезенъ въ обществѣ, сколько краснорѣчивъ на каѳедрѣ, а это много сказано. 2) Мишелетъ, профессоръ философіи и умный и милый ученый. Этотъ обѣщалъ мнѣ рекомендательное письмо въ Парижъ къ одному изъ своихъ друзей учениковъ, съ которымъ, говоритъ, мнѣ интересно будетъ познакомиться, 3) Hotte, профессоръ Нѣмецкой литературы: съ этимъ я говорилъ меньше; хотя успѣлъ въ немъ замѣтить многое, что мнѣ понравилось. 4) Раупахъ, котораго нѣкогда я такъ любилъ и съ которымъ теперь у насъ былъ довольно горячій споръ объ Россіи. Гансъ, свидѣтель спора, остался на моей сторонѣ. Дѣло шло о томъ, есть ли у Русскихъ энергія. Вы можете представить себѣ, что послѣ этого Раупахъ мнѣ не понравился. И патріотизмъ въ сторону, учтиво ли, прилично ли утверждать такія мнѣнія въ присутствіи Русскаго? Однако мнѣ удалось сохранить совершенно хладнокровіе и потому я могъ говорить убѣдительно. 5) Путешествующій Американецъ, который ѣдетъ въ Россію и въ Москву, и котораго имя я позабылъ.—Во весь вечеръ разговоръ былъ живой и всеобщій, хотя я по большей части говорилъ съ самимъ Гегелемъ особенно. Гостепріимнѣе, привѣтливѣе и добродушнѣе его быть невозможно. Послѣ ужина мы всѣ отправились пѣшкомъ. Въ жару разговора съ Гансомъ и съ Раупахомъ, зашелъ въ ихъ сторону, которая да-

леко отъ меня, и Гансъ былъ такъ добръ, что проводилъ меня до поворота въ мою улицу. Объ чемъ говорили мы? спросите вы. О политикѣ, о философіи, объ религіи, о поэзіи и проч., и проч., но подробно описать разговоръ не могу, потому что все были частности теперешняго минутнаго интереса, къ которымъ общее только примыкало издали. Завтра иду къ Гансу, послѣ завтра къ Мишелету, а между тѣмъ всякій день хожу на почту и все понапрасну. Сегодня былъ тамъ два раза, но почта изъ Россіи не пришла за половодьемъ. Это отчасти утѣшительно.—28-го. Почта пришла, писемъ нѣтъ. И братъ, который въ послѣднемъ письмѣ обѣщалъ писать *на дняхъ* много, до сихъ поръ ни слова. Былъ ли вчера кто нибудь подъ Симоновымъ? Что мои розы и акаціи? Еслибъ онъ, т. е. Веневитиновъ, былъ на моемъ мѣстѣ, какъ прекрасно бы отозвалось въ нашемъ отечествѣ испытанное здѣсь!—Я нѣсколько разъ видѣлся съ Гансомъ, съ Мишелетомъ и съ Гегелемъ. Послѣдній особенно былъ для меня поучителенъ своею индивидуальностью. Первый, т. е. Гансъ, можетъ быть представителемъ Нѣмца нашего времени; разговоръ его отмѣнно занимателенъ, дѣленъ, горячъ и даже остръ. Мишелетъ немного не доварилъ своихъ мнѣній. Онъ ученикъ и приверженецъ Гегеля, но, кажется, понимаетъ хорошо только то, что Гегель сказалъ, а что непосредственно слѣдуетъ изъ его системы, то для Мишелета еще не ясно, и онъ какъ будто боится высказать свое мнѣніе прежде своего учителя, не зная навѣрное, сойдется ли съ нимъ или нѣтъ. Большая часть нашихъ разговоровъ или, лучше сказать, нашихъ споровъ кончалась такъ: Ja wohl! Sie können vielleicht Recht haben, aber diese Meinung gehört vielmehr zu dem Schellingischen, als zu dem Hegelischen System.

Это одно слово, нѣсколько разъ повторенное и еще несправедливо приведенное (потому что мнѣніе, которое я утверждалъ, совершенно согласно съ основными положеніями Гегелевской системы) — это одно слово показываетъ человѣка. Не смотря на наши споры, мы познакомились довольно хорошо, и передъ прощаньемъ онъ подарилъ мнѣ свою диссертацію о преступленіи и наказаніяхъ, съ надписью: Nobi

lissimo viro Jean v. Kireiwsky, — неправда ли, что и здѣсь пахнетъ Германіей? Спасибо, милый другъ Петерсонъ, за *von*. Гегель далъ мнѣ письмо въ Парижъ къ одному изъ своихъ пріятелей, и поручилъ кланяться Cousin.—Вы видите уже изъ того, что я успѣлъ разсказать вамъ о своей Берлинской жизни, что каждая минута моя здѣсь занята, отчего я не успѣлъ писать ни къ кому въ Россію. Напомните всѣмъ, кого увидите, обо мнѣ, особенно моему милому Баратынскому. Я нехотя виноватъ передъ нимъ: я причиной глупой Булгаринской выходки. Надѣюсь однако, что онъ умѣетъ платить презрѣньемъ за покупную брань и корыстную хвалу. Сейчасъ принесли мнѣ Телеграфъ. Я еще не читалъ и не знаю, успѣю ли прочесть критику на меня, потому что ѣду послѣ завтра въ 6 часовъ утра, а сегодня $^{18}/_{30}$ Марта. Мнѣ смѣшно видѣть, какъ они горячатся. Изъ Дрездена буду писать къ кому успѣю, а къ папенькѣ непремѣнно. Папенька перенесъ свою мнительность изъ міра физическаго въ нравственный; и какъ прежде сомнѣвался въ своемъ здоровьѣ, такъ теперь сомнѣвается въ моей любви къ нему. Если бы онъ хотя на минуту могъ переселиться въ мою душу, то вѣрно раскаялся бы въ своемъ несправедливомъ мнѣніи, которое для меня тѣмъ тяжелѣе, чѣмъ я дальше отъ васъ, чѣмъ меньше способовъ имѣю высказаться вамъ вполнѣ, чѣмъ съ другой стороны яснѣе и полнѣе представляются мнѣ и его любовь и все, что онъ сдѣлалъ для меня, и все, что онъ мнѣ и намъ. Если бы онъ подслушалъ хоть разъ, какъ я, всякій день, въ сердечныхъ мысляхъ объ васъ съ любовію, благодарностію и дружбою благословляю его внутри души, онъ вѣрно бы мысленно прижалъ меня къ груди своей, какъ достойнаго сына. Пришлете ли вы мнѣ портретъ сестры? Я къ ней не пишу особенно потому, что мнѣ бы хотѣлось, чтобы письма мои было ко всѣмъ вамъ вмѣстѣ. Но кромѣ васъ пожалуйста не показывайте ихъ никому, иначе я стану ихъ сочинять. Это письмо вы получите къ Свѣтлому Воскресенью. Ради Бога сдѣлайте его для себя праздникомъ; я встрѣчу его съ братомъ въ Мюнхенѣ. Намъ будетъ вмѣстѣ не такъ грустно или лучше сказать намъ будетъ *лучше грустно*. Отвѣтъ на это письмо пишите въ Парижъ poste restante.

пишите больше и подробнѣе.—Держишь ли слово, милая сестра? Но Богъ знаетъ еще, что у васъ дѣлается. Здоровы ли вы? Это письмо толсто. Но за то я заплатилъ за прошедшее. За ваши письма я не плачу ни копѣйки. Не скупитесь только вы, а больше всего не давайте воли такимъ чувствамъ, которыя мѣшаютъ счастію. Я съ этой стороны предъ собою и передъ вами правъ. Слово счастіе я перевелъ на свой языкъ: дѣятельность и бодрость духа, и въ этомъ смыслѣ оно мнѣ кажется доступнымъ, т. е. въ томъ случаѣ, если съ *вашей стороны* будетъ искреннее содѣйствіе. Для васъ же я бы хотѣлъ оставить счастіе безъ перевода. И отчего бы въ самомъ дѣлѣ не знать вамъ его въ оригиналѣ?—Къ Жуковскому еще не писалъ изъ Берлина; если успѣю, то напишу сегодня, а то изъ Дрездена. Къ вамъ же буду писать черезъ 2 недѣли вмѣстѣ съ братомъ. Прощайте, любите меня, т. е. будьте веселы и крѣпки.

Милый папенька! Выпишите, если нѣтъ въ Москвѣ: Encyclopédie der Philosoph. Wissenschaften von Hegel. Здѣсь вы найдете столько любопытнаго, сколько не представляетъ вся новѣйшая Нѣмецкая литература, вмѣстѣ взятая. Ее трудно понять, но игра стоитъ свѣчь.—Сейчасъ прочелъ статью въ Телеграфѣ. Полеваго критика на меня не такъ желчна, какъ я думалъ. Неужели это можетъ васъ сердить?

Апрѣля 5/1., Мюнхенъ.

«Здравствуйте! Черезъ часъ у васъ ударятъ въ колоколъ, и теперь вы уже проснулись и приготовляетесь къ заутренѣ. Какъ живо я вижу всѣхъ васъ, ваши сборы, одѣванье, кофей; даже, кажется, отгадалъ бы разговоры ваши, еслибъ былъ увѣренъ, что у васъ все такъ, какъ было при послѣднемъ письмѣ вашемъ, что вы здоровы и спокойны. Думая объ насъ, вы знаете, что наши мысли теперь съ вами, и если вы всѣ не сомнѣваетесь въ этомъ, то бьюсь объ закладъ, что Машенька это сказала. Напишите, пробилъ ли я? У насъ здѣсь, не смотря на Греческую церковь, заутрени нѣтъ, но это не мѣшаетъ намъ слышать Русское: Христосъ воскресе и присутствовать при вашемъ христосованьи. Завтра,

однако, мы будемъ у обѣдни *реально*. Послѣ послѣдняго письма моего изъ Берлина, я не успѣлъ отдать вамъ отчета о томъ, что я дѣлалъ и что со мною дѣлалось. Постараюсь вознаградить это теперь, сколько возможно. 31-го Марта по н. с., простившись съ моими Берлинскими знакомыми, я возвратился домой въ 8 часовъ вечера и началъ укладываться, чтобы на другой день отправиться въ 6 часовъ утра. Юлій Петерсонъ, сынъ Рижскаго, съ которымъ мы видались въ Берлинѣ почти каждый день, милый, дѣльный и, что рѣдко, вмѣстѣ gemüthlicher малый. Докторъ Нордманъ, объ которомъ я писалъ къ Максимовичу, отмѣнно интересный человѣкъ,— и еще нѣсколько другихъ Нѣмцевъ и Русскихъ, пришли меня провожать, помогли уложиться и просидѣли до 2-хъ часовъ, потому что я не хотѣлъ ложиться спать, боясь прогулять время отъѣзда почты, которая буквально не ждетъ 2-хъ минутъ послѣ назначеннаго срока. Когда они ушли, то мы съ Юліемъ велѣли сдѣлать себѣ кофею, и такъ заговорились, что не замѣтили дня и чуть-чуть не пропустили роковой минуты. По счастію, хозяинъ мой напомнилъ намъ часъ, и мы успѣли придти на почту за 5 минутъ до отъѣзда кареты. Если Юлій прежде меня воротится въ Россію и будетъ въ Москвѣ, то постарайтесь, сколько можно, отплатить ему за его обязательность и, можно сказать, дружбу ко мнѣ. Сутки ѣхалъ я до Дрездена, гдѣ, чрезъ часъ по пріѣздѣ, свидѣлся съ Рожалинымъ. Рожалинъ совершенно тотъ же, выключая длинныхъ волосъ (которые, однако, онъ сегодня остригъ) послѣ двухъ лѣтъ уединенной жизни. Онъ занимается много, и дѣльно; привыкъ къ сухому, не потерявъ нисколько внутренней теплоты. Выучился по Англійски и по Польски; послѣдній языкъ особенно знаетъ онъ прекрасно; читалъ съ выборомъ, и никогда не терялъ изъ виду главнаго предмета своихъ занятій: филологіи и древностей. Кругъ его знакомства не широкій, но выборъ дѣлаетъ честь его характеру. Вообще, однако, можно сказать, что во все это время онъ былъ почти одинъ; это, однако, не имѣло невыгоднаго вліянія на его обыкновенное расположеніе духа и дало его образу мыслей и выраженіямъ бо́льшую оригинальность, безъ односторонности. Завидное качество, такъ какъ и вообще его

поведеніе въ отношеніи ко внѣшнимъ обстоятельствамъ его цѣлой жизни. Въ первый часъ нашего свиданія мы съ радости успѣли бутылочку за ваше здоровье и за лучшее на родинѣ. Это развязало немножко наши языки, такъ что мы тутъ же приступили къ переговорамъ о его переѣздѣ въ Мюнхенъ, соображаясь съ вашими письмами. Отъѣздъ его изъ Дрездена сейчасъ же былъ рѣшенъ, но онъ колебался еще, ѣхать ли ему со мною или ждать Кайсарову, и остановился на мысли—ѣхать только въ день моего отъѣзда. Собраться было не долго, и вотъ мы въ Мюнхенѣ. Въ Дрезденѣ пробылъ я три дня, видѣлъ галлерею, слышалъ славный концертъ и лучшихъ пѣвцовъ и музыкантовъ, но театра не видѣлъ по причинѣ поста, и не познакомился ни съ кѣмъ изъ интересныхъ литераторовъ и ученыхъ, живущихъ въ Дрезденѣ. Городъ самый и описывать вамъ не стану, потому что скучно, да къ тому же вы можете распросить объ немъ у Пушкиныхъ... Музыку описывать нельзя, галлерею описывать много. Скажу только, что Рафаэлевой Мадонны я не понялъ, въ Корреджіевой Магдалинѣ хотя искалъ, но не могъ найти ничего новаго и отличнаго отъ копіи К. и крѣпко подозрѣваю послѣдняго, что онъ не самъ скопировалъ, а укралъ свою копію у какого нибудь отличнаго мастера. За то другія картины произвели за меня тѣмъ большее впечатлѣніе; но еслибъ я хотѣлъ вамъ разсказать впечатлѣніе этихъ картинъ, то говорилъ бы не объ нихъ, а потому оставляю это до свиданія. Къ брату пріѣхали мы въ *Субботу* передъ здѣшнимъ Свѣтлымъ Воскресеньемъ, т. е. въ нашу Лазареву Субботу, и застали его за обѣдомъ, который сейчасъ увеличился двумя порціями и бутылкою вина за свиданье и за васъ. Я писалъ уже вамъ о перемѣнѣ, которая такъ счастливо произошла въ его внѣшней сторонѣ. Впрочемъ, въ отношеніи къ прежнему, но она только начало для будущаго. Мнѣ не нужно прибавлять, что это счастливая перемѣна только внѣшняя, и что внутри онъ еще счастливѣе: остался тотъ же глубокій, горячій, несокрушимо одинокій, какимъ былъ и будетъ во всю жизнь. При этой силѣ и теплотѣ души, при этой твердости и простотѣ характера, которыя дѣлаютъ его такъ высокимъ въ глазахъ немногихъ,

имѣвшихъ возможность и умѣнье его понять—ему не доставало одного: опытности жизни, и это именно то, что онъ теперь такъ быстро начинаетъ пріобрѣтать. Необходимость сообщаться съ людьми сдѣлала его и сообщительнѣе и смѣлѣе, уменьшивъ нѣсколько ту недовѣрчивость къ себѣ, которая могла бы сдѣлаться ему непзлѣчимо вредною, если бы онъ продолжалъ еще свой прежній образъ жизни. Конечно внѣшняя сторона его никогда не достигнетъ внутренней, даже и потому, что ей слишкомъ далеко было бы гнаться, но все таки это внѣшнее образованіе будетъ одна изъ главнѣйшихъ пользъ его путешествія. Занимается онъ здѣсь много и хорошо, т. е. сообразно съ своею цѣлью. Особенно въ его сужденіяхъ замѣтно то развитіе ума, которое даетъ основательное занятіе философіей, соединенной съ врожденною вѣрностью взгляда и съ нѣкоторыми сердечными предразсудками, на которые можетъ быть сводится все достоинство человѣка, какъ человѣка. Вотъ самое интересное изъ видѣннаго мною въ Мюнхенѣ,—я хотѣлъ сказать изъ всего, что видѣлъ, разставшись съ вами. Мы покуда поселились у брата; я останусь здѣсь еще около недѣли, а потомъ они наймутъ другую квартиру, гдѣ имъ будетъ просторнѣе и за ту же цѣну, вѣроятно, потому что квартиры здѣсь отмѣнно дешевы и хороши, а братъ платитъ за свою дорого, по здѣшнему, хотя она и хороша, т. е. была покуда лучшая изъ двухъ комнатъ не загромождалась лишними двумя кроватями.—2 часа. Теперь уже вы въ сборѣ и можетъ быть уже у всенощной. Думайте объ насъ весело. Обнимаю васъ крѣпко до завтра. Петръ и Рожалинъ уже спятъ давно. Петръ что-то говоритъ сквозь сонъ, можетъ быть христосуется съ вами. Попробую, не удастся ли мнѣ повидаться съ вами во снѣ. Покуда прощайте.

«18 Апрѣля. Не знаю, что у васъ сегодня дѣлается, и потому не знаю, праздникъ ли для васъ сегодня. Эта мысль мѣшаетъ еще больше, чѣмъ разлука съ вами. Какая скверная вещь—разстояніе! Въ каждую мысль объ васъ она втирается незваннымъ гостемъ, похожимъ на Варвиковаго сосѣда. Сегодняшній день старались мы сколько возможно сдѣлать нашимъ Свѣтлымъ Воскресеньемъ, по крайней мѣрѣ съ внѣшней

стороны. Въ 9 часовъ отправились въ Греческую Церковь. Но здѣсь ни что не напоминало намъ даже Русской обѣдни, потому что, кромѣ Греческаго языка, въ здѣшней церкви еще и та особенность, что попъ вмѣстѣ дьячокъ и дьяконъ и попъ. Зрителей, любопытныхъ Нѣмцевъ, собралась непроходимая толпа, а изъ Русскихъ, кромѣ насъ, были только Тютчевы, у которыхъ мы сегодня и обѣдали. Оба брата и жена Ѳедора Ивановича очень милые люди, и покуда здѣсь, я надѣюсь видѣться съ ними часто. Жаль, для моего брата, что они ѣдутъ въ Россію. Они нравятся и ему, что впрочемъ вы могли замѣтить изъ его писемъ.—26. Мы получили ваши милыя письма, которыя опять освѣжили душу. Что бы ни писали вы, даже то, что вы пишете объ моемъ разстраиваньи братниной и Рожалиновой дружбы, все читается съ наслажденіемъ. Каждое слово, каждый оборотъ фразы переноситъ меня передъ васъ. Смотря на васъ, говоря съ вами, я не всегда чувствовалъ ваше присутствіе такъ живо, какъ читая ваши письма. Ради Бога, не велите Машѣ трудиться надъ письмами къ намъ и учиться писать ихъ. . . . Пусть пишетъ, что придетъ въ голову и такъ какъ придетъ. Мнѣ кажется, что для того, чтобы ей умѣть оцѣнить свои письма, она должна принять за правило то, что чѣмъ хуже написаннымъ письмо ей кажется самой, тѣмъ оно лучше въ самомъ дѣлѣ. Не ужели все душевное, простое, милое, должно дѣлаться безъ сочиненія! Послѣ этого въ чемъ же состоитъ мудрость? Теперь только чувствую, какъ глубоко чувствовалъ Рафаэль, когда вмѣсто всякаго выраженія своей Мадоннѣ, далъ только одно выраженіе—робкой невинности. Но чтобы мнѣ не заговориться, я начну отвѣчать на ваше письмо по порядку. Сначала объ Рожалинѣ. Если я не совсѣмъ понялъ васъ изъ прежняго письма вашего объ немъ, то въ этомъ виноваты немножко вы сами. Вы не писали ко мнѣ, что ему *хочется* ѣхать въ Мюнхенъ, но что онъ соглашается ѣхать туда за то, чтобы послѣ вы доставили его въ Россію. По крайней мѣрѣ я такъ понялъ васъ. Если же житье Рожалина въ Мюнхенѣ *жертва*, думалъ я, то это жертва безполезная, потому что брату онъ другой пользы не принесетъ, кромѣ удовольствія быть вмѣстѣ. Для этого не

стоитъ ему жертвовать другими планами, если у него есть выгоднѣйшіе. (Я тогда не зналъ еще, что отъѣздъ Кирѣева оставлялъ его на 1-й тысячѣ рублей, и кромѣ того думалъ объ В). Но если Рожалинъ считаетъ поѣздку въ Мюнхенъ жертвою, то онъ долженъ видѣть въ ея результатахъ что нибудь больше простаго удовольствія. Что же! Быть учителемъ брата, и пр. и пр.—вотъ мысли, которыя заставили меня написать къ вамъ то, что я написалъ. Конечно я виноватъ, что не понялъ васъ, но и вы не правы, что положились слишкомъ на мою понятливость, а еще больше, что предположили, что я буду дѣйствовать противъ вашей воли. Я ни минуту не поколебался, когда узналъ ее, а еще больше, когда, увидѣвшись съ Рожалинымъ, я узналъ его обстоятельства. Напротивъ, только моя твердая рѣшительность могла преодолѣть его колебаніе. Но говорить объ дѣлѣ сдѣланномъ не значитъ ли терять время? На вопросы ваши о Петрушѣ я отвѣчалъ въ послѣднемъ письмѣ. Объ унынiи его не могу ничего сказать, потому что теперь вмѣстѣ намъ унывать некогда. Вообще я надѣюсь, что онъ слишкомъ занятъ для этого. А если бываетъ иногда грустно, думая на Востокъ — тѣмъ чучше! Это даетъ значительность жизни и дѣятельность. Я очень хорошо испыталъ это въ послѣднее время: вообразите, что свиданіе съ братомъ и Рожалинымъ отняло у меня безпокойство одиночества, отняло вмѣстѣ почти всю ту дѣятельность, которой я самъ радовался въ Берлинѣ. Я опять сплю послѣ обѣда, опять не чувствую каждой минуты, опять ничего не сдѣлалъ. До сихъ поръ не былъ ни у Шеллинга, ни у кого изъ примѣчательныхъ людей и кромѣ театра, сада, концерта и ежедневной картинной галлереи—не видалъ ничего и ни кого. За то, картинная галлерея совсѣмъ овладѣла мною. Иногда мнѣ кажется, что я рожденъ быть живописцемъ, если только наслажденіе искусствомъ значитъ имѣть къ нему способность; чаще однако мнѣ кажется, что я никогда не буду имѣть никакого толка въ живописи и даже неспособенъ понимать ее, потому что именно тѣ картины, которыя всего больше дѣлаютъ на меня впечатлѣніе, всего меньше занимаютъ меня сами собою. Я до сихъ поръ еще не могу пріучить себя, смотря на картину, видѣть въ

ней только то, что въ ней есть. Обыкновенно начинаю я съ самаго изображенія, и чѣмъ больше вглядываюсь въ него, тѣмъ больше удаляюся отъ картины къ тому идеалу, который хотѣлъ изобразить художникъ. Здѣсь поле широкое, и прежде я чѣмъ успѣю опомниться, воображеніе закуситъ удила и, какъ чортъ св. Антонія, унесетъ такъ быстро, что прежде чѣмъ успѣешь поднять шапку, она лежитъ уже за тысячу верстъ. Только тогда, когда матеріальное присутствіе картины напомнитъ о себѣ, узнаешь, что былъ далеко, почти всегда тамъ, гдѣ всходитъ солнце. Мнѣ самому смѣшно сознаваться въ этой способности наслаждаться въ картинѣ тѣмъ, чего въ ней нѣтъ, и я очень хорошо чувствую всю странность этого качества, которое, чтобы быть совершенно *conséquent*, должно больше всего радоваться золотою рамкою около пустаго мѣста. Еще страннѣе мнѣ видѣть это качество именно въ себѣ, у котораго оно не замѣняется даже творчествомъ воображенія, потому что *воображенія* собственно у меня нѣтъ, а его мѣсто заступаетъ просто память. Вообразите, что мнѣ иногда случается долго смотрѣть на одну картину, думая объ другой, которая виситъ черезъ стѣну, подойдя къ этой, опять вспомянуть про ту. Это не врожденное, и я очень хорошо знаю — откуда.»

28 Апрѣля.
10 Мая.

«Вотъ я уже цѣлый мѣсяцъ тутъ, и останусь, можетъ быть, весь семестръ; слѣдовательно пишите ко мнѣ не въ Парижъ, а въ Мюнхенъ. Въ самомъ дѣлѣ странно бы было уѣхать отсюда, не слыхавши Шеллинга. Онъ начинаетъ завтра. Я между тѣмъ слушаю уже Окена натуральную исторію и его же физіологію, и Шорна исторію новѣйшаго искусства. У Шеллинга и Окена я былъ, познакомился съ ними и надѣюсь быть не одинъ разъ. Но подробности всего въ слѣдующемъ письмѣ. Кромѣ ихъ и Тютчевыхъ я здѣсь еще не видалъ никого. День мой довольно занятъ, потому что, кромѣ субботы и воскресенья, я четыре часа въ сутки провожу на университетскихъ лавкахъ; въ остальное время записываю

лекціи. Если мнѣ удастся ихъ записать, пришлю къ Погодину, если вы беретесь взять съ него честное слово, чтобы онъ не напечаталъ изъ нихъ ни одной буквы, потому что если Шеллингъ узнаетъ, что его слова тискаются, то готовъ сдѣлаться заклятымъ врагомъ. Этому были уже примѣры. Прощайте! Письмо къ Баратынскому пошлите въ деревню, если онъ еще не въ Москвѣ. Пишите къ намъ чаще и больше и подробнѣе, а пуще всего будьте здоровы. Вѣрно еще письмо пришлемъ черезъ двѣ недѣли. Мы разочли, что такъ какъ мы вмѣстѣ, можемъ писать вдвое чаще. Напишите мнѣ все, что знаете обо всѣхъ, кто помнитъ меня и кто забылъ. Перестали ли грызть мою статью?»

21-го Мая.

2-го Іюня.

«Дѣятельность моя Берлинская нашла здѣсь на мель. Вмѣсто того, чтобы заниматься близкимъ, я пускаю мысли въ далекое, и отъ того $^1/_3$ дня провожу на постелѣ. Однако это не помѣшало мнѣ прочесть много интереснаго. Пишу я мало, за то слушаю лекціи аккуратно и нѣкоторыя записываю. Шеллинговы лекціи легли довольно стройно, и потому я ихъ пришлю не къ Погодину, а къ напенькѣ, а то первый, боюсь, напечатаетъ. Вы за то прочтете ему то изъ нихъ, что вамъ понравится, потому что эти лекціи писаны такъ, что, кажется, и вы прочтете ихъ не безъ удовольствія. Система Шеллинга такъ созрѣла въ его головѣ съ тѣхъ поръ, какъ онъ пересталъ печатать, что она, какъ готовый плодъ, совсѣмъ отдѣлилась отъ той вѣтви, на которой начинала образоваться, и свалилась кругленькимъ яблочкомъ между Исторіей и Религіей. Вѣроятно, однако, что яблочко будетъ началомъ новой Троянской войны между философами и нефилософами Германіи. Курносый Шеллингъ будетъ играть роль Париса, а въ пламенные Ахиллы, я не знаю, кто бы годился изъ Нѣмцевъ, если нашъ Л. не возьметъ на себя этой роли. Въ боги также можно навербовать изъ сотрудниковъ Телеграфа, Максимовича въ Марсы и пр. Только кто будетъ Венерою?.... Увѣрьте въ этомъ перваго слѣпаго и велите ему быть Гомеромъ, съ условіемъ однако, чтобы онъ

смотрѣлъ на Венеру сквозь пальцы. Рожалинъ, которому я это прочелъ, говоритъ, что она Елена, изреченіе достойное ученика Тирша. Соболевскаго здѣсь еще нѣтъ, не смотря на то, что онъ обѣщалъ быть къ намъ въ половинѣ Мая. Тютчевы уѣхали 28 въ Россію. Если вы увидите ихъ отца, то поблагодарите его хорошенько за сына: нельзя быть милѣе того, какъ онъ былъ съ Петрухою, который не смотря на предупрежденіе, съ которымъ, помните? поѣхалъ изъ Москвы, здѣсь былъ разомъ, совершенно обезоруженъ Тютчевскимъ обхожденіемъ. Онъ могъ бы быть полезенъ даже только присутствіемъ своимъ, потому что у насъ такихъ людей Европейскихъ можно счесть по пальцамъ. Кромѣ Тютчева, я здѣсь незнакомъ ни съ кѣмъ. У Шеллинга и у Окена былъ раза по 2 и только. Братъ съ ними знакомъ и больше умѣетъ мастерски обходиться. На дняхъ пришла намъ охота учиться по Итальянски; мы уже условились съ учителемъ и достали нѣсколько Итальянскихъ книгъ. Что вы скажете объ этомъ?»

30 Мая.
11 Іюня.

«Папенька также разъ началъ учиться по Итальянски, маменька по Итальянски знаетъ, Машу мы выучимъ въ 2 мѣсяца, и вотъ у насъ языкъ a parte, языкъ Петрарки и Данте! Не знать такого легкаго языка такъ же стыдно, какъ стыдно бы было не перейти черезъ улицу, еслибы на Мясницкой показывали Альфьери и Петрарку. Авось и папенькѣ придетъ охота продолжать Итальянскій языкъ! Въ Тиролѣ мы не были, потому что погода была скверная. За то были въ Шлейсгеймѣ, который часъ ѣзды отъ Мюнхена. Мы провели тамъ 7 часовъ, которыхъ едва достало, чтобы вскользь осмотрѣть 42 залы, гдѣ больше 2000 картинъ, и почти все изъ древнихъ Нѣмецкихъ школъ. Особеннаго впечатлѣнія не произвела на меня ни одна, потому что ихъ было слишкомъ много; къ тому же я пріѣхалъ туда уже избалованный здѣшнею центральною галлереею, куда перенесены лучшія картины изъ Шлейсгейма. Не стыдно ли вамъ безпокоиться объ моей поѣздкѣ будущей въ Парижъ? Я не толь-

ко отважусь ѣхать туда черезъ 2 мѣсяца, но еще имѣю дерзость везти съ собою брата. Какъ бы желалъ, чтобы вы хотя для того увидѣлись съ Тютчевымъ, чтобы получить отъ него вѣрныя свѣдѣнія обо всемъ, что васъ такъ напрасно безпокоитъ. Какой-такой ученый журналистъ увѣрилъ васъ, что всѣ путешественники выѣзжаютъ изъ Франціи? Это что-то пахнетъ Булгаринымъ.»

$^{3}/_{15}$ *Іюня.*

«Наконецъ третьяго дня удостоились мы приложиться къ явленному образу Соболевскаго, худаго, стройнаго, тонкаго, живаго, прямосидящаго, тихоговорящаго и пр. Онъ пробудетъ здѣсь около недѣли и отправится въ Италію. Вотъ вамъ просьба очень важная, которую исполнить попросите Петерсона съ помощію Яниша К. И. и всѣхъ тѣхъ, кого найдете къ этому способнымъ. Дѣло въ томъ, чтобы узнать *навьрное* и *аккуратно*, есть ли въ нашихъ старинныхъ церквахъ своды или украшенія, или двери, или окна, выгнутые *подковою*, т. е. полукругъ съ продолжительными дугами называется подковою; если есть, то гдѣ? какъ? когда? и проч. Объ этомъ проситъ меня справиться профессоръ Шорнъ, потому что этимъ однимъ фактомъ онъ можетъ опровергнуть цѣлую новую систему архитектурнаго вліянія Арабовъ. Если бы можно было прислать хотя только геометрическими линіями снятое изображеніе Успенскаго собора, то это было бы всего лучше. Въ такого рода занятіяхъ проходятъ всѣ наши часы здѣсь. Поэтому разсказывать остается почти ничего. Тѣмъ больше нетерпѣніе получать ваши письма. Соболевскій писалъ уже въ Парижъ, чтобы ваши (письма) оттуда прислали ко мнѣ сюда; Александръ Тургеневъ уже уѣхалъ изъ Парижа. Досадно, что я не увижусь съ нимъ, тѣмъ больше, что кромѣ его у меня не было ни къ кому писемъ въ Парижъ. Соболевскій даетъ нѣсколько писемъ къ какимъ-то мадамамъ, своимъ друзьямъ-пріятельницамъ, къ которымъ я могу ѣздить въ халатѣ, хотя онѣ самыя почтенныя особы Французскаго языка. Чувствуете ли вы, такъ ловко мнѣ будетъ?»

29 Іюня.

«Каковъ я умница! Какъ я славно обманулъ васъ! Обѣщалъ писать черезъ 2 недѣли, а вотъ уже прошло съ тѣхъ поръ четыре. Впрочемъ безпокоиться вы не могли, зная насъ всѣхъ вмѣстѣ, т. е. насъ трехъ плюсъ Соболевскаго, который пріѣхалъ на два дня и зажился здѣсь цѣлый мѣсяцъ. Долго ли онъ здѣсь останется—еще не извѣстно, хотя онъ собирается каждый день. Думаю однако, что онъ уѣдетъ не сегодня, потому что сегодня Петрушины именины. Мы начали день Итальянскимъ урокомъ, а кончить думаемъ въ театрѣ, гдѣ дается la Muette de Portici. Середину дня еще не знаемъ, хотя за обѣдомъ Рожалинъ уже предчувствуетъ пробочный выстрѣлъ. Итальянскій языкъ нашъ не идетъ впередъ, а бѣжитъ. Скоро мы надѣемся приняться за Данта и теперь уже это сдѣлали бы, еслибы нашъ Кавальеръ Мафей былъ не такъ глупъ. Братъ въ концѣ семестра можетъ быть поѣдетъ мѣсяца на три въ Италію, между тѣмъ какъ я отправлюсь прямо въ Парижъ..... Рожалинъ остается еще здѣсь послѣ насъ, чтобы слушать Тирша, на которомъ онъ сходитъ съ ума и который ему альфа и омега для Греческихъ и Римскихъ. Въ самомъ дѣлѣ, если гдѣ нибудь онъ можетъ образоваться для своей цѣли, такъ это здѣсь, гдѣ онъ къ этому имѣетъ всѣ способы. Впрочемъ я боюсь за него въ уединеніи. Уже Дрезденская жизнь много перемѣнила его характеръ, такъ какъ вообще характеръ всякаго перемѣняется въ безлюдіи, среди людей, которые близки только по мѣсту. Впрочемъ я надѣюсь, что когда воротится въ Россію, то скоро оботретъ съ себя эту корку, посреди тѣхъ, съ которыми можно жить спустя рукава и разстегнувши грудь, не боясь, что пріятели въ нее воткнутъ, не кинжалъ (это бы слава Богу), а иголку, которую замѣтишь только по боли. Не знаю кто, а вѣрно были у Рожалина добрые пріятели, которые такъ его ласкали иголочками, потому что мы еще до сихъ поръ не можемъ навести на прежнюю колеину, хотя и стараемся каждый своимъ манеромъ, я—философствованіями, а Петруха—своимъ простымъ, дружескимъ, откровенно деликатнымъ обхожденіемъ. Вотъ un grand homme pour son

valet de chambre. Такая одинаковость съ такою теплотою сердца и съ такою правдою въ каждомъ поступкѣ, врядъ ли вообразимы въ другомъ человѣкѣ..... Когда поймешь это все хорошенько, да вспомнишь, что между тысячами милліоновъ, именно его мнѣ досталось звать братомъ, какая-то судорга сожметъ и расширитъ сердце.—$^{3}/_{15}$ Іюля. Сегодня Соболевскій отъиде. Онъ прожилъ съ нами больше мѣсяца и отправился теперь въ Миланъ и оттуда въ Туринъ, гдѣ останется мѣсяца два. Съ его отъѣздомъ точно будто уѣхало сорокъ человѣкъ. У насъ опять тихо, порядочно и трезво; что же касается до нашихъ главныхъ занятій, т. е. лекцій и проч., то имъ не мѣшалъ и Соболевскій, который бурлилъ только въ антрактахъ, но за то такъ, что бѣдный Рожалинъ всякій день принужденъ былъ откупаться отъ его крика слезами и виномъ, хотя и это не всегда помогало. Вообще, если бы надо было однимъ словомъ назвать нашу Мюнхенскую жизнь, нужно было бы сочинить новое слово между скукою и пустотою. Мы здѣсь плывемъ на кораблѣ вокругъ свѣта, не входя въ гавани, по морю безъ бурь, и отъ нечего дѣлать читаемъ Шеллинга, Окена и проч. Поблагодарите Языкова за его милую приписку въ прошедшемъ вашемъ письмѣ и за Раупаха особенно (*). Я не пишу ни къ кому теперь, боясь задержкою письма дать вамъ лишній день безпокойства, хотя вамъ, зная насъ всѣхъ вмѣстѣ, безпокоиться нельзя по настоящему, но всегда ли у васъ бываетъ по настоящему? Извините меня передъ Погодинымъ, если онъ сердится на мое молчаніе; скажите что отъ лекцій и отдыховъ у меня нѣтъ свободной минуты, и что въ слѣдующій разъ я непремѣнно буду писать къ нему. Шеллинговы лекціи врядъ ли и придутъ къ вамъ, потому что гора родила мышь. Въ суммѣ оказалось, что противъ прошлогодней его системы новаго не много. Не знаю, что еще будетъ; къ тому же пересылка была бы слишкомъ дорога, а переписка слишкомъ

(*) Намекъ на эпиграмму Языкова на Раупаха.

Чѣмъ весь сія славна, вы знаете ль, друзья?
Здѣсь сердце Русское невольно полно страхомъ,
Здѣсь Софьей казнены Хованскіе князья,
Убитые потомъ Нѣмцемъ Раупахомъ.

скучна. Баратынскаго обнимаю отъ всей души. Если я къ кому нибудь буду писать кромѣ васъ, то вѣрно прежде всѣхъ къ нему. Но до сихъ поръ, судите сами, когда въ Москвѣ я не находилъ времени писать нужныя письма, бывши не занятъ цѣлый день, то здѣсь, гдѣ мнѣ на письма и на отдыхъ остается одинъ усталый вечеръ—найдти свободную минуту право родъ геройства. Особенно Баратынскому столько хочется сказать, что рука не поднимается начать. Не смотря на то, я уже изорвалъ одно письмо къ нему, потому что когда перечелъ его, то увидѣлъ, что все написанное въ немъ разумѣлось само собою и слѣдовательно не стоило вѣсовыхъ. Я получилъ отмѣнно милое письмо отъ Шевырева, почти все объ моей статьѣ, которую онъ читалъ, и похвалы, которыхъ она далеко не стоитъ. Это одно заплатило мнѣ, съ жидовскими процентами, за всѣ брани Булгариныхъ. Надѣюсь, что теперь уже замолчали и почуствовали.

Que je n'ai point merité
Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité.

Пожалуйста, напишите больше и чаще обо всѣхъ и даже не интересное.»

Въ Іюлѣ.

«Послѣ долгаго ожиданія получить письмо, въ которомъ отъ маменьки нѣсколько строчекъ приписки. Маменькѣ некогда писать къ намъ! Впрочемъ мы потеряли право жаловаться послѣ того безпокойства, которое доставило вамъ долгое наше молчаніе. Хотя мы не такъ виноваты, какъ вы думаете. Условіе было писать черезъ мѣсяцъ, а Рожалинъ отправилъ свое письмо не сказавши намъ. Еслибы кто нибудь изъ насъ сдѣлалъ съ нимъ то же, то это было бы непростительно; но съ бѣднаго Рожалина взыскивать нельзя, что онъ не понимаетъ того, что нельзя расчесть умомъ, когда чувство не наведетъ на этотъ расчетъ. Впрочемъ это чувство *безпокойства по напрасну* мы въ семьѣ нашей утончили до нельзя. Но хотя по напрасну, оно справедливо; это необходимый налогъ, который судьба кладетъ на великое счастіе, и еслибы счастіе дружбы освободилось отъ него, то нравственный міръ пришелъ бы въ неравновѣсіе. Вы однако, кромѣ налога необ-

ходимаго, дѣлаете еще добровольныя пожертвованія, и я не понимаю, зачѣмъ такое великодушіе. Уже потому что мы оба молчимъ, должны мы быть оба здоровы и живы, и еще къ тому заняты. Но вы, написать два слова между строкъ, при вашей легкости писать, зная какъ намъ дорого каждое лишнее слово вашего письма.—Даже длина папенькинаго письма, который будто сжалился надъ нами и хотѣлъ вознаградить насъ необыкновеннымъ усиліемъ за вашу короткую приписку. Вотъ письмо ваше отъ 24-го, которое залежалось на почтѣ Богъ знаетъ отчего и которое своимъ милымъ содержаніемъ и полновѣсностію говоритъ мнѣ: дуракъ, безпокоится по напрасну! Еслибы я только могъ найдти какого нибудь неподкупнаго протоколиста, который бы подъ каждою строкою вашею подписывалъ: съ подлиннымъ вѣрно!—Если правда, что вы здоровы и веселы, зачѣмъ же безпокоятъ васъ сны? По настоящему они должны безпокоить не васъ, а насъ, какъ доказательство вашего несовсѣмъ здоровья. Но такъ и быть, я готовъ уступить вамъ это, только съ тѣмъ, чтобы, кромѣ сновъ, цѣлую жизнь вашу не безпокоило васъ ничто на свѣтѣ. Со мной 23 марта, небыло сколько помню, ничего не обыкновеннаго, и до сихъ поръ мы всѣ безпрестанно здоровы совершенно. За именины мои благодарю отъ всего сердца. Если вамъ было весело, то это въ самомъ дѣлѣ былъ мой праздникъ. Что ваши глазки! Отчего вы ничего не скажете объ нихъ? И за чѣмъ и къ чему хвалиться здоровьемъ? Даже и потому вы не можете быть довольно здоровы, что здоровье ваше нужно для всѣхъ насъ, слѣдовательно вамъ надобно его вдесятеро больше, чѣмъ каждому изъ насъ. Планы наши на Парижъ пошатнулись, хотя, кажется, тамъ опять все спокойно. Можетъ быть, мы поѣдемъ въ Италію. Шевыревъ зоветъ въ Римъ. Я бы хотѣлъ, чтобы вы видѣли его милыя письма! Сколько въ нихъ дружбы и сколько жара завидной молодости. Да! для меня молодость уже качество чужое и завидное, и на всякое кипѣнье восторга я смотрю съ такимъ же чувствомъ, съ какимъ безногій инвалидъ глядитъ на удалыя движенья своихъ товарищей. Движенія Шевырева въ самомъ дѣлѣ удалыя. Чѣмъ больше онъ работаетъ, тѣмъ больше становится сильнѣе, и

вмѣсто усталости все больше и больше набирается энтузіазма и духа. Онъ въ жизни какъ рыба въ водѣ, и еще такая рыба, которая можетъ не выплывать на воздухъ и не дышать чужимъ элементомъ. Это качество столько же драгоцѣнно, сколько оно рѣдко въ людяхъ съ талантомъ. Мицкевичь, говорятъ, былъ въ Смирнѣ и уже опять возвратился въ Римъ. Если это правда, то вотъ новая туда приманка. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ, безъ писемъ въ Парижъ все равно что не ѣхать. Съ Потемкинымъ я незнакомъ. Думая пробыть въ Мюнхенѣ только 2 дня, я не сдѣлалъ ему визита; а черезъ двѣ недѣли уже было поздно. Теперь впрочемъ я радъ, что не въ Парижѣ, иначе вы безпокоились бы обо мнѣ еще больше. Италія же во всякомъ случаѣ не будетъ безполезна и для языка, и для памяти, на которой она отпечатаетъ столько изящнаго. Рожалинъ остается здѣсь для того, чтобы учиться по Гречески. Въ деньгахъ онъ не нуждается. Что же касается до насъ, то мы не только себѣ ни въ чемъ не отказываемъ, но еще тратимъ много лишняго. Третьяго дня мы отъ 6 часовъ утра до часу за полночь провели за городомъ въ Штарренбергѣ, катаясь по озеру, которое 5 часовъ длины и на горизонтѣ сливается съ Тирольскими горами. Прогулка эта стоила намъ больше 25 руб., и это была еще одна изъ всего меньше глупыхъ издержекъ нашихъ . . . . . Извѣстіе о Баратынскомъ меня очень огорчило. Послѣдствія этого рода воспаленій всегда двусмысленны. Надѣюсь однако въ первомъ письмѣ вашемъ видѣть его совсѣмъ здоровымъ. Между тѣмъ, какъ не выпросили вы у него новаго романа, какъ не прочли его до сихъ поръ, и не прислали къ намъ? Я бы теперь охотно написалъ ему разборъ; только побывши въ чужихъ краяхъ, можно выучиться чувствовать все достоинство нашихъ первоклассныхъ, потому что.... но я нехочу теперь дорываться до причины этого, которая лежитъ на днѣ всего вѣка. Общія мысли, какъ важныя дѣла, оставимъ до утра, то есть до свиданія. Вообще все Русское имѣетъ то общее со всѣмъ огромнымъ, что его осмотрѣть можно только издали. Еслибы вы видѣли, чѣмъ восхищаются Нѣмцы, и еще какимъ нелѣпымъ восторгомъ! Нѣтъ, на всемъ земномъ шарѣ нѣтъ народа плоше, бездушнѣе, тупѣе и досаднѣе Нѣмцевъ! Булгаринъ

передъ ними геній! Кстати: дайте мнѣ какое нибудь понятіе объ эпиграммахъ на душегрѣйку. Какъ благодаренъ я вамъ, милый папенька, за то, что вы не забыли подѣлиться съ нами университетскимъ засѣданіемъ (*). Знаете ли, что оно и насъ тронуло до слезъ. И народъ, который теперь можетъ быть одинъ въ Европѣ способенъ къ восторгу, называютъ непросвѣщеннымъ. Поцѣлуйте Погодина, поздравьте его и поблагодарите отъ насъ за подвигъ горячаго слова. Какъ бы я отъ сердца похлопалъ вмѣстѣ съ вами! Но не ужели намъ до возвращенія не читать этой рѣчи?—Лекціи Шеллинга я пересталъ записывать; ихъ духъ интереснѣе буквальности. Вмѣсто присылки ихъ самихъ, что стало бы дорого, я лучше напишу вамъ что нибудь объ нихъ, когда будетъ время, т. е. когда кончится семестръ. Это будетъ около 25-го этого мѣсяца по новому стилю. Что же касается до регулярности нашихъ писемъ, то ея лучше не требовать. Ожидая письма навѣрное въ извѣстный день, не получить его хуже, чѣмъ просто долго не получать. Къ тому же послѣднее, надѣюсь, не повторится. Это была съ нашей стороны точно непростительная вѣтреность. Біографію Баварскаго короля писать для альманаха мудрено, особенно когда для этого надобно знать столько подробностей, которыхъ мы не знаемъ. Біографію Баженова писать изъ Германіи странно, когда вы можете написать ее въ Россіи, гдѣ встрѣчный и поперечный скажетъ вамъ объ немъ что нибудь новое. Но если Языковъ хочетъ имѣть статью отъ меня, то я готовъ служить ему сколько въ силахъ. И лучше напишу объ чемъ нибудь, что̀ меня занимаетъ. Если же статья не понравится, то я напишу другую, третью и такъ далѣе. Зачѣмъ только онъ хочетъ назвать альманахъ свой душегрѣйкой? (**) Конечно, это было бы величайшій знакъ

(*) Здѣсь говорится о рѣчи М. П. Погодина, произнесенной 26-го Іюня 1830 г. При этомъ случаѣ были первыя рукоплесканія въ Университетѣ; ихъ начали А. А. Елагинъ и Н. М. Языковъ, а публика подхватила.

(**) Молодой Кирѣевскій, въ краснорѣчивомъ и полномъ мыслей обозрѣніи нашей словесности, говоря о Дельвигѣ, употребилъ сіе изысканное выраженіе: древняя муза его покрывается иногда душегрѣйкой новѣйшаго уны-

дружбы, который писатель можетъ оказать другому писателю, такъ открыто одобрить то, на что всего больше нападаютъ. Но благоразумно ли это? Не смотря на то, что онъ Языковъ, онъ Языковъ только для понимающихъ. Для Булгариныхъ онъ просто цѣль по выше другихъ. Пусть ихъ грязь не долетитъ до этой цѣли, но покуда летитъ, она заслоняетъ цѣль отъ взоровъ тѣхъ, кто внизу, а эти-то низкіе и дороги для альманаха. Отсовѣтуйте ему рыцарствовать, а лучше пусть его воротится къ своей *Ласточкѣ* (*). Увѣрьте его, что мнѣ довольно знать его одобреніе, чтобы быть вознагражденну за критики всѣхъ возможныхъ Полевыхъ..... Германіей ужъ мы сыты по горло. Къ Языкову, Баратынскому, Погодину, кажется, я написать не успѣю. Языкову крѣпкое рукожатіе за стихи. Съ тѣхъ поръ какъ я изъ Россіи, я ничего не читалъ огненнѣе, сильнѣе, воспламенительнѣе. Пловецъ его мнѣ уже былъ знакомъ,—это тотъ же, который хотѣлъ спорить съ бурей, только теперь онъ дальше въ океанѣ. Если ваши глазки здоровы, только не иначе, то окончите мнѣ остальныя звѣздочки. Вмѣсто Катона, представьте какого нибудь мученика въ то время, когда ему говорятъ: пожри богамъ нашимъ! Можно вотъ какъ: онъ обнимаетъ посреди стоящій крестъ, по бокамъ палачи, вдали народъ и разведенные огни; надъ крестомъ звѣзда.»

$^{6}/_{17}$ *Августа.*

«Поклонитесь Янишамъ и скажите имъ, что мы такъ часто думаемъ объ нихъ и особенно такъ любимъ вспоминать ихъ пятницы, что имъ въ честь и въ воспоминаніе завели пятницы у себя, съ тою только разницею, что вмѣсто

нія. Выраженіе, конечно, смѣшное. Зачѣмъ не сказать было просто: въ стихахъ Дельвига отзывается иногда унынie новѣйшей поэзіи? Журналисты наши, о которыхъ г. Кирѣевскій отозвался довольно не почтительно, обрадовались, подхватили эту душегрѣйку, разорвали на мелкіе лоскутки, и вотъ уже годъ какъ ими щеголяютъ, стараясь насмѣшить свою публику.

Изъ Зап. Пушкина.

(*) Названіе альманаха, который предполагалъ издать поэтъ Языковъ. *Прим. изд.*

одной у насъ ихъ семь на недѣлѣ. Этотъ Нѣмецкій Witz въ Русскомъ переводѣ значитъ слѣдующее: сегодня мы думаемъ ѣхать въ Италію, завтра въ Парижъ, послѣ завтра остаемся еще на нѣкоторое время здѣсь, потомъ опять ѣдемъ и т. д., и вотъ почему я не могу вамъ сказать ничего опредѣленнаго объ нашихъ планахъ. Вѣроятнѣе другаго однако то, что мы проведемъ осень въ Сѣверной Италіи, а къ ноябрю будемъ въ Римѣ, гдѣ пробудемъ много ли, мало ли, Богъ знаетъ. Между тѣмъ я убѣдился, что для *завтра* нѣтъ наряда больше къ лицу, какъ длинное густое покрывало, особливо когда отъ насъ зависитъ его приподнять. Не знаю сказать, почему, а очень весело безпрестанно дѣлать другіе планы и возвращаться къ старымъ, какъ къ такимъ знакомымъ, съ которыми встрѣтиться весело, а разстаться не грустно. Это похоже на ѣзду въ дилижансѣ, гдѣ вмѣсто товарищей Нѣмцевъ съ одной стороны сидитъ Швейцарія, съ другой madame Италія и спереди monsieur Парижъ. Въ этихъ дилижансахъ ѣздимъ мы обыкновенно за обѣдомъ и за вечернимъ кофеемъ, потому что остальное время почти все проводится либо въ Университетѣ, либо за книгами и за итальянскими уроками. Въ университетѣ теперь лекціи скоро кончатся (25-го Авг. н. с.), и потому многіе профессоры, чтобы успѣть кончить свои лекціи, вмѣсто одного раза читаютъ 2 раза въ день, что отнимаетъ у насъ нѣсколько часовъ отъ болтанья, ничего недѣланья и отъ другихъ непринужденныхъ занятій. Прибавьте къ этому необходимость гулять подъ глубокимъ яхонтовымъ небомъ, послѣобѣденные южные жары, а больше всего мою врожденную и благопріобрѣтенную лѣность; составьте изъ всего этого благовидное фрикасе и попотчуйте имъ всѣхъ тѣхъ, къ кому я до сихъ поръ не писалъ. Особенно постарайтесь оправдать меня передъ милымъ Баратынскимъ, Языковымъ и Погодинымъ. Отъ перваго я получилъ милое письмо, на которое, если успѣю, буду отвѣчать сегодня; если же не успѣю, то на дняхъ, и пришлю письмо къ вамъ.... Въ Италію, больше картинъ и статуй, привлекаетъ меня небо. Южное небо надобно видѣть, чтобы понять и южную поэзію, и

миѳологію древнихъ, и власть природы надъ человѣкомъ. Это небо говоритъ не воображенію какъ сѣверное, какъ звѣзды, какъ буря; оно *чувственно* прекрасно, и нужно усиліе, нужно напряженіе, чтобы любоваться имъ. Здѣсь небо такъ близко (не смотря на то, что глубоко), такъ близко къ человѣку, что ему не нужно подыматься на пальцы, чтобы достать до него, между тѣмъ какъ на сѣверѣ надобно взгромоздиться на цѣлую лѣстницу Оссіановскихъ тѣней, чтобы небо сдѣлалось ощутительнымъ. Вы знаете, что я никогда не былъ энтузіастомъ природы; но на этотъ яхонтъ смотрю иногда право почти съ такимъ же чувствомъ, съ какимъ смотритъ на яхонтъ Жидъ. Такъ и рвется изъ груди вздохъ Гёте и Веневитинова: отдайте мнѣ волшебный плащъ. Впрочемъ здѣсь мы рѣдко видимъ этотъ яхонтъ. Близость горъ и возвышенность мѣста даютъ намъ очень часто погоду Англійскую. За то, тѣмъ больше наслаждаемся мы хорошею. Иногда однако, когда вспомнится, что на сѣверѣ Россія, захочется и блѣднаго неба. Но чуть ли я не разсуждаю съ вами о погодѣ? Вотъ что значитъ побыть 7 мѣсяцевъ въ Германіи! Впрочемъ жизнь наша здѣсь такъ однообразна, такъ уединенна, что если выключить то, что̀ мы думаемъ объ васъ, что̀ читаемъ и слышимъ на лекціяхъ, то чуть ли не останется говорить объ одной погодѣ. Но повторять вамъ слышанное на лекціяхъ было бы скучно, и мудрено, и смѣшно, и дорого, повторять читанное въ книгахъ не лучше, а мысль объ васъ—какъ Итальянское небо, которое можно понять только чувствомъ, и которое въ описаніи будетъ только слово. Эти мысли, впрочемъ, какъ-то не доходятъ до мысли; онѣ то память, то чувство, то воздушный замокъ, то сонъ, и никогда не силлогизмъ. Покуда думаешь ихъ, не думая объ нихъ, кажется наполненъ мыслями; захочешь разсказать, ни одной не поймаешь въ слово. Тѣмъ больше, что все это, кажется, разсказывать не для чего. Въ самомъ дѣлѣ къ чему вамъ знать, что тогда-то я думалъ то-то, то какъ вы сидите вмѣстѣ, то какъ гуляете въ саду, то здоровы ли вы, то какъ я прощался съ вами, то Языковъ читаетъ на столѣ стихи, то у васъ болятъ глазки, то вы здоровы и ве-

селы и думаете объ насъ, то какъ мы споримъ съ папенькой о политической экономіи, то толкуемъ о Шеллингѣ, то Андрюшка дернулъ бровкой, то Васька сочинилъ стихи и пр. Кстати, отъ чего вы не пришлете намъ ничего. изъ дѣтскаго журнала? Еще больше кстати: какъ можно печатать мое письмо о Шлейермахерѣ? Не потому только, что слогъ, какъ вы говорите, не отдѣланъ и что показываться въ халатѣ передъ тѣми друзьями, которыхъ мнѣ сдѣлало мое обозрѣніе съ душегрѣйкой, было бы безразсудно, а передъ незнакомой публикой неприлично; но потому, что я говорю объ людяхъ живыхъ и къ тому же не такъ, какъ я говорилъ бы публично. . . . Пожалуйста, повѣрьте моимъ опытамъ и несомнѣнному убѣжденію, что видѣть меня такимъ, каковъ я въ самомъ дѣлѣ, и вмѣстѣ любить, можетъ только моя семья. Не многіе друзья мои, не всѣ исключеніе; изъ нихъ многіе любятъ такія качества, которыхъ я не имѣю. Но и вы, развѣ я *вашъ* не въ тысячу разъ лучше меня *настоящаго*..... Къ Баратынскому я написать не успѣлъ. До сихъ поръ еще не отвѣчалъ Шевыреву. Но скоро кончатся лекціи, и тогда я примусь за письма, и можетъ быть еще напишу что-нибудь для Языковскаго альманаха, разумѣется не въ такомъ родѣ, чтобы одолжить его столькими пріятелями, сколькими мнѣ обязанъ Максимовичъ..... Благодарствуйте за то, что часто бываете подъ Симоновымъ; только что жъ вы такъ долго не пишете? Пришлите непремѣнно романъ Баратынскаго и то, что есть новаго Пушкина, Языкова, Вяземскаго и, если можно, хотя предисловіе къ Борису. Откуда такая досада на славу? Не уже ли жъ Булгарины могутъ заставить Пушкина молчать? Прощайте. Пишите больше и чаще и даже объ томъ, что вамъ кажется неинтереснымъ.»

21-го Августа

2-го Сентября.

«Нашъ отъѣздъ въ Италію совсѣмъ еще не рѣшенъ, ни когда, ни куда именно; думаемъ однако, что около половины Сентября н. с. подымемся отсюда и подвинемся къ Сѣверной

Италіи. Между тѣмъ письма ваши пусть идутъ сюда. Парижское письмо ваше пропало на почтѣ. Мнѣ его жаль. Я люблю перечитывать ваши письма, даже старыя, и часто это дѣлаю; такимъ манеромъ я иногда слушаю васъ больше двухъ часовъ, потому что пакетъ уже набрался порядочный. Зачѣмъ только въ этомъ разговорѣ столько печальнаго? Объ насъ разсказывать почти нечего; послѣ послѣдняго письма перемѣнилось только то, что мы не ходимъ въ университетъ, и больше лѣнимся, и больше вмѣстѣ, и строимъ больше плановъ, которые не исполняются. Я хотѣлъ написать кое что для Языкова альманаха, но до сихъ поръ еще не принимался. Столько разныхъ мыслей *крестятся* въ головѣ, что вся голова вышла церковь безъ попа, кладбище, которое ждетъ еще Ангела съ трубою. Трубу, впрочемъ, я нашелъ, только не ангельскую, а фрауенгоферскую. Я надѣюсь, что папенька будетъ ею доволенъ..... Можетъ быть, мы пробудемъ здѣсь недѣли три, можетъ быть меньше, можетъ быть больше, словомъ мы не знаемъ. Я между тѣмъ читаю Аріоста и совсѣмъ утонулъ въ его граціозномъ воображеніи, которое такъ же глубоко, тепло и чувственно, какъ Итальянское небо. Тассу я также только теперь узналъ цѣну; и вмѣстѣ понялъ все варварство тѣхъ, кто, оторвавши крылья у бабочки, думаютъ, что она полетитъ..... До сихъ поръ я не отвѣчалъ ни Шевыреву, ни Соболевскому, все откладываю до завтра. Но завтра примусь безъ отсрочки.»

Сентябрь.

«Изъ этого письма вы видите: 1) что братъ и Рожалинъ (особливо первый) непростительные лѣнтяи, которые откладывали писать къ вамъ до самаго часа отъѣзда; 2) вы видите, что они уѣхали въ Вѣну, чтобы провести тамъ около недѣли, что вмѣстѣ съ путешествіемъ составитъ 3, или около. Богъ знаетъ, удастся ли имъ видѣть что нибудь интересное, кромѣ театра и улицъ: и можетъ быть кромѣ галлереи, куда можно войти безъ рекомендательныхъ писемъ, хотя съ рекомендательнымъ гульденомъ. Но еслибъ они ничего не видали, кромѣ Дунайскихъ береговъ, то все путешествіе

было бы заплачено. Отчего же я не поѣхалъ? спросите вы. Отвѣтъ на этотъ вопросъ раздѣлили между собою братъ и Рожалинъ. Одинъ сказалъ одну половину причины, другой другую, слѣд. мнѣ остается только повторить обѣ половины, т. е. я не поѣхалъ для того, что пора раздѣлаться съ письмами и передъ поѣздкою въ Италію не худо быть посильнѣе въ Итальянскомъ языкѣ. Когда я вспомню, сколько мнѣ въ эти три недѣли написать писемъ, то волосы становятся дыбомъ отъ лѣни. Вотъ тѣ, къ кому мнѣ необходимо писать (изъ записной книжки моей я выпишу ихъ по азбучному порядку): Баратынскій, которому я до сихъ поръ не отвѣчалъ, Веневитиновъ, Кн. Волконская, которая черезъ Шевырева спрашиваетъ, получилъ ли я камешекъ; Жуковскій, тетенька Зонтагъ, Кошелевъ, Мальцевъ, Одоевскій, Петерсоны: Александръ, Юлій и Остафій; передъ послѣдними двумя я такъ виноватъ молчаніемъ, что не знаю, какія извиненія поставить въ началѣ письма,—Погодинъ, Скорятинъ, Шевыревъ, Языковъ; тутъ забылъ еще Соболевскаго, которому около двухъ недѣль я собираюсь отвѣчать на письмо, требующее отвѣта немедленнаго. Видите ли, какъ я тотъ же.»

2 Октября.
20 Сентября.

«Я до сихъ поръ не кончилъ письма своего, потому что мнѣ было стыдно, или, лучше сказать, досадно посылать вамъ длинное письмо отъ себя, между тѣмъ какъ отъ нихъ только 2 строчки. Но, по счастію, теперь могу приложить сюда ихъ письма съ дороги, и, надѣюсь, вы объ нихъ безпокоитеся не будете. Съ самаго ихъ отъѣзда я не выхожу изъ своей комнаты и бываю только въ трактирѣ, гдѣ обѣдаю, и въ музеѣ, гдѣ читаю газеты. Остальное время все посвящено Итальянскому языку. Признаюсь однако, что это изученіе Итальянскаго почти то же, что far niente, только ancora più dolce, благодаря Аріосту. Я купилъ за 7 гульденовъ Данта, Петрарку, Аріоста и Тасса, словомъ Il Parnasso Italiano. Досталъ тоже Восаccio, остальныя книги беру у мо-

ого Cavallieri Maffei, и, безпрестанно перемѣняя одного другимъ, читаю ихъ всѣхъ вмѣстѣ, но больше Аріоста, выше котораго до сихъ поръ я не вижу ни одного поэта. Можетъ быть, это только жаръ перваго знакомства и пройдетъ какъ всякій жаръ, когда не достанетъ новыхъ дровъ. Однако не думаю, чтобы скоро. 35 пѣсенъ и каждая въ Расиновскую трагедію! Судьба точно насильно тащитъ меня въ Италію. Вы знаете, собирался ли я туда? Еще за 6 мѣсяцевъ я не думалъ учиться по Итальянски. Кстати, вы мнѣ дѣлаете слишкомъ много чести, предполагая, что я не поѣхалъ въ Парижъ отъ того, что боялся быть тамъ во время революціи. Право, не отъ того. Объ революціи я узналъ тогда, когда уже все было почти кончено. Если это обстоятельство избавило васъ отъ лишняго безпокойства обо мнѣ, то благодарите за то одинъ случай, который вотъ уже болѣе года взялъ всю мою волю въ свои руки.

«Недавно видѣлъ я здѣсь Wallenstein'a. Эслеръ игралъ Валленштейна и игралъ превосходно. Но трагедія, не смотря на то, не произвела на меня никакого впечатлѣнія, и тѣмъ меньше, чѣмъ больше восхищались ею Нѣмцы. Не смотря на всѣ усилія, которыя я дѣлалъ, чтобы видѣть въ героѣ что нибудь, кромѣ Нѣмецкаго студента, ни на минуту не могъ обмануться. Гдѣ нужно дѣло, онъ говоритъ общія мысли; гдѣ нужно рѣшиться, онъ сомнѣвается; гдѣ надо думать, онъ разсказываетъ сонъ и пр. Вчера я былъ свидѣтелемъ славнаго Мюнхенскаго праздника Octoberfest, учрежденнаго здѣсь въ 1810 году, въ воспоминаніе и въ честь свадьбы нынѣшняго короля съ королевою. Народу было на огромномъ лугу (Teresienwiese) больше 60,000. Со всего государства собраны были лучшія лошади, коровы, быки, свиньи, бараны и пр. Самъ король осматривалъ ихъ и раздавалъ владѣльцамъ призы, состоящіе изъ знаменъ, книгъ (über Viehzucht und Ackerbau in Deutschland und besonders in Bayern) и изъ денегъ; потомъ была скачка, и хотя король уѣхалъ прежде 6 часовъ, народъ оставался за полночь. На всемъ лугу не было ни одного солдата, ни одного полицейскаго, выключая національной милиціи (Landmilitz), и не только не вышло ни

одной драки, но и ни одного громкаго слова. Впрочемъ Нѣмцы, благодаря пиву, чѣмъ пьянѣе, тѣмъ тише. Замѣчательнѣе всего были свиньи. Я такихъ не видывалъ отъ роду. Извѣстно впрочемъ, что свиньи Баварскія, съ незапамятныхъ временъ, считаются первыми во всей Европѣ, не выключая и Чухонскихъ. Не смотря однако на всю торжественность этого праздника, мнѣ было на немъ больше чѣмъ скучно. Кромѣ двухъ глупыхъ Нѣмцевъ, съ которыми я только кланяюсь, потому что разъ два съ ними обѣдалъ въ трактирѣ, у меня не было тамъ ни одного знакомаго. Это еще не бѣда; напротивъ, но не скучать мнѣ мѣшала какая-то böse Laune. Къ тому же на языкъ привязался противъ воли стихъ (какъ то часто бываетъ съ нашимъ семействомъ). Этотъ стихъ, который такъ неумѣстно вертѣлся на моемъ языкѣ, былъ изъ перваго монолога Гетевской Ифигеніи: Weh dem и пр. Чѣмъ больше я старался это прогнать, тѣмъ онъ возвращался сильнѣе, какъ бревно висящее, которое толкаетъ медвѣдь. Но въ вечеру дурной нравъ мой околдовалъ мой другъ Аріостъ. Этимъ я обязанъ ему уже не въ первый разъ, и это единственная книга, которой эпитетъ *друга* не натянутъ. Онъ грѣетъ, утѣшаетъ и разсѣеваетъ. Міръ его фантазіи — это теплая, свѣтлая комната, гдѣ можетъ отдохнуть и отогрѣться, кого морозъ и ночь застали на пути. Я не знаю, впрочемъ, засидится ли въ этой комнатѣ тотъ, кто ѣздитъ въ шубѣ и съ фонарями. Потому совсѣмъ не удивляюсь, что Аріостъ не для всѣхъ величайшій изъ поэтовъ. Для большей части людей его вымыслы должны казаться вздоромъ, въ которомъ нѣтъ ни тѣни правды. Но мнѣ они именно потому и нравятся, что они вздоръ, и что въ нихъ нѣтъ ни тѣни правды. Окончивъ Аріоста, примусь за Баярда, котораго знаю только изъ папенькиныхъ разсказовъ, которые еще въ Долбинѣ дѣлали на меня сильное впечатлѣніе, такъ что боюсь найти его ниже ожиданія. 5 *Октября*. Сейчасъ получилъ письмо отъ Рожалина и брата изъ Вѣны. Они въ восторгѣ отъ одного изъ . . . . . Вѣнскихъ театровъ; уже изъ трактира переѣхали на квартиру; однако денегъ, посланныхъ мною, еще не получали, и не чудаки ли, т. е. боятся,

что я не скоро ихъ вышлю, можетъ быть залѣнюсь и пр. Они оттуда хотятъ писать къ вамъ и потому я письма ихъ ко мнѣ не посылаю. Въ Вѣнѣ останутся они около мѣсяца; однако письма къ нимъ присылайте ко мнѣ. Къ тому же отвѣтъ на это письмо уже не найдетъ ихъ (тамъ). Я между тѣмъ буду писать къ вамъ чаще обыкновеннаго, чтобы хоть этимъ вызвать ваши письма. Знаете ли однако, что писать къ вамъ, не получая такъ долго отъ васъ, совсѣмъ не удовольствіе. Правда, что, писавши къ вамъ, я больше съ вами, чѣмъ когда просто объ васъ думаю. Однако я говорю съ вами какъ глухой и слѣпой, который знаетъ, что слышатъ его, но не знаетъ кстати ли то, что онъ говоритъ; не знаетъ, что дѣлается вокругъ него, боится шутить не въ пору, боится не въ пору вздохнуть и можетъ быть даже замолчалъ бы, если бы не боялся, что и молчаніе его будетъ не въ пору.»

Октябрь.

«Я получилъ ваше письмо отъ 8 Сентября и тотчасъ же послалъ его къ брату, который еще въ Вѣнѣ, и, какъ говоритъ, писалъ къ вамъ 2 раза. Изъ его писемъ вы видите, что онъ не теряетъ времени даромъ. Но ваше письмо—знаете ли вы, что я послѣ него чуть-чуть не поѣхалъ въ вамъ. Сначала потому, что было испугался чумы, а потомъ, обдумавши, что вы не станете рисковать нашими,—уже не для чумы, а просто для того, что возможность скоро увидаться съ вами, родила во мнѣ такое желаніе отправиться къ вамъ, что долженъ былъ испытать надъ собою все краснорѣчіе благоразумія, чтобы остаться въ Мюнхенѣ. Краснорѣчіе это имѣло успѣхъ, но до сихъ поръ я еще не знаю, прочный ли. Жду съ нетерпѣніемъ еще письма отъ васъ, и увѣренъ, что послѣ послѣдняго вы не заставите меня долго дожидаться. Иначе, т. е, если 12 Ноября н. с., ровно черезъ мѣсяцъ послѣ послѣдняго, я не получу отъ васъ втораго письма, то къ 12 декабря ждите меня въ Москву. Что за бурлаки, которые пришли въ Ниж. Новгородъ-съ чумою, какъ пишетъ Journal de St.-Pétersbourg? И вы послѣ всего это-

го еще мѣсяцъ, можетъ быть, не будете писать! Разумѣется, я буду здѣсь дожидаться новыхъ отъ васъ вѣстей и не уѣду въ Италію, какъ вы думаете, прежде чѣмъ увѣрюсь на вашъ счетъ. Не знаю еще, что скажетъ братъ въ отвѣтъ на ваше письмо. . . . . Изъ стиховъ, присланныхъ вами, разумѣется Языковскіе, прочелъ я съ больше крѣпкимъ чувствомъ. О псалмѣ и говорить нечего. Стихи къ сестрѣ (можетъ быть братство вмѣшивается одно въ судейство) показались мнѣ chef d'oeuvre этого рода. Какая грація, приличность и мѣрность и вмѣстѣ какая Языковская ковка! Присылайте скорѣе Баратынскаго поэму. Объ себѣ сказать мнѣ почти нечего новаго, кромѣ того, что я уже не такъ уединенно живу; я, случайно познакомившись съ нѣкоторыми молодыми людьми не Нѣмецкаго покроя, почти каждый вечеръ ужинаю вмѣстѣ съ ними, иногда даже у одного изъ нихъ; проводимъ мы цѣлыя почи въ толкахъ объ суетѣ мірской и премудрости Божіей, т. е. изъ пустаго въ порожнее. . . . . Соболевскій съ Шевыревымъ удивляются, что мы съ Рожалинымъ такъ долго къ нимъ не пишемъ. А мы всего просрочили только 5 мѣсяцевъ отвѣчать послѣднему, и 2—первому; вообразите странность съ ихъ стороны! Шевыревъ пишетъ мнѣ, что онъ послалъ на Булгарина громовое письмо; что такое? Жаль мнѣ бѣдной Маѳы, если она всуе печешеся. Но этотъ опытъ какъ бы ни былъ неудаченъ въ стихахъ, будетъ небезполезенъ для его прозы. Что онъ заводитъ типографію, я очень радъ: будутъ двѣ хорошихъ; но что Языковъ издаетъ альманахъ, я хотя и радъ, однако незнаю, что прислать ему. Постараюсь къ тому времени что нибудь сдѣлать. А между тѣмъ прощайте.»

30-го Октября.

«Вотъ и братъ воротился съ Рожалинымъ изъ Вѣны, а отъ васъ еще нѣтъ писемъ. Я сказалъ уже, что покуда не получу, въ Италію не поѣду, но эта угроза что-то не дѣйствуетъ. Если еще нѣсколько времени пройдетъ безъ писемъ отъ васъ, тогда, вмѣсто Италіи, я поѣду въ Россію. Потому, смотрите, не удивитесь, если я вдругъ явлюсь не-

редъ вами. Что сказать вамъ теперь объ насъ? Изъ письма брата вы, вѣроятно, видите, что онъ ѣздилъ не понапрасну, что онъ видѣлъ много новаго, интереснаго, а пуще всего радъ тому, что и въ Вѣнѣ Нѣмцы—Нѣмцы. Объ себѣ сказать вамъ нечего. Теперь разумѣется съ братомъ и Рожалинымъ безпрестанно, покуда опять выскажемся до истощенія. Впрочемъ, мнѣ разсказывать имъ было нечего, кромѣ Октябр. праздника, да фейерверка, который состоялъ изъ 3-хъ ракетъ и одного бурака. Итальянскій языкъ мой дошелъ до того, что я могу уже сказать: date mi mangiare, слѣд. въ Италіи съ голоду не умру. За то я все почти понимаю и даже стихи. Скажите Баратынскому, что я начинаю читать Аöеri, и только для того ничего не читалъ до сихъ поръ изъ его трагедій, чтобы вполнѣ оцѣнить того, кого Баратынскій называетъ величайшимъ поэтомъ. Что вы не пишете? Что болѣзнь Веневитинова? Что холера? Гдѣ она? Продолжаютъ ли у васъ говорить объ ней? Надѣюсь, однако, что на всѣ эти вопросы вы будете отвѣчать еще прежде, чѣмъ получите это письмо. Объ нашей будущей поѣздкѣ въ Италію нельзя сказать навѣрное *когда*, за то можно утвердительно сказать *куда*, т. е. въ Римъ, въ Римъ къ Ватикану, къ Щевыреву, къ Папѣ, къ св. Петру, и все, если мы получимъ скоро письма отъ васъ. Иначе мы бросимъ жеребій: одинъ на сѣверъ, другой на югъ.—Рожалинъ останется здѣсь, потому адресуйте къ нему всѣ письма. Онъ будетъ знать, гдѣ мы и какъ переслать намъ что нужно. Боюсь, однако, что онъ будетъ тутъ слишкомъ одинъ. Уединеніе можетъ сдѣлать его не то что мизантропнѣе, а людобоязненнѣе, хотя онъ способенъ къ тому и къ другому. Я недавно опять получилъ письмо отъ Шевырева въ отвѣтъ на мое. Онъ уже заготовляетъ намъ комнату и пишетъ, что рѣжетъ Булгарина. Читаете ли вы его критики? и хороши ли?

«Я къ вамъ пишу сегодня не много, потому что братъ пишетъ больше, и Рожалинъ также, кажется, не лѣнится. Я не много опоздалъ и не хочу откладывать письма до завтра, потому что и такъ мы уже долго откладывали, и я боюсь, что если письмо опоздаетъ, то вы будете безпокоиться о

братѣ, и о томъ, какъ онъ пріѣхалъ изъ Вѣны. Потому прощайте! Скоро либо напишу къ вамъ еще, либо самъ пріѣду. Обнимаю васъ отъ всей души; покланитесь всѣмъ, кто обо мнѣ помнитъ.»

11-го Ноября.

«Здравствуйте! Вотъ я въ Варшавѣ, ѣду къ вамъ, однако не въ Москву, потому что увѣренъ, что вы оттуда уѣхали, а въ Петербургъ, гдѣ по всѣмъ вѣроятностямъ вы должны быть теперь. Въ Москву же пишу къ вамъ только такъ, на удачу, и крѣпко надѣюсь, что мое письмо сдѣлаетъ крюкъ изъ Москвы въ Петербургъ. Однако, не смотря на крюкъ, оно придетъ прежде меня, потому что я здѣсь долженъ ждать цѣлую недѣлю, ибо дилижансъ отходитъ только въ середу, а теперь четвергъ; къ тому же этотъ проклятый дилижансъ идетъ два дня съ половиной до Польской границы. Тамъ я возьму извощика можетъ быть до самаго Петербурга, потому что на почтѣ, или на перекладныхъ ѣхать и слишкомъ дорого и безъ человѣка невѣрно, ибо когда некому смотрѣть за вещами, то само собою разумѣется, что онѣ могутъ пропасть. Хотя я не везу съ собою никакихъ драгоцѣнностей, однако все непріятно остаться въ одной шубѣ. Извощикъ же, который меня повезетъ, принадлежитъ Графу Гуровскому, съ которымъ я здѣсь познакомился, или, лучше сказать, возобновилъ знакомство, ибо зналъ его въ Мюнхенѣ. Онъ ручается мнѣ за вѣрность, услужливость и расторопность своего кучера и за доброту его лошадей. Не смотря на то однако, что я везу и кучеру и лошадямъ грозный ордеръ отъ барина, въ которомъ сказано между прочимъ: ѣхать какъ можно скорѣе, вся моя дорога съ фурманомъ продолжится около двухъ съ половиною недѣль, а можетъ быть и больше; слѣдовательно въ Петербургъ пріѣду я не прежде половины Декабря, ибо сегодня 11-е Ноября. Если не найду васъ тамъ, то узнаю отъ Жуковскаго, гдѣ вы, и отправлюсь туда. Вотъ и разлука наша, которая при началѣ казалась безъ конца, сама собою кончилась. Еще не прошло года, какъ я васъ оставилъ. Кажется, судьба только пошу-

тила съ нами, заставивши насъ прощаться такъ на долго. Хотя эта шутка была совсѣмъ Нѣмецкая, и ни она сама, ни ея развязка, совсѣмъ не забавны. Неужели и судьба Нѣмка? Вы видите, милая маменька, что я ѣду къ вамъ съ совершенно спокойнымъ духомъ, ибо твердо увѣренъ, что вы не подвергаете ни себя для насъ, ни нашихъ ни малѣйшей опасности. Я не сомнѣваюсь, что это письмо пришлется къ вамъ либо въ Петербургъ, либо въ Ригу, и что вы уѣхали изъ Москвы, какъ скоро пріѣхалъ папенька изъ деревни, а папенька, конечно, не рисковалъ вами изъ лишняго рубля, который онъ могъ бы выхозяйничать тамъ, и расчелъ, что лучше уѣхать безъ ничего, чѣмъ оставаться съ тысячами. Однако признаюсь вамъ, что страхъ иногда находитъ на меня. Но я умѣю его разгонять больше простою волею, чѣмъ благоразумнымъ разсужденіемъ. Пишите какъ можно скорѣе къ брату, который остался въ Мюнхенѣ и боится за васъ еще больше меня. Уже двѣ недѣли, какъ я его оставилъ, и если онъ еще не получилъ объ васъ извѣстія, то это было бы съ вашей стороны слишкомъ жестоко. Но нѣтъ! нѣтъ! прочь всѣ безпокойныя мысли, вы къ нему писали изъ Петербурга. И онъ покоенъ на вашъ счетъ. Я *хочу* вѣ-рить всему хорошему, хочу не сомнѣваться въ лучшемъ; ина че, поддавшись страху дурнаго, теперь какая бы душа могла устоять? За чѣмъ я оставилъ васъ? Но что сдѣлано, то сдѣлано. *Прошедшаго* воротить нельзя, и мы властны только надъ *настоящимъ*. Надъ нимъ я буду господиномъ, буду управляться собою и докажу это даже въ этихъ обстоятельствахъ надъ своими чувствами и воображеніемъ. Я буду покоенъ до тѣхъ поръ, покуда увижусь съ вами. Еще цѣлый мѣсяцъ! Но запасъ моей воли станетъ еще на долѣе. Прощайте, обнимаю васъ всѣхъ. Гостинцевъ не везу никому, выключая меньшихъ, и то только для того, чтобы они были мнѣ рады. При выѣздѣ изъ Варшавы, т. е. черезъ недѣлю, буду писать еще, а теперь еще разъ обнимаю васъ. Вашъ Иванъ.

«Сейчасъ явился извощикъ, который берется доставить меня до Польской границы за три червонца, вмѣстѣ съ дру-

гимъ пассажиромъ, который платитъ столько же. И такъ я ѣду сего дня. Прощайте до Петербурга.»

Иванъ Васильевичъ Кирѣевскій воротился въ Москву 16 Ноября, черезъ недѣлю пріѣхалъ и Петръ Васильевичъ, промедлившій по неволѣ нѣсколько дней въ Кіевѣ (*). На этотъ разъ холера, слава Богу не коснулась ихъ семьи и оба брата нашли здоровыми всѣхъ своихъ близкихъ и друзей.

Въ продолженіе 1831 года, И. В. Кирѣевскій написалъ нѣсколько водевилей и комедій, которые были разыграны на домашнемъ театрѣ. Вмѣстѣ съ Языковымъ написалъ онъ «Вавилонскую Принцессу», драматическую фарсу въ прозѣ, перемѣшанную стихами, и осенью приступилъ къ исполненію давно задуманнаго плана: изданію журнала. Названіе «Европеецъ» достаточно указываетъ на тогдашній образъ мыслей Кирѣевскаго. Ревностными сотрудниками Европейца въ Москвѣ были Языковъ, Баратынскій и Хомяковъ; въ Петербургѣ Жуковскій, Кн. Вяземскій, А. И. Тургеневъ и Кн. Одоевскій. Въ концѣ этого года Жуковскій пріѣхалъ въ Москву и отдалъ для перваго нумера свою сказку «О спящей царевнѣ», и тотчасъ послѣ выхода первой книжки, при-

(*) П. В. проѣхалъ черезъ Варшаву наканунѣ возмущенія. Курьеръ привезшій извѣстіе о вспыхнувшемъ возмущеніи, пріѣхалъ въ Кіевъ нѣсколькими часами прежде Кирѣевскаго. Въ Кіевѣ, въ полиціи отказались дать свидѣтельство для полученія подорожной; полиціи показалось страннымъ, что человѣкъ спѣшитъ въ чумный городъ, изъ котораго всѣ старались выѣхать; Польское окончаніе фамилій на *скій*; паспортъ, въ которомъ было прописано, что при г-нѣ Кирѣевскомъ человѣкъ, между тѣмъ какъ онъ возвращался одинъ, ибо человѣкъ былъ отпущенъ нѣсколько мѣсяцевъ прежде; всѣ эти обстоятельства показались подозрительными, и полиція не дозволила выѣхать изъ города, безъ высшаго разрѣшенія. Мюнхенскаго студента потребовали явиться къ Генералъ-Губернатору: тогда Ген. Губ. былъ Княжнинъ. Онъ принялъ Кирѣевскаго строго и сухо, предложивъ ему нѣсколько вопросовъ, и, выслушавъ отвѣты, въ раздумьѣ началъ ходить по комнатѣ. Молодой Кирѣевскій, не привыкшій къ такимъ *начальническимъ пріемамъ*, пошелъ вслѣдъ за нимъ. „Стойте, молодой человѣкъ! воскликнулъ Генералъ-Губернаторъ, закипѣвшій отъ негодованія. „Знаете ли вы, что я сейчасъ же могу засадить васъ въ казематъ, и вы сгніете тамъ у меня, и никто никогда объ этомъ не узнаетъ?“ „Если у васъ есть возможность это сдѣлать, спокойно отвѣчалъ Кирѣевскій, то вы не имѣете права это сдѣлать!“ „Ступайте,“ сказалъ Г. Губернаторъ, нѣсколько устыдившись своей неумѣстной вспыльчивости, и въ тотъ же вечеръ приказалъ выдать подорожную.

слалъ «Войну мышей и лягушекъ,» «Судъ Божій,» «Царя Берендея» и нѣсколько мелкихъ піэсъ, почти что цѣлый томъ стихотвореній. Пушкинъ, довольный разборомъ Бориса Годунова, написалъ Языкову, что пришлетъ для Европейца все, что будетъ имъ окончено, радовался новому журналу, и обѣщалъ свое полное и дѣятельное сотрудничество. Европейцу предстояла блестящая будущность; все что было знаменитаго тогда въ литературѣ, блестящіе таланты того времени, которыми, по справедливости, всегда будетъ гордиться Русская словесность, люди эти безкорыстно соединились для дружной дѣятельности. Но Европейца вышло только двѣ книжки; все что было въ этихъ книжкахъ самого Кирѣевскаго, нынѣ перепечатано вполнѣ. Читатель можетъ ясно видѣть, что въ статьяхъ сихъ нѣтъ ничего возмутительнаго, ничего такого, что могъ бы вычеркнуть самый подозрительный цензоръ нашего времени. Но у Кирѣевскаго было много враговъ литературныхъ, которымъ не нравился успѣхъ новаго журнала, и которые не могли забыть его прежнихъ критическихъ разборовъ. Статья его «XIX вѣкъ» была перетолкована, и 22 Февр. 1832 года журналъ былъ запрещенъ. Въ запретительной бумагѣ было сказано: что хотя сочинитель и говоритъ, что онъ говоритъ не о политикѣ, а о литературѣ, но разумѣетъ совсѣмъ иное: подъ словомъ просвѣщеніе онъ разумѣетъ свободу, дѣятельность разума означаетъ у него революцію, а *искусно отысканная середина* ничто иное, какъ конституція; статья сія не долженствовала быть дозволена въ журналѣ литературномъ, въ каковомъ запрещается помѣщать что либо о политикѣ, и вся статья, не взирая на ея нелѣпость, писана въ духѣ самомъ неблагонамѣренномъ.» Далѣе разборъ представленія «Горе отъ ума» признанъ за самую непристойную выходку противъ находящихся въ Россіи иностранцевъ. Посему Цензоръ былъ подвергнутъ законному взысканію, продолженіе журнала воспрещено, и Кирѣевскій официально признанъ человѣкомъ *неблагомыслящимъ* и *неблагонадежнымъ*. Цензоръ Серг. Тим. Аксаковъ, пропустившій въ то же время шуточную поэму «12-ть спящихъ буточниковъ», вскорѣ былъ отстав-

ленъ. Кирѣевскому, кромѣ запрещенія журнала, угрожало удаленіе изъ столицы, и онъ спасенъ былъ только горячимъ и энергическимъ заступничествомъ В. А. Жуковскаго.

Счастливы мы, что живемъ въ такія времена, когда не только возможно перепечатать статьи, вполнѣ безвредныя, не только возможно разсказать о тогдашней цензурной придирчивости, но когда подобныя цензурныя дѣла перешли уже въ область преданія, которому вѣрится съ трудомъ, стали дѣлами давно минувшихъ дней, глубокою стариною, которой, слава Богу, конечно не суждено уже возродиться (*).

Глубоко поразила Кирѣевскаго эта неудача на поприщѣ журнальной дѣятельности, онъ смотрѣлъ на нее какъ на лучшее средство быть полезнымъ отечеству, готовился къ ней, какъ къ святому подвигу жизни, и дѣятельность эта, поддержанная дружескимъ сотрудничествомъ людей, мнѣніемъ и одобреніемъ которыхъ онъ дорожилъ еще болѣе, чѣмъ блескомъ успѣха, дѣятельность эта была внезапно порвана при самомъ началѣ. Кирѣевскій пересталъ вовсе писать. Въ продолженіе 11-ти лѣтъ, имъ не было написано ни одной статьи, подъ которой онъ подписалъ свое имя. Маленькій разборъ стихотвореній Языкова, помѣщенный въ Телескопѣ,

(*) Книжки Европейца сдѣлались библіографической рѣдкостью, поэтому перепечатываемъ вполнѣ оглавленіе первыхъ двухъ нумеровъ: № I. Девятнадцатый вѣкъ, *И. В. Кирѣевскаго*. Сказка о спящей Царевнѣ, *В. А. Жуковскаго*.—Императоръ Іуліанъ, переводъ изъ Вильменя, *Д. С.* — О слогѣ Вильменя, *И. В. Кирѣевскаго*.— Элегія. Е. А. *Баратынскаго*. Е. А. Свербѣевой,—Ау, стихотворенія. *Н. М. Языкова*.—Чернецъ, повѣсть съ Нѣмецкаго.— Письма Гейне о картинной выставкѣ.—Критика: Обозрѣніе Русской Литературы *И. В. Кирѣевскаго*. — Письма изъ Парижа Лудвига Берне. Смѣсь. Литературныя Новости, А. — Сѣверо-американскій Сенатъ. С. — Мысли изъ Жанъ Поля. Д.—Горе отъ Ума на Московской сценѣ *И. В. Кирѣевскаго*. —Е. Письмо изъ Лондона.

№ 2.) Война мышей и лягушекъ. *В. А. Жуковскаго*. — Перстень, повѣсть въ прозѣ *Ев. А. Баратынскаго*. — Воспоминаніе. Стихотвореніе *Н. М. Языкова*. — Карлъ Марія Веберъ, съ Нѣмецкаго. — Конь *Н. М. Языкова*. — Элегія *его же*. — Языкову *Е. А. Баратынскаго*. — Письма Гейне. Окончаніе. — Современное состояніе Испаніи, статья, составленная *П. В. Кирѣевскимъ*. — Иностранкѣ, *А. С. Хомякова*. —Ей же, А. С. Хомякова. Обозрѣніе Русской Литературы. *И. В Кирѣевскаго*. О Бальзакѣ. — Смѣсь. Письмо изъ Парижа. *А. И. Тургенева*. Письмо изъ Берлина. — Русскіе Альманахи: *И. В. Кирѣевскаго*. — Антикритика *Е. А. Баратынскаго*. О небесныхъ явленіяхъ

былъ напечатанъ безъ имени. Близкіе друзья его, и даже самъ Языковъ не знали, что статья принадлежитъ ему. Небольшая статейка объ Русскихъ писательницахъ была написана по просьбѣ Анны Петровны Зонтагъ, для Одесскаго Альманаха, изданнаго съ благотворительною цѣлью. Повѣсть Опалъ и другой отрывокъ изъ повѣсти были написаны для Европейца, хотя и были напечатаны въ послѣдствіи. Въ продолженіе двѣнадцати лѣтъ Кирѣевскій почти ничего не писалъ, и когда онъ снова началъ печатно высказывать свои мысли (1845), онѣ, по направленію, были во многомъ несогласны съ тѣми мнѣніями, выраженіемъ которыхъ служилъ Европеецъ.

Повторимъ здѣсь слова Хомякова: «слишкомъ рано писать біографію Кирѣевскаго; о движеніи и развитіи его умственной жизни говорить еще нельзя, они такъ много были въ соприкосновеніи съ современнымъ и еще недавно минувшимъ, что не возможно говорить о нихъ вполнѣ искренно и свободно.» Въ этомъ очеркѣ мы и не думаемъ писать полной его біографіи; передавая въ хронологическомъ порядкѣ письма его къ семьѣ и друзьямъ, мы старались сдѣлать нѣсколько объяснительныхъ примѣчаній, разсказать о тѣхъ внѣшнихъ событіяхъ его жизни, во время которыхъ были писаны его сочиненія и письма, нынѣ печатаемыя. Мы вовсе не думали анализировать движеніе его умственной жизни; замѣтимъ одно: могъ измѣниться его взглядъ на многія историческія явленія, на значеніе Петровскаго преобразованія, даже на все наше просвѣщеніе въ отношеніи къ просвѣщенію Западному, но въ самомъ Кирѣевскомъ не было рѣзкихъ противорѣчій. Читатель можетъ видѣть, что еще до изданія Европейца, изъ его письма объ Шлейермахерѣ, что и тогда Кирѣевскаго не удовлетворила разсудочная раздвоенность Нѣмецкаго философа-богослова; что онъ и тогда требовалъ цѣльности воззрѣнія, хотя и не высказывалъ прямо этого слова. Въ немъ самомъ не было этой раздвоенности; его сердечная увѣренность никогда не была въ разладѣ съ его логическими выводами. «Кто не понялъ мысли чувствомъ, тотъ еще не понялъ ее вполнѣ, точно также какъ и тотъ,

кто понялъ ее однимъ чувствомъ,» писалъ Кирѣевскій въ 1827 году. Логическій выводъ былъ у Кирѣевскаго всегда завершеніемъ и оправданіемъ его внутренняго вѣрованія, и никогда не ложился въ основаніе его убѣжденія.

Подлѣ Кирѣевскаго, неразлучно съ самыхъ первыхъ лѣтъ дѣтства, былъ его братъ Петръ Васильевичъ. Они были связаны такою нѣжною, горячею дружбою, которая бываетъ рѣдка даже между братьями. Мы видѣли выше, изъ писемъ Ивана Васильевича, какъ высоко онъ цѣнилъ своего меньшаго брата, но въ эпоху запрещенія Европейца, взгляды ихъ во многомъ были несходны. Щедро одаренный отъ природы (*), Петръ Васильевичъ, съ молоду, съ особенной любовью сосредоточилъ всѣ свои силы надъ изученьемъ Русской старины и выработалъ свой самостоятельный взглядъ— глубокое убѣжденіе въ безусловномъ вредѣ насилія Петровскаго переворота, въ этомъ отступничествѣ дворянства отъ коренныхъ началъ Русской народной жизни. Онъ долго оставался одинокъ съ своими убѣжденіями, они казались чудачествомъ, непослѣдовательностью въ человѣкѣ, котбрый искренно былъ преданъ свободѣ и просвѣщенію, и Ивану Кирѣевскому трудно было согласить свои Европейскія мнѣнія съ упорнымъ Славянствомъ брата. Ихъ разномысліе въ такомъ жизненномъ вопросѣ выражалось почти что въ ежедневныхъ, горячихъ спорахъ, состояніе это не могло не быть

(*) Петръ Вас. говорилъ и писалъ на семи языкахъ; свѣтлый умъ его былъ обогащенъ многообразными свѣденіями, но способности его были гораздо меньше блестящи, нежели, у старшаго брата, ибо онъ не былъ такъ краснорѣчивъ и писалъ съ большимъ трудомъ. Единственная статья его была написана для Москвитянина 1845-го года; изъ переводовъ его молодости остались въ рукописи нѣсколько оконченныхъ трагедій Кальдерона (съ Испанскаго) и Шекспира. Его переводъ исторіи Магомета, Вашингтонъ Ирвинга, былъ напечатанъ послѣ его смерти. Свой подвигъ собиранья русскихъ пѣсенъ онъ началъ лѣтомъ 1831-го года. Въ молодости Петръ В. былъ крайне застѣнчивъ, потому изъ друзей брата съ нимъ сдружались только тѣ, кого судьба приводила пожить нѣсколько лѣтъ подъ одной кровлей. Одинаковость основныхъ убѣжденій заставила Хомякова искать сближенія съ нимъ. Онъ говорилъ, что не видывалъ человѣка съ большими миссіонерскими способностями. Вспомнимъ здѣсь другое справедливое замѣчаніе Хомякова; невозможна отдѣльная біографія Ивана В., также какъ не возможна отдѣльная біографія Петра В., возможна только біографія братьевъ Кирѣевскихъ.

крайне тяжелымъ для того и другаго; чтобы уцѣлѣла вполнѣ ихъ единодушная дружба, необходимо было, чтобы одинъ изъ нихъ пересоздалъ свой образъ мыслей о Русскомъ народѣ. Кажется, можно съ увѣренностью сказать, что при непрерывномъ, страстномъ обмѣнѣ мыслей и свѣденій, взглядъ старшаго брата постепенно измѣнялся, по мѣрѣ того, какъ несокрушимо-цѣльное убѣжденіе младшаго укрѣплялось и опредѣлялось изученіемъ современной народности и древней, вѣчевой Руси.

Иванъ Кирѣевскій былъ друженъ съ Дмитріемъ Влад. Веневитиновымъ, и еще съ 1824-года былъ знакомъ съ другомъ Веневитинова, Алек. Степ. Хомяковымъ; послѣ запрещенія Европейца, короткое знакомство ихъ перешло въ дружбу. Ал. Ст. Хомяковъ былъ ревностный исполнитель обрядовъ православной церкви, еще въ то время, когда въ высшемъ обществѣ, воспитанномъ на Французскій ладъ, невѣріе считалось признакомъ либеральности, а православіе едва ли не служило синонимомъ невѣжества. Для многихъ, не коротко знавшихъ Хомякова, его строгое постничество казалось однимъ желаніемъ идти на перекоръ принятыхъ обычаевъ свѣта, для того, чтобы вызвать на споръ и въ спорѣ потѣшить свои блестящія діалектическія способности. Кирѣевскій былъ друженъ съ нимъ и зналъ, что въ Хомяковѣ все было искренно, все основывалось на твердой и сознательной вѣрѣ, и что эта животворящая струя проникла въ немъ всѣ изгибы его бытія. Духовную высоту, нравственную чистоту его характера, Кирѣевскій цѣнилъ выше и его прекраснаго поэтическаго таланта и геніальныхъ способностей его ума. Хомяковъ съ ранней молодости былъ славянофиломъ; въ этомъ отношеніи онъ дружно сошелся съ Петромъ Кирѣевскимъ и одинъ изъ первыхъ и вполнѣ оцѣнилъ, узналъ его.

Въ 1834 году исполнились давнишнія сердечныя желанія Кирѣевскаго. Въ Мартѣ мѣсяцѣ онъ помолвилъ и 29 Апрѣля женился на Натальѣ Петровнѣ Арбеневой. Вскорѣ послѣя свадьбы онъ познакомился съ схимникомъ Новоспасскаго монастыря, отцомъ Филаретомъ, и когда впослѣдствіи короче

узналъ его, сталъ глубоко уважать и цѣнить его бесѣды. Во время предсмертной болѣзни старца, И. В. ходилъ за нимъ со всею заботливостію преданнаго сына, цѣлыя ночи просиживалъ въ его кельѣ надъ постелью умирающаго. Конечно, это короткое знакомство и бесѣды схимника не остались безъ вліянія на его образъ мыслей и содѣйствовали утвержденію его въ томъ новомъ направленіи, которымъ были проникнуты его позднѣйшія статьи.

Съ 1834 года, Кирѣевскій проводилъ почти всегда зимы въ Москвѣ, уѣзжая на лѣто въ свое Долбино. Зимою 1839 года у него бывали еженедѣльные вечера, для небольшаго круга его друзей. По условію, каждый изъ посѣтителей долженъ былъ поочереди прочесть что нибудь вновь написанное. Тутъ нѣсколько разъ читалъ Гоголь свои комедіи и первыя главы тогда еще неизданныхъ Мертвыхъ Душъ; для этихъ вечеровъ была написана покойнымъ профессоромъ Крюковымъ прекрасная статья о древней Греческой Исторіи, и А. С. Хомяковъ написалъ статью *О старомъ и новомъ* Статья эта въ нѣкоторыхъ частностяхъ какъ будто противорѣчитъ выраженному впослѣдствіи взгляду Алексѣя Степановича на Русскую исторію; но она никогда не предназначалась для печати. Очень можетъ быть, что Хомяковъ написалъ ее съ намѣреніемъ вызвать возраженіе со стороны Кирѣевскаго Отвѣтная статья Кирѣевскаго принадлежитъ уже къ его позднѣйшему направленію, тому направленію, которое впослѣдствіи онъ самъ называлъ *Православно-Славянское*, «которое преслѣдуется странными нападеніями, клеветами, насмѣшками, но во всякомъ случаѣ достойно вниманія, какъ такое событіе, которому, по всей вѣроятности, предназначено занять не послѣднее мѣсто въ судьбѣ нашего просвѣщенія.» Во главѣ этого новаго умственнаго движенія были братья Кирѣевскіе и Хомяковъ, и вокругъ нихъ собралось нѣсколько молодыхъ и сочувствующихъ людей, между коими нельзя не вспомнить Димит. Александ. Валуева, племянника Языкова, выросшаго вблизи Кирѣевскихъ и развитіемъ своимъ во многомъ обязаннаго ихъ вліянію. Валуевъ скончался въ первой молодости, но безъ отдыха до самой смерти, во вредъ сво-

ему здоровью, сгорая жаждою дѣятельности, неутомимо трудился надъ задуманными имъ изданіями. Первые томы Славянскаго и Симбирскаго сборниковъ долженствовали быть началомъ обширнаго предпріятія. Кто зналъ твердую волю и неутомимое трудолюбіе покойнаго Валуева, тотъ смѣло могъ бы поручиться, что наша ученая литература обогатилась бы многими и многими книгами, еслибы смерть прежде времени не подкосила эту молодую, дѣятельную жизнь. Два сборника, изданные Валуевымъ, первые по времени книги, которыя вполнѣ принадлежатъ Московскому Славянскому направленію. Москвитянинъ, начавшійся въ сороковыхъ годахъ, не смотря на сочувствіе къ Славянамъ, на уваженіе къ древней Русской исторіи, никогда не былъ вполнѣ выраженіемъ того образа мыслей, во главѣ котораго стояли Хомяковъ и Кирѣевскіе. До 1845 года Кирѣевскіе вовсе не участвовали въ Москвитянинѣ; участіе Хомякова было отрывочно; это было переходное время, когда еще два мнѣнія не раздѣлились на два отдѣльные лагеря, когда въ Библіотекѣ для Воспитанія (изданіе, выходившее подъ редакціей Валуева) участвовали и Грановскій, и Хомяковъ, и Кирѣевскій (Кирѣевскимъ написана была для Библіотеки краткая біографія Баратынскаго). Къ сожалѣнію, сохранилось весьма мало писемъ Кирѣевскаго, этой переходной эпохи, отчасти отъ того, что онъ въ это время рѣдко уѣзжалъ на долго изъ Москвы, и поэтому не писалъ писемъ къ друзьямъ, съ которыми часто видался. Помѣщаемъ здѣсь письма къ Н. М. Языкову и къ А. С. Хомякову.

Къ Н. М. ЯЗЫКОВУ.

4 Іюня 1836.

«Теперь главное мое занятіе — хозяйство, т. е. когда вообще я имѣю время заниматься чѣмъ нибудь. Обыкновенно же у меня ничего недѣлать перемѣшано съ минутными, разрывчатыми заботами, и такъ уходитъ день за другимъ. Но тебѣ, какъ человѣку неженатому, беззаботному, непростительно ничего не дѣлать, а еще непростительнѣе быть больнымъ. Это говорю я не въ шутку, а потому, что глубо-

ко убѣжденъ въ томъ, что въ болѣзни твоей виноватъ самъ ты, или, лучше сказать, твое пристрастіе къ гомеопатіи. Подумай самъ: если она истинна, то отчего же въ 2 года не могъ ею вылечиться? И охота тебѣ пробовать на своемъ тѣлѣ какую бы то ни было систему, тогда какъ нѣтъ сомнѣнія, что мѣсяцъ леченья у хорошаго медика могъ бы тебя привести въ прежнее здоровое положеніе. Ты скажешь, что ты испробывалъ такое леченье, и ошибешься. Ты лечился у Р....., который могъ быть, но еще не былъ хорошимъ, свѣдущимъ, мыслящимъ и опытномъ врачомъ. Но гомеопатія твоя, я боюсь, можетъ совсѣмъ тебя разстроить. Впрочемъ, если ты такой ревностный ея почитатель, то позволь мнѣ сказать тебѣ вкратцѣ то, что я думаю объ ней, для того, что твои возраженія можетъ быть и меня наведутъ на путь истины.

«Была ли хоть одна система отъ сотворенія міра, въ которой бы не обозначался характеръ ея изобрѣтателя? мнѣ кажется, и быть не можетъ. Въ чемъ же состоитъ характеръ самого Ганнемана? Умъ геніальный, соединенный съ характеромъ шарлатана. Слѣдовательно, уже напередъ можно сказать, что во всѣхъ его изобрѣтеніяхъ должна быть истина въ частяхъ и ложь въ цѣломъ. Онъ началъ свое поприще извѣстности съ того, какъ ты знаешь, что объявилъ открытіе новаго пневматическаго эликсира, который лечитъ отъ всѣхъ болѣзней. Покупателей было много до тѣхъ поръ, пока оказалось, что въ немъ нѣтъ ничего кромѣ особенно приготовленнаго бозакса. Послѣ первой неудачи Ганнеманъ объявилъ изобрѣтеніе порошка, единственнаго и несомнѣннаго и во всякомъ случаѣ полезнаго противъ скарлатины. Средство это оказалось въ самомъ дѣлѣ новымъ и полезнымъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, но отнюдь не всегда. Оно принесло пользу наукѣ, когда вошло въ нее какъ часть, но много вреда, покуда его употребляли безъ разбора. Вслѣдъ за порошкомъ явилась гомеопатія. Она основывается на трехъ положеніяхъ: 1-е на употребленіи средствъ, однородныхъ съ болѣзнію, 2-е на безконечно малыхъ пріемахъ, 3-е на леченіи признаковъ безъ розысканія причинъ. Все это вмѣстѣ

дѣлаетъ ее наукою, доступною людямъ несвѣдущимъ въ медицинѣ, и такимъ образомъ замѣняетъ пневматическій эликсиръ. Но разберемъ ея три основанія. Дѣйствительно, въ большей части болѣзней признаки болѣзни принадлежатъ не ей, а стремленію самаго организма къ здоровью. Потому усилить признаки значитъ пособить выздоровленію.—Это открытіе есть дѣло важное для науки, дѣло генія; но распространять это положеніе на *всѣ* болѣзни было дѣло шарлатана, и есть вещь вредная, для больныхъ еще больше, чѣмъ для медицины. — 2-я мысль, что очищеніе вещества отъ постороннихъ примѣсей увеличиваетъ его силу, давно извѣстна. Мысль другая, что вещество можетъ очищаться посредствомъ безконечнаго раздробленія, есть опять мысль геніальная и въ нѣкоторыхъ случаяхъ справедливая. Но сказать, что раздробленіе есть средство къ очищенію *всѣхъ* веществъ,—есть дѣло шарлатана. Потому чѣмъ болѣе пользы онъ принесетъ наукѣ въ будущемъ, тѣмъ болѣе вреда сдѣлаетъ своимъ больнымъ въ настоящемъ. — 3-е. Леченіе признаковъ безъ розысканія причинъ ихъ уже чистое шарлатанство, безъ всякой примѣси геніальности. Это очевидно изъ самой таблицы признаковъ, гдѣ прибавленіе новаго измѣняетъ иногда лекарство въ противоположное. Не значитъ ли это то, что онъ думаетъ одно, а увѣряетъ въ другомъ? Извѣстное количество признаковъ служитъ вѣроятнымъ выраженіемъ извѣстной причины, противъ которой онъ совѣтуетъ средство на авось, между тѣмъ какъ совѣстливые медики дѣлаютъ тоже, только признаются, и къ тому же потому должны ошибаться менѣе, что принаравливаются къ каждому больному въ особенности, и кромѣ того имѣютъ помощь въ опытности и своихъ медицинскихъ свѣденіяхъ,—чего не имѣетъ человѣкъ, который, какъ ты, лечится по книгѣ.

«Что же изъ этого слѣдуетъ? что гомеопатія должна быть полезна медицинѣ, но не въ отдѣльности, а въ раціональной совокупности со всѣми естественными и медицинскими науками. Но что для настоящаго времени гораздо важнѣе система испробованная, нежели новая, особливо въ рукахъ неопытныхъ. Потому, если твой гомеопатъ не вылечитъ тебя

скоро, то пріѣзжай въ Москву, и я готовъ поручиться, что черезъ мѣсяцъ ты будешь здоровъ *совершенно*, если станешь лечиться у *Рихтера*, котораго по счастію или по несчастію мнѣ удалось узнать въ этотъ годъ и въ которомъ я нашелъ одного изъ необыкновенныхъ врачей въ Россіи, человѣка столько же умнаго, сколько ученаго, опытнаго, прозорливаго и добросовѣстнаго. Я совѣтую тебѣ пріѣхать въ Москву безкорыстно, потому что меня уже въ ней не будетъ. Прощай покуда. Твой *И. К.*»

Къ А. С. ХОМЯКОВУ.

1840 г. 15-го Іюля.

«Эти послѣдніе дни я былъ не совсѣмъ здоровъ. Однако воспользовался этимъ случаемъ, чтобы вставать поздно и ночью писать. Днемъ я рѣшительно не могу ни писать, ни жить, развѣ только читать, что, по славамъ Фихте, то же, что курить табакъ, т. е. безъ всякой пользы приводить себя въ состояніе сна на яву. Впрочемъ въ деревнѣ мнѣ трудно и читать, потому что трудно не перерываться. За то ночь моя собственная. Теперь не зайдетъ ко мнѣ ни управитель, ни сосѣдъ. Окно открыто, воздухъ теплый, самоваръ мой кипитъ, трубка закурена, давай бесѣдовать!

«Меня въ это время, внѣ ходячей дѣйствительности, занимали нѣкоторые вопросы о *волѣ*, которые я хотѣлъ положить на бумагу, да что-то неудачно ложатся. Видно еще имъ рано ложиться, а надобно прежде уходиться въ головѣ. Въ отношеніяхъ воли къ разуму, есть нѣкоторыя тайны, которыя до сихъ поръ не были, и можетъ быть не могли быть постигнуты. Но мнѣ кажется, что при теперешнемъ развитіи законовъ разума, онѣ могутъ быть хотя нѣсколько поясненны, небезполезно для науки, и можетъ быть даже для практическаго приложенія. Сравнивъ наше время съ древними, кажется, мы потеряли секретъ укрѣплять волю. Исключеніе, какъ Наполеонъ, не доказательство. Вообще, кажется, развитіе разума въ обратномъ содержаніи къ разви-

тію воли, и въ человѣкѣ и въ народѣ. Я говорю о разумѣ логическомъ.

«Мысль моя та, что логическое сознаніе, переводя дѣло въ слово, жизнь въ формулу, схватываетъ предметъ не вполнѣ, уничтожаетъ его дѣйствіе на душу. Живя въ этомъ разумѣ, мы живемъ на планѣ, вмѣсто того, чтобы жить въ домѣ, и начертавъ планъ, думаемъ, что состроили зданіе. Когда же дойдетъ дѣло до настоящей постройки, намъ уже тяжело нести камень, вмѣсто карандаша. Отъ того, говоря вообще, въ наше время воля осталась почти только у необразованныхъ, или у духовно образованныхъ. — Но такъ какъ въ наше время, волею или неволею, человѣкъ мыслящій долженъ провести свои познанія сквозь логическое иго, то по крайней мѣрѣ онъ долженъ знать, что здѣсь не верхъ знанія, и есть еще ступень, знаніе гиперъ логическое, гдѣ свѣтъ не свѣчка, а жизнь. Здѣсь воля растетъ вмѣстѣ съ мыслію.—Ты поймешь меня безъ распространеній. Этимъ, между прочимъ, объясняется фактъ, который каждый изъ насъ испыталъ тысячу разъ, что мысль до тѣхъ поръ занимаетъ насъ горячо и плодоносно, покуда мы не выскажемъ ее другому. Тогда вниманіе наше отъ предмета живаго обратится къ его изображенію, и мы удивляемся, отчего вдругъ онъ перестаетъ на насъ дѣйствовать, забывая, что цвѣтокъ на бумагѣ не растетъ и не пахнетъ. Покуда мысль ясна для разума, или доступна слову, она еще безсильна на душу и волю. Когда же она разовьется до невыразимости, тогда только пришла въ зрѣлость. Это невыразимое, проглядывая сквозь выраженіе, дастъ силу поэзіи и музыкѣ и пр. Отъ того есть только *одна* минута, когда произведеніе искусства дѣйствуетъ вполнѣ. Во второй разъ послѣ этой минуты оно дѣйствуетъ слабѣе, покуда наконецъ совсѣмъ перестанетъ дѣйствовать, такъ что пѣсня въ десятый разъ сряду уже несносна, картина надъ письменнымъ столомъ почти какъ песочница, отъ того что сила не въ выраженіи. Чрезъ нѣсколько времени, та же картина и пѣсня могутъ дѣйствовать на насъ по прежнему, или еще сильнѣе, только надобно *не ограничиваться ихъ впечатлѣніемъ*, а внимать ихъ отношенію къ своей не-

разгаданной душѣ. И чѣмъ болѣе человѣкъ найдетъ въ душѣ неразгаданнаго, тѣмъ онъ глубже постигъ себя. Чувство *вполнѣ* высказанное перестаетъ быть чувствомъ. И въ этомъ смыслѣ также справедливо слово: гдѣ *сокровище ваше, тамъ будетъ и сердце ваше!* Практическую истину можно извлечь изъ этого ту, что *воля родится втайнѣ и воспитывается молчаніемъ.*—Ты можешь быть мнѣ живымъ подтвержденіемъ. Никогда не слыхалъ я, чтобы ты говорилъ о своихъ нравственныхъ побужденіяхъ, отъ того, въ этомъ отношеніи, и воля твоя желѣзная. А въ другихъ отношеніяхъ, много ли сдѣлалъ, въ сравненіи съ тѣмъ, что могъ? Лѣнь не причина. Она отъ того, что въ душѣ не кипитъ; а душу простуживаетъ языкъ. Утѣшительно для тебя можетъ быть развѣ многочисленность компаніи, въ которой ты находишься. Ночь прошла, солнце хочетъ выходить, и мухи проснулись. Прощай.»

Съ 1839-то года Кирѣевскій былъ почетнымъ смотрителемъ Бѣлевскаго уѣзднаго училища. Онъ принялъ это мѣсто не для того, чтобы считаться на службѣ и, ежегодно жертвуя небольшую сумму денегъ, получать чины, но добросовѣстно исполнялъ свою должность, слѣдилъ за направленіемъ и ходомъ преподаванія и принималъ живое участіе въ успѣхѣ учениковъ. Въ 1840-мъ имъ была написана особая записка «о направленіи и методахъ первоначальнаго образованія народа,» поданная тогдашнему попечителю учебнаго округа Графу Сергѣю Григорьевичу Строганову. Въ 1854-мъ, представилъ онъ другую записку: о преподаваніи Славянскаго языка совмѣстно съ Русскимъ,—въ слѣдствіе которой преподаваніе Славянскаго языка было введено въ Бѣлевское училище. Ревностно желая быть полезнымъ дѣлу просвѣщенія въ Россіи, Кирѣевскій, сознавая свои силы, не могъ удовлетвориться дѣятельностью смотрителя уѣзднаго училища. Въ сороковыхъ годахъ, въ Московскомъ университетѣ, каѳедра философіи, ограниченная тогда одною логикою, оставалась безъ преподавателя. Иванъ Васильевичъ искалъ этой каѳедры; по этому случаю была имъ написана: запи-

ека о преподаваніи логики, представленная имъ попечителю Московскаго университета Графу Строганову. — Университетская каѳедра была бы конечно для него самымъ лучшимъ поприщемъ; здѣсь вполнѣ могли бы раскрыться способности его, которыми такъ богато одарила его природа. Все, что писалъ Кирѣевскій, носитъ въ себѣ несомнѣнный признакъ даровитости; но даровитость эта еще ярче отражалась въ его разговорахъ. Кирѣевскій былъ увлекательно краснорѣчивъ, и говорилъ гораздо лучше, нежели писалъ; и конечно силою своего таланта плодоносно и благотворно дѣйствовалъ бы на умы молодаго поколѣнія. Къ сожалѣнію, намѣреніе его не могло исполниться. Кажется, что память о Европейцѣ и оффиціальная неблагонадежность тяготѣли надъ нимъ и заграждали ему путь къ каѳедрѣ, хотя мысли, высказанныя въ Европейцѣ, сдѣлались почти что ходячими въ Русской литературѣ, и давно перестали считаться опасными.

Въ 1844-мъ году, друзья Кирѣевскаго, зная, что, по характеру его, срочная работа всего болѣе могла побуждать къ дѣятельности, желали снова подвигнуть его на поприще журналистики.—Но въ тѣ поры не было и надежды получить позволеніе издавать новый журналъ. Михаилъ Петровичъ Погодинъ, подвергнувшійся въ то время разнымъ несчастіямъ, предложилъ передать Кирѣевскому Москвитянинъ. Кирѣевскій въ это время былъ въ деревнѣ, переговоры шли безъ него. —Помѣщаемъ здѣсь письма Ивана Васильевича къ брату его Петру Васильевичу.

«Спасибо, братъ Петръ, что ты не полѣнился побывать у Погодина и написать ко мнѣ, но все я не понимаю хорошо, отчего вы не рѣшите дѣло безъ меня и чего именно вы отъ меня требуете?—Я назначалъ четверыхъ, потому что предполагалъ ихъ въ Москвѣ; но за отсутствіемъ ихъ ты могъ бы съ Погодинымъ рѣшить все вдвоемъ. По крайней мѣрѣ отбери у него *его* условія и напиши ихъ мнѣ или уговори его написать самого, или продиктовать, если онъ писать не можетъ.—Если, какъ вѣроятно, эти условія будутъ для меня возможны, то такъ дѣло и уладится. Если же я найду ихъ почему либо для меня неудобоисполнимыми, то напишу ему,

и тогда по крайней мѣрѣ будетъ дѣло ясно —Хомяковъ писалъ ко мнѣ, но не знаю съ согласія ли Погодина, что надобно будетъ отдѣлить извѣстное число подписчиковъ на расходы по журналу, а сколько именно, это лучше всего можетъ знать самъ Погодинъ по опыту; потомъ слѣдующіе за тѣмъ 100 подписчиковъ въ пользу Погодина,—на это условіе я согласенъ.

«Но такъ какъ я думаю, что первый годъ будетъ мнѣ средствомъ къ знакомству съ публикою, то надѣюсь имѣть въ слѣдующіе годы больше подписчиковъ; отъ того надобно чтобы Погодинъ лишилъ себя права отнять у меня журналъ иначе, какъ съ моего согласія.

«Но прежде всего, и самое существенное—это получить позволеніе; безъ того всѣ разсчеты пишутся на воздухѣ.

«Если министръ будетъ въ Москвѣ, то тебѣ непремѣнно надобно просить его о пѣсняхъ, хотя бы къ тому времени тебѣ и не возвратили экземпляровъ изъ цензуры. Можетъ быть даже и не возвратятъ, но просить о пропускѣ это не мѣшаетъ. Главное на чемъ основываться, это то, что пѣсни *народныя*, а что весь народъ поетъ, то не можетъ сдѣлаться тайною, и цензура въ этомъ случаѣ столько же сильна, сколько Перевощиковъ надъ погодою.—Уваровъ вѣрно это пойметъ, также и то, какую репутацію сдѣлаетъ себѣ въ Европѣ наша цензура, запретивъ *народныя пѣсни*, и еще *старинныя*. Это будетъ смѣхъ во всей Германіи.

«А тебѣ въ самомъ дѣлѣ безъ стиховнаго отдѣла мудрено издавать. Въ этомъ-то и главная особенность твоего собранія. Лучше бы всего тебѣ самому повидаться съ Уваровымъ, а если не рѣшишься, то поговори съ Погодинымъ.»

15-го Мая 1844.

«Я не могъ пріѣхать, другъ Петръ, между прочимъ и потому, что былъ боленъ, простудилъ горло, и нѣсколько времени не выходилъ изъ комнаты, а когда выздоровѣлъ, то не зналъ, застану ли уже кого въ Москвѣ, потому что о времени отъѣзда Х. мнѣ не писалъ, а увѣдомилъ только, что

скоро—нарѣчіе неопредѣленное, требовавшее частицы *не*. Вообще вы пишете очень необстоятельно, и читаете письма также. На пр., кто тебѣ сказалъ, что трудъ этотъ былъ бы для меня чрезмѣрно тяжелъ?—Напротивъ, я жажду такого труда, какъ рыба еще не зажаренная жаждетъ воды.—И съ вашею помощію, надѣюсь одолѣть его. Если же правда, что мое участіе могло бы расколыхать дѣятельность моихъ друзей, то это счастіе было бы для меня величайшею причиною желать согласиться на ваше предложеніе. Но хочу только не ввести никого въ отвѣтственность и не прятаться какъ злоумышленникъ. На рядъ именъ я могъ бы согласиться, въ такомъ случаѣ, если бы мое было позволено съ *сознаніемъ* что оно мое. Если Погодинъ возьмется исходатайствовать это, то на рядъ именъ я готовъ согласиться, разумѣется, съ тѣмъ, чтобы это нисколько не стѣсняло моихъ убѣжденій. Тогда пусть этотъ рядъ издаетъ Москвитянина нынѣшній годъ, а я пріѣду участвовать къ осени. Условія пусть дѣлаетъ Хомяковъ, такъ чтобы и Погодину было выгодно и журналъ могъ идти.

«На будущій годъ я бы думалъ: хорошо завести слѣдующую систему изданія: 1. Самую аккуратную бухгалтерію. 2. Начать журналъ, когда бы онъ имѣлъ 1000 подписчиковъ, и уменьшить объемъ, если будетъ меньше. 3. Все остающееся количество сбора за расходами употребить на плату за статьи, считая оригинальныя втрое противъ переводныхъ, также уменьшать и увеличивать плату по мѣрѣ подписчиковъ.

«Этотъ разсчетъ сдѣлать легко, и при аккуратной бухгалтеріи ни одинъ участникъ не будетъ считать себя обманутымъ и журналъ будетъ имѣть сотрудниковъ. При каждомъ № на оберткѣ печатать число подписчиковъ, и разсчетъ суммы, слѣдующей участникамъ.

«Сообщи это письмо Хомякову, и пришли мнѣ отвѣтъ скорый, т. е. немедленный. Если и ты и Хомяковъ залѣнитесь писать, то поручите кому нибудь. Но поймите меня хорошенько; я согласенъ на ваши предложенія *только въ случаѣ офиціальнаго позволенія*, и притомъ при такомъ *устройствѣ, чтобы при скоропостижной смерти Жуковскаго*

никто не пострадалъ отъ меня, и при живни и здоровьѣ Ж. чтобы я не былъ стѣсненъ чужою волею.

«Кажется, требованія мои справедливы и нельзя быть сговорчивѣе. Впрочемъ удастся ли это дѣло или нѣтъ, но скажу тебѣ, что я уже извлекъ изъ него такія выгоды, которыя превышаютъ всякую неудачу. Безъ преувеличенія могу сказать, что я имѣлъ минуты настоящаго счастія, соображая все дружеское участіе въ этомъ дѣлѣ именно тѣхъ, кто такъ высоко у меня въ сердцѣ.

«О пѣсняхъ твоихъ нельзя ли написать еще разъ къ К. А то ты, пожалуй, способенъ отложить еще на годъ. Хотя я и очень радъ бы былъ твоему пріѣзду, но еще лучше желалъ бы тебя видѣть съ книгою, чѣмъ съ рукописью. Кто притѣснилъ Языкова и принудилъ его бросать свой бурмицкій бисеръ въ такую выпачканную свинью? Обнимаю тебя. Твой братъ И. К.

«Нельзя ли въ отвѣтѣ твоемъ, или кому ты поручишь, сообщить мнѣ твое мнѣніе особенно, Хомякова особенно, и предложеніе Погодина особенно.

«Если бы вы согласились на переговоры съ С., то это дѣло можно бы было поручить Грановскому, который конечно бы не отказалъ, и исполнилъ бы въ мѣру, *ясно, благородно* и удовлетворительно. Подумай объ этомъ. Кажется при самомъ дурномъ результатѣ будетъ выгода, т. е. мы будемъ знать, чего надѣяться нельзя.»

Жажда дѣятельности была такъ сильна, что Кирѣевскій принялъ участіе въ изданіи Москвитянина, не получивъ оффиціальнаго разрѣшенія, о которомъ онъ такъ много заботился. Имъ изданы были три первыя книги Москвитянина на 1845-й годъ. Онѣ во многомъ напоминаютъ книжки Европейца. Снова Жуковскій поспѣшилъ прислать все, что имъ было написано въ стихахъ и нѣсколько отрывковъ въ прозѣ, съ посланіемъ, которое начиналось:

Слухъ до меня достигъ на берегъ Майна,
Что ты Кирѣевскій, мой другъ,
Задумалъ быть Москвитяниномъ.

Многія имена прежнихъ сотрудниковъ Европейца являются участниками обновленнаго Москвитянина: Александръ Ив. Тургеневъ, Хомяковъ, Языковъ, Князь Вяземскій. Но въ статьяхъ самого Кирѣевскаго и въ прозаическихъ статьяхъ Хомякова свѣтитъ уже другое направленіе, и достаточно поименовать другихъ сотрудниковъ Кирѣевскаго: его брата, Петра. Вас. Кирѣевскаго, Константина Сер. Аксакова, Дм. Ал. Валуева, Вас. Алекс. Панова, Мих. Алекс. Стаховича, Як. А. Линовскаго (страшно сосчитать, въ какое короткое время и сколькихъ уже нѣтъ!),—достаточно назвать сіи имена, и имена другихъ, слава Богу, еще живыхъ дѣятелей, чтобы увидѣть, что здѣсь начинается высказываться то убѣжденіе, органомъ котораго впослѣдствіи служили Московскій Сборникъ и Русская Бесѣда. Подъ редакціей Кирѣевскаго были изданы только три первыя книжки Москвитянина на 1845-й годъ, и переданы многіе матеріалы для 4-го №. Невозможность издавать журналъ не будучи его полнымъ хозяиномъ и отвѣтственнымъ издателемъ, и отчасти разстроенное здоровье, заставили Кирѣевскаго отказаться отъ редакторства. Лѣтомъ 1845 года Кирѣевскій переѣхалъ въ свое Долбино и оставался здѣсь до осени 1846 года. 1846-й годъ, по словамъ Кирѣевскаго, былъ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ въ его жизни. Въ этотъ годъ онъ похоронилъ свою маленькую дочь и лишился многихъ близкихъ друзей. Почти что въ одинъ годъ скончались Дм. Ал. Валуевъ, Алек. Ив. Тургеневъ, Алек. Анд. Елагинъ, Ник. Мих. Языковъ. Помѣщаемъ здѣсь письма Кирѣевскаго къ матери о кончинѣ Языкова; оба письма писаны уже послѣ кончины Николая Михайловича, но Кирѣевскій, зная, какъ глубоко огорчитъ это извѣстіе, желалъ приготовить къ нему, и потому написалъ прежде объ опасной болѣзни.

1846 г. Декабрь.

«Милая маменька!

«До насъ дошли слухи о вашемъ нездоровьѣ; очень страшно и грустно за васъ. Ради Бога, будьте здоровы! — Я хотѣлъ было ѣхать къ вамъ, но остановился дожидаться

письма отъ васъ, потому что у меня тоже не совсѣмъ здоровы жена и маленькая Маша....

«Въ Москвѣ новаго мало. Бѣдный Языкушко очень боленъ. Кажется, послѣ такихъ безпрестанныхъ 15-ти-лѣтнихъ страданій, разстроившихъ его весь организмъ, мудрено повѣрить Иноземцову, который видитъ надежду выздоровленія. Иногда думаю, что не эгоизмъ-ли это съ нашей стороны—желать ему продолженія страданій, ему, котораго чистая, добрая, готовая къ небу душа, утомленная здѣсь, вѣрующая, жаждущая другой жизни, не можетъ не найдти тамъ тѣхъ радостей, которыхъ ожидаетъ. Здѣсь ему буря непогоды, за которой онъ давно предчувствовалъ, что есть блаженная страна. Впрочемъ все во власти Того, Кто лучше насъ знаетъ что лучше. Потому я не прошу у Него ни того, ни другаго, а только чтобы умѣть просить Его Святой воли.

«Въ Москвѣ теперь дѣлаетъ большой шумъ диссертація Аксакова. Она наконецъ напечатана въ огромной книгѣ, слишкомъ 30 листовъ убористаго шрифта, и черезъ двѣ недѣли по выходѣ вдругъ запрещена, остановлена въ продажѣ и должна опять перепечатываться. Въ самомъ дѣлѣ, кажется, что это насмѣшка не простительная, если это только не просто глупость источника нашего ума—Московскаго Университета. Пропустить книгу цѣлымъ совѣтомъ Профессоровъ, печатать ее полтора года и потомъ велѣть перепечатывать!

«Простите, обнимаю васъ, до завтрашней почты.»

—

«Милая маменька, сейчасъ получилъ письмо отъ васъ и отъ Маши. Вы пишете, что всѣ нездоровы, и не описываете чѣмъ,—это не хорошо и даетъ безпокойство. У насъ горе: бѣдный Языкушко боленъ. Я хотѣлъ писать къ брату, но такъ какъ онъ теперь у васъ, то сообщите вы ему. За Хомяковымъ я послалъ эстафету. У него (Языкова) горячка, онъ простудился, выпивши стаканъ холодной воды. Бредитъ стихами, въ которыхъ словъ нельзя разобрать, и что-то поетъ. Въ ночь съ воскресенья на понедѣльникъ, онъ исповѣдался и пріобщился, былъ въ чистой памяти, распорядился всѣми

своими дѣлами. Онъ потребовалъ священника въ 4-мъ часу ночи, не смотря на то, что Иноземцевъ увѣрялъ его, что болѣзнь не опасна и что увѣренъ въ его выздоровленіи. Языковъ съ твердостію настоялъ на своемъ желаніи, говоря, что это лекарство лучше всѣхъ, и что оно одно ему осталось. Послѣ того ему было лучше. Иноземцевъ не предвидѣлъ близкой опасности. Въ середу ему было гораздо лучше, Иноземцевъ успокоилъ всѣхъ; въ четвергъ стало хуже. Иноземцевъ въ 2 часа пополудни нашелъ его въ бреду и велѣлъ поставить шпанскую муху, хотѣлъ заѣхать въ 9 часовъ, узнать, какъ подѣйствовала шпанская муха, но въ 5 часовъ Языковъ успокоился. До этой минуты жизнь его была страдальческая. Онъ перешелъ въ другую свѣтлую, достойную его свѣтлой, доброй души. Нѣтъ сомнѣнія, что если кому-либо изъ смертныхъ суждено тамъ славить величіе и красоту и благость Господа, то вѣрно изъ первыхъ ему. П. М. здѣсь. А. М. былъ здѣсь и уѣхалъ въ Симбирскъ, по необходимымъ дѣламъ, въ прошедшую пятницу. Лицо Языкушки свѣтло и спокойно, хотя носитъ печать прежнихъ долгихъ страданій, залогъ будущихъ теперь наступившихъ утѣшеній. Наканунѣ кончины онъ собралъ вокругъ себя всѣхъ живущихъ у него, и у каждаго по одиночки спрашивалъ, вѣрятъ ли они воскресенію душъ? Когда видѣлъ, что они молчатъ, то просилъ ихъ достать какую-то книгу, которая *совсѣмъ перемѣнитъ* ихъ образъ мыслей, — но они забыли названіе этой книги! Обстоятельство крайне замѣчательное, теперь они стараются всѣми силами, и не могутъ вспомнить. Очевидное и поразительное доказательство таинственнаго Божіяго смотрѣнія о спасеніи и руководствѣ душъ человѣческихъ. Прощайте, обнимаю васъ за жену и за дѣтей. Вашъ сынъ И. К.

«Пожалуйста, напишите о себѣ и заставьте Петруху брата написать также. *Скажите ему* не вдругъ объ Яз. Я боюсь, что это слишкомъ поразитъ его. Приготовьте также и Петерсона. Это будетъ въ завтрашнихъ газетахъ, потому боюсь теперь *не сообщить* вамъ.»

10-го Января 1847.

«Обнимаю тебя, другъ братъ Петруха, и вмѣстѣ съ тобою и со всѣми вами соединяюсь мысленно и сердечно, чтобы поздравить васъ съ завтрашнимъ днемъ. Я не писалъ къ тебѣ передъ новымъ годомъ, потому что не нашелъ въ себѣ духу говорить тебѣ о бѣдномъ нашемъ Языкушкѣ. Изъ письма моего къ маменькѣ, писаннаго 27-го Декабря, ты узнаешь подробности о его послѣднихъ минутахъ; онѣ были святы, прекрасны и тихи. Хомяковъ пріѣзжалъ на нѣсколько часовъ, и, похоронивъ Языкова, тотчасъ отправился къ женѣ въ деревню, потому что она больна. Тутъ я видѣлъ въ первый разъ, что Хомяковъ плачетъ; онъ перемѣнился и похудѣлъ, какъ будто бы всталъ изъ длинной болѣзни. Тѣло положили въ Даниловѣ подлѣ Валуева. Шевыревъ написалъ объ немъ прекрасную статью въ городскомъ листкѣ. Онъ вспоминаетъ всю его жизнь, его же стихами.

«Сегодня жду писемъ изъ Петрищева; очень боюсь за маменьку. У меня тоже не совсѣмъ здоровы жена и маленькая Машенька. Въ этотъ годъ я перешелъ черезъ ножи самыхъ мучительныхъ минутъ, сцѣпленныхъ почти безпрерывными бѣдами, такъ что когда я несъ мою бѣдную Катюшу въ церковь, то это было уже почти легко, въ сравненіи съ другими чувствами.

«Обнимаю тебя крѣпко. Твой братъ И. К.»

—

Въ началѣ 1852-года Кирѣевскій написалъ свое извѣстное письмо къ графу Комаровскому: о характерѣ просвѣщенія Европы и его отношеніи къ просвѣщенію Россіи. — Статья эта была написана для Московскаго Сборника, издаваемаго однимъ изъ молодыхъ друзей Кирѣевскаго, Иван. Сер. Аксаковымъ, и напечатана въ первой книгѣ. Второй томъ Сборника постигла участь Европейца. Кирѣевскій пересталъ вовсе писать для печати.

«Литературныя занятія мои, «писалъ онъ въ то время,» ограничиваются кой-какимъ чтеніемъ, и то новаго читаю мало, а старое охотнѣе, можетъ быть отъ того, что самъ со-

старѣлся. Однакоже не теряю намѣренія написать, *когда будетъ можно писать*, курсъ философіи, въ которомъ, кажется, будетъ много новыхъ истинъ, то есть новыхъ отъ человѣческой забывчивости. Жаль, очень жаль, что западное безуміе стѣснило теперь и нашу мысль, именно теперь, когда, кажется, настоящая пора для Россіи сказать свое слово въ философіи, показать имъ, еретикамъ, что истина наук только въ истинѣ православія. Впрочемъ и то правда, что эти заботы о судьбѣ человѣческаго разума можно предоставить Хозяину, который знаетъ когда и кого послать на свое дѣло.» (Изъ письма къ Кошелеву, 1852-го 2-е Окт.).

Въ тишинѣ своего деревенскаго уединенія, Кирѣевскій продолжалъ работать для своего будущаго философскаго сочиненія, изучая писанія Святыхъ Отцовъ: «Ученіе о Святой Троицѣ не потому только привлекаетъ мой умъ, что является ему какъ высшее средоточіе всѣхъ святыхъ истинъ, намъ откровеніемъ сообщенныхъ,—но и потому еще, что, занимаясь сочиненіемъ о философіи, я дошелъ до того убѣжденія, что направленіе философіи зависитъ, въ первомъ началѣ своемъ, отъ того понятія, которое мы имѣемъ о Пресвятой Троицѣ.»

Долбино въ сорока верстахъ отъ Козельской Оптинской пустыни. Сюда не рѣдко уѣзжалъ Кирѣевскій и проводилъ здѣсь цѣлыя недѣли, душевно уважая многихъ старцевъ святой обители и особенно отца Макарія, своего духовнаго отца, бесѣды котораго онъ высоко цѣнилъ.

Оптинской монастырь, знаменитый въ округѣ благочестіемъ монашествующихъ братій, извѣстенъ почти въ цѣлой Россіи изданіемъ многихъ переводовъ Святыхъ Отцевъ и другихъ назидательныхъ книгъ. Въ изданіяхъ сихъ и Кирѣевскій принималъ живѣйшее участіе; почти всѣ корректуры исправлялись въ его домѣ; но не только завѣдываніе печатаньемъ, не однѣ хлопоты съ типографіей, цензурою и книгопродавцами, не объ одной внѣшней сторонѣ дѣла заботился Кирѣевскій; помѣщаемъ здѣсь его письмо къ покойному отцу Макарію, которое доказываетъ, что и самыя рукописи и переводы просматривались Кирѣевскимъ.

«Милостивый батюшка!

«Прилагаю письмо инспектора Сергія, полученное мною въ отвѣтъ на то, которое я ему писалъ по вашему приказанію о послѣднихъ главахъ Аввы Ѳалассія, и прошу вразумить меня, что ему отвѣчать? составить ли примѣчаніе здѣсь и послать ему на одобреніе или просить его самого составить его? – Въ указаніи на Іоанна Дамаскина онъ ошибся: я писалъ ему объ 11-й главѣ и 3-мъ параграфѣ, разумѣя первую часть, въ которой говорится о Пресвятой Троицѣ. А онъ вмѣсто 3-го параграфа прочелъ 3-ю часть, и въ ней искалъ одиннадцатой главы, гдѣ идетъ рѣчь о другомъ.—Въ указанномъ же мною мѣстѣ говорится именно о безначальности и небезначальности Сына.

«Для усмотрѣнія вашего, выписываю это мѣсто, и при семъ прилагаю. Выписываемый о. Инспекторомъ ирмосъ кажется мнѣ тоже недовольно ясенъ. Не имѣется ли въ церковныхъ пѣсняхъ что-либо еще ближе къ предмету? — Въ книгѣ Іоанна Дамаскина еще указана ссылка на Григорія Назіанзена, слово 29 и 39-е, но я ихъ не смотрѣлъ. Въ примѣчаніи же, я думаю, къ выпискѣ изъ І. Дамаскина, достаточно прибавить нѣсколько словъ о томъ, что слово *начало* имѣетъ нѣсколько смысловъ. Иногда означаетъ оно черту, отъ которой возникаетъ что-либо во времени или пространствѣ; иногда означаетъ основаніе чего-либо, иногда причину, или вину. Здѣсь небезначальный употреблено въ семъ послѣднемъ смыслѣ, и собственно значитъ имѣющій вину своего сыновняго бытія въ Отцѣ, совѣчно Ему и безначально пребывая, какъ Божество, Ему единосущное, но отъ него прежде всѣхъ вѣковъ рожденное, какъ свѣтъ отъ свѣта, Богъ истинный отъ Бога истиннаго.

«Когда будете разсматривать переводъ Филиппова Максима исповѣдника, то на первой страницѣ его, гдѣ говорится о томъ, что любовь составляется изъ вожделѣнія и страха, не найдете ли приличнѣе замѣнить слово *вожделѣніе* словомъ *влеченіе?*»

—

Около этого времени были написаны Кирѣевскимъ два большихъ письма къ А. И. Кошелеву, — по поводу книги Vinet, объ отношеніи церкви къ государству, къ сожалѣнію еще не отысканныя. Вообще надо замѣтить, что наше собраніе матеріаловъ далеко не полное. Еще не собраны и не отысканы его письма къ Жуковскому, Баратынскому, Хомякову и другимъ лицамъ.

Помѣщаемъ здѣсь два письма 1855 г. къ К. С. Аксакову и М. П. Погодину.

К. С. АКСАКОВУ.

Москва. 1-го Іюня. 1855

«Многоуважаемый и любезнѣйшій Константинъ Сергѣевичъ! Благодарю васъ за присылку вашей статьи о глаголахъ. Я прочелъ ее съ большимъ удовольствіемъ, хотя и совершенный невѣжда въ этомъ дѣлѣ. По этой причинѣ, т. е., потому, что я въ этомъ дѣлѣ совершенный невѣжда,—вамъ вѣроятно не любопытно будетъ знать мое мнѣніе о вашей статьѣ. Однакоже, такъ какъ я не просто невѣжда, а невѣжда-пріятель, то прошу васъ выслушать краткій отчетъ въ тѣхъ мысляхъ, которыя возбудило во мнѣ чтеніе вашей статьи.

«Въ ней, также какъ и во всемъ почти, что вы пишете, есть что-то очень возбудительное. Читая вашу грамматику, чувствуешь себя не въ школѣ, и не въ душномъ кабинетѣ.

«Съ этой точки зрѣнія, кажется мнѣ особенно замѣчательна ваша мысль о личныхъ правахъ Русскихъ глаголовъ. Совершенно справедливо, что въ этомъ совмѣщеніи личной самостоятельности съ цѣльностью общаго порядка, заключается главная особенность того языка, по которому слово живетъ и движется въ Русскомъ умѣ. Въ прежнія времена такъ жили и двигались не одни слова. Это отличительный типъ Русскаго взгляда на всякій порядокъ, и потому должно было составлять главное затрудненіе иностранныхъ систематиковъ, сочинявшихъ намъ грамматики. Ихъ голова не вмѣщаетъ

порядка безъ однообразія. Самообразность частной особенности коробитъ имъ глазъ. Между тѣмъ личная самостоятельность глаголовъ такъ мало противорѣчитъ общей законности языка, и такъ ясно сливается съ нею для Русскаго ума, что каждый ребенокъ еще прежде, чѣмъ доростетъ ученья грамотѣ, уже не дѣлаетъ никакой ошибки въ спряженіи. Но ученый Нѣмецъ, проведя лѣтъ двадцать въ Россіи, еще способенъ сказать: *стригнулся*. Самый родъ этой законности не ясенъ для Нѣмца, и если они будутъ продолжать намъ составлять грамматики, то, пожалуй, мало по мало отучатъ наши глаголы такъ своевольничать и подвергнутъ ихъ подъ свой ваганьковскій порядокъ. Однакоже то, что Русскій ребенокъ понимаетъ безсознательнымъ чутьемъ и что вы сознали умомъ, — то еще не существуетъ для науки до тѣхъ поръ, покуда общая мысль не развернется во всей полнотѣ своихъ внутреннихъ и наружныхъ признаковъ такъ, чтобы изъ общаго можно было предугадывать частное, а на частномъ всегда видѣть отраженіе общаго закона. Потому, какъ ни вѣрна ваша мысль, какъ ни много она обѣщаетъ въ возможности своего развитія,—но покуда еще въ возможности. Это богатое зерно для будущей вашей книги,—зерно, которое еще не умерло и не воскресло въ вашей статьѣ, но ждетъ еще вашей полной грамматики, которой и я съ нетерпѣніемъ ожидаю.

«Меньше, признаюсь вамъ, нравится мнѣ мысль ваша о томъ, что въ Русскомъ языкѣ *вовсе нѣтъ временъ*, и что *языкъ нашъ обратилъ вниманіе на качество дѣйствія, и уже отъ качества вывелъ, по соотвѣтствію, заключеніе о времени* (стр. 15.).—Простите мнѣ, если я, какъ не филологъ, не умѣю понять законности такого процесса ума Русскаго, который, сознавая общее качество дѣйствія, отдѣляетъ отъ него качество времени, и потомъ уже, по соотвѣтствію качества времени съ другими качествами, выводитъ его какъ заключеніе. Я понимаю, что формы стремленія Русскаго глагола выражаютъ не одно время, но еще и другія качества дѣйствія, и потому вы правы противъ Ломоносова и его послѣдователей, смѣшавшихъ эти другія качества съ катего-

ріею времени,—и противъ Фатера и Боппа, раздробившихъ одинъ глаголъ на многіе разные, смотря по различному его выраженію различныхъ качествъ того же дѣйствія. Но мнѣ кажется, что въ Русскомъ умѣ (языкѣ) эта гибкость формы *для* выраженія различныхъ качествъ дѣйствія не могла возникнуть *предварительно*, но только *совокупно*, съ выраженіемъ времени. Вотъ въ какомъ отношеніи мысль ваша кажется мнѣ преувеличенною и потому одностороннею. Правда, что безъ этого преувеличенія ваша статья лишилась бы нѣсколько своего блеска. Но за то она лишилась бы нѣсколько и своей Нѣмецкой отвлеченности въ изъясненіи вашемъ о переходѣ ума отъ качества дѣйствія къ категоріи времени,—отвлеченности, которая, если бы и была справедлива въ отношеніи къ процессу ума вообще, то все же несправедлива въ отношеніи къ образу мышленія ума Русскаго.—Мысль человѣка Русскаго идетъ не Нѣмецкими путями, какъ очень хорошо знаетъ авторъ Луповицкаго. Потому я думаю, что хотя бы и была постигнута вами настоящая система Русскаго языка, но она до тѣхъ поръ останется не дозрѣвшею къ вашемъ, а слѣдовательно и въ нашемъ сознаніи, неоконченною, покуда не приметъ самородной Русской формы мышленія. Я думаю, что отыскивая *эту форму* истины, умъ мыслителя еще болѣе прояснитъ себѣ и самую сущность ея.

«Если же принять вашу мысль безъ того, что мнѣ кажется въ ней преувеличеннымъ (т. е. что въ Русскомъ глаголѣ нѣтъ формы, непосредственно выражающей время, но понятіе о времени только выводится изъ предварительнаго понятія о другихъ качествахъ), тогда языкъ нашъ представится намъ богаче другихъ, но менѣе отличенъ отъ нихъ въ своемъ физіологическомъ устройствѣ. Не другой породы звѣрь, но существо той же породы, только въ организмѣ, полнѣе развитомъ.

«То смѣшеніе временныхъ формъ, которое вы замѣчаете въ Русскомъ языкѣ и почитаете исключительною его особенностію, кажется принадлежитъ больше, или меньше всѣмъ языкамъ. Нѣмецъ, напримѣръ, почти только въ грамматикѣ

своей обозначаетъ свое будущее вспомогательнымъ werden, а въ употребленіи онъ почти всегда вмѣсто будущаго ставитъ настоящее: Morgen geh'ich zu ihm, sahe ihm das und das и проч. Прошедшее совершенное на всѣхъ языкахъ одинаково съ причастіемъ прошедшимъ; но такъ какъ въ понятіи прошедшаго причастія, или отглагольнаго прилагательнаго *уже заключается понятіе о времени*, то не очевидно ли, что форма, обозначающая время, перешла не отъ прилагательнаго къ глаголу, а отъ глагола къ прилагательному, слѣдовательно въ глаголѣ она самородная, а не выводная (*). Къ тому же, какъ вамъ извѣстно, въ коренномъ Славянскомъ языкѣ была еще и другая форма прошедшаго. Въ Церковно-Славянскомъ есть: *видѣхъ*, есть и *видяхъ*, *ядохъ* и *ядяхъ* и пр. Слѣдовательно Русскій современный языкъ только *утратилъ* одну изъ формъ обще-Славянскаго языка (ибо и на другихъ нарѣчіяхъ Славянскихъ, *говорятъ*, есть тѣ же формы), — а не по особенному процессу мышленія составилъ свои формы.

«Да и что такое глаголъ, если не дѣйствіе, понятое во времени? Такъ называемое неокончательное наклоненіе не есть собственно глаголъ, но отглагольное существительное. Безъ понятія о времени, нѣтъ глагола,—нѣтъ даже въ возможности.

«Фраза, которую вы привели на страницѣ 9-й, чтобы показать, что Русскаго будущаго нельзя назвать *будущимъ*, можетъ быть буквально переведена на Нѣмецкій языкъ съ тою только разницею, что вмѣсто *будущаго* Нѣмецъ употребитъ *настоящее*, также относя его къ прошедшему времени: Die Tage vergingen für uns sehr einförmig; ich gehe zu seiner Thür, klopfe ein Paar Mahl dran, er öffnet mir и проч.

«Изъ этого, однакоже, вы не можете заключить, что Нѣмцы не имѣли настоящаго времени. Настоящее время они имѣютъ, а мы имѣемъ будущее, мы несомнѣнно имѣемъ его, и чтобы мы еще имѣли, если бы и будущее было ихъ же!

(*) Прилагательное *больной* можетъ быть происходитъ и не отъ глагола, но *болѣлый* очевидно перешло черезъ глагольную форму. Также *служебный* и *служилый*.

«Къ тому же нѣтъ ли здѣсь недоразумѣнія? Вы сами говорите, что конецъ фразы, рядъ будущихъ, останется одинаковъ, если вы перемѣните начало, и вмѣсто прошедшаго: *всякій день проходилъ*, поставите настоящее: *проходитъ*, или будущее: *будетъ проходить*. Не показываетъ ли это, что конецъ фразы, рядъ будущихъ, относится не къ этому началу, а къ чему-то другому, что можетъ быть подразумѣвается? Здѣсь можетъ подразумѣваться: *всякій день*, или *всегда*, или *обыкновенно*... Если бы конецъ фразы явно относился къ прошедшему, то вы не могли бы употребить въ ней будущихъ формъ. Вы не можете сказать: *вчерашній день я подойду къ его двери* и пр.—Но вы скажите: *я подошелъ къ его двери*, или *я подходилъ къ его двери*. Но если вы нѣсколько разъ подходили къ двери, то можете сказать: *вчерашній день, я нѣсколько разъ подойду къ его двери, постучусь и онъ не отворяетъ мнѣ*. Слѣдовательно здѣсь будущія времена относятся не къ *вчерашнему дню*, а къ *нѣсколько разъ*, т. е. къ понятію *о повторявшемся дѣйствіи*. Замѣтьте еще, что еслибы это было *не рядъ* дѣйствій, или, по крайней мѣрѣ, *не два* дѣйствія, взаимно относящіяся одно къ другому, а только *одно* дѣйствіе, то хотя бы оно и повторялось нѣсколько разъ, но вы не могли бы выразить его формою будущаго, когда оно совершалось въ прошедшемъ. Вы не можете сказать: *бывало я подойду къ его двери*, и этимъ кончить. Вамъ непремѣнно надобно *прибавить другой глаголъ*, съ которымъ глаголъ *подойду* будетъ взаимно относиться: *я подойду, онъ отворитъ* и тому подобное. Слѣдовательно такого рода будущія зависятъ не отъ словечка *бывало*, также какъ они не относятся *ко времени, о которомъ* идетъ рѣчь, но выражаютъ только порядокъ, въ которомъ одно дѣйствіе относится къ другому. Птица полетитъ, я выстрѣлю, это можетъ относиться ко всѣмъ временамъ. Такое будущее можно назвать будущимъ самостоятельнымъ.

«Если я не ошибаюсь, если точно въ языкѣ нашемъ есть будущее самостоятельное, то не предвѣщаніе ли это нашей судьбы?

«Если будущее самостоятельное можетъ замѣняться другими временами или даже смѣшиваться съ ними вездѣ, гдѣ рѣчь идетъ не о времени, но о порядкѣ отношенія между двумя или нѣсколькими дѣйствіями, то это не мѣшаетъ будущему быть будущимъ, настоящему настоящимъ, а прошедшему прошедшимъ, тамъ, гдѣ нужно опредѣлить время дѣйствія.—Правда, что форма нашего будущаго не всегда отличается отъ формы настоящаго въ изъявительномъ наклоненіи; но за то повелительное, которое тоже будущее, у насъ яснѣе обозначается, чѣмъ во многихъ другихъ языкахъ. Это тоже что нибудь должно значить относительно особенности нашего характера; но только здѣсь я уже не знаю, до какой степени другіе народы будутъ завидывать намъ въ этой особенности.

«Разсматривая Русскій глаголъ, какъ вы дѣлаете, въ самой жизни языка, независимо отъ системъ, составленныхъ по иностраннымъ образцамъ, и постоянно имѣя въ виду замѣченное вами свойство Русскаго глагола: при всѣхъ измѣненіяхъ сохранять право неискаженнаго развитія своей духовной личности,—можно бы, кажется, придти къ совершенно противоположному заключенію, не нарушая законовъ логики, т. е. что именно потому, что Русскій глаголъ выражаетъ, кромѣ времени, еще и качество дѣйствія, онъ долженъ быть богаче другихъ формами, выражающими время. Ибо сверхъ обыкновенныхъ общихъ подраздѣленій времени качество дѣйствія даетъ возможность еще къ нѣкоторымъ обыкновеннымъ подраздѣленіямъ. Такъ, кромѣ замѣченныхъ вами и прекрасно выраженныхъ смысловъ различныхъ формъ временъ, Русскій глаголъ имѣетъ еще особенную форму для выраженія той *быстроты*, съ которою дѣйствіе переходитъ въ прошедшее. Разумѣется, эта форма возможна только для тѣхъ глаголовъ, которыхъ личный смыслъ вмѣщаетъ возможность этой мгновенной быстроты. Этого времени, уже не однократнаго только, но мгновенно прошедшаго, нѣтъ въ другихъ языкахъ и слѣдовательно нѣтъ въ иностранныхъ грамматикахъ.—Не знаю, есть ли оно въ вашей, но, кажется, должно быть, потому что есть въ языкѣ. Этой формы не

было прежде въ нашихъ грамматикахъ (и не могло быть, потому что искали только формъ *общихъ для всѣхъ* глаголовъ) и потому языкъ литературный ее избѣгаетъ. Отъ того она не развилась, какъ бы должна была развиться, и носитъ на себѣ какой-то оттѣнокъ неблагороднаго, какъ свойственная больше народу, чѣмъ людямъ *образованнымъ*. Къ этой формѣ мгновенно-прошедшаго относятся слова: *глядь*, *хвать*, *прыгъ*, *щелкъ*, *стукъ*, *брякъ*, *звякъ*, *бухъ*, *шлепъ*, *скокъ*, *мигъ*, *шмыгъ*, *бацъ*, *кехъ*, *плюхъ*, *пихъ* и проч. Эта форма хотя выражаетъ прошедшее дѣйствіе, однако еще такъ тепла пролетомъ настоящаго, что животрепещетъ сердцу прошедшимъ и настоящимъ дѣепричастія, занимая отъ перваго смыслъ, синтаксическія права изъявительнаго наклоненія, отъ втораго — необходимость соединяться съ другимъ глаголомъ, въ отношеніи къ которому опредѣляется мгновенность выражаемаго ею дѣйствія.

«Но дописывая съ горяча четвертый листъ моего письма къ вамъ, я не знаю, посылать ли его, зная, что все сказанное мною можетъ быть длинная чепуха, доказывающая только мое незнаніе предмета, о которомъ пишу. Впрочемъ, если и такъ, то вы увидите въ этой чепухѣ еще доказательство того, какое сильное дѣйствіе произвело на меня чтеніе вашей статьи. Между тѣмъ прошу васъ все сказанное мною принять не какъ мое *мнѣніе*, но какъ *вопросы* о томъ, что мнѣ въ вашей статьѣ показалось не яснымъ для моего неразвитаго понятія.

«Прошу васъ передать мое искреннее почтеніе вашему много и глубоко уважаемому батюшкѣ и всему вашему почтенному семейству.

Преданный вамъ
Иванъ Кирѣевскій.»

«ПОСЛѢДНІЙ ДЕНЬ 1855 ГОДА.»

«Любезный другъ Погодинъ, къ намъ, въ деревню, доходятъ новости поздно, однакожъ отъ этого онѣ мало теряютъ своей живости. Въ послѣднемъ № Московскихъ Вѣдомостей

я прочелъ рѣчь, которую ты говорилъ Хрулеву, и прочелъ съ такимъ удовольствіемъ, какого давно не испытывалъ отъ печатнаго. Тебѣ Богъ вложилъ огонь въ слово. Видно ты въ самомъ дѣлѣ скипѣлся душою съ жизнію нашего отечества, что при каждомъ явленіи этой жизни, при страданіи ея, при радости, у тебя вырывается изъ сердца настоящій звукъ. Твои голоса, т. е. не печатанные,—возбуждаютъ почти общее сочувствіе. Разумѣется не всѣ, но большая часть. Въ рѣчи Хрулеву меня особенно поразила и обрадовала мысль о томъ, что Европа не догадывается, сколько добра извлечетъ Россія изъ того зла, которое она думаетъ ей нанесть. Я думалъ, что я одинъ утѣшаю себя этою мыслію, и хотѣлъ бы обнять тебя, видя, что ты говоришь, что я думаю. Твоя увѣренность укрѣпляетъ мою. Да, любезный другъ, эти страданья очистительныя; эта болѣзнь къ здоровью. Мы бы загнили и задохлись безъ этого потрясенія до самыхъ костей. Россія мучается, но это муки рожденія. Тотъ не знаетъ Россіи и не думаетъ о ней въ глубинѣ сердца, кто не видитъ и не чувствуетъ, что изъ нея рождается что-то великое, не бывалое въ мірѣ.—Общественный духъ начинаетъ пробуждаться. Ложь и неправда, главныя наши язвы, начинаютъ обнаруживаться. Ужасно, невыразимо тяжело это время; но какою цѣною нельзя купить того блаженства, чтобы Русскій православный духъ,—духъ истинной Христіанской вѣры,—воплотился въ Русскую общественную и семейную жизнь! А возможность этого потому только невѣроятна, что слишкомъ прекрасна.

«Впрочемъ, въ стремленіи къ Русскому народному духу, есть возможность недоразумѣнія, которое, къ сожалѣнію, часто встрѣчается, и многое путаетъ.

«Подъ Русскимъ духомъ разумѣютъ не одушевленіе общечеловѣческаго ума духомъ православнаго, истиннаго христіанства,—но только отрицаніе ума западнаго. Подъ *народнымъ* разумѣютъ не цѣлостный составъ государства, но одно *простонародное*, — смѣшанный отпечатокъ полуизглаженныхъ прежнихъ общественныхъ формъ, давно изломанныхъ, и слѣ-

довательно уже не возстановимыхъ. Духъ живитъ,— но улетаетъ, когда имъ хотятъ наполнить разбитыя формы.

Очень бы ты обязалъ меня, если бы нашелъ минуту подѣлиться тѣми мыслями, которыя теперь тебя занимаютъ. Не написалъ ли ты чего новаго послѣ моего отъѣзда изъ Москвы? Если бы прислалъ мнѣ прочесть, то тетрадь твоя возвратилась бы скоро; а благодарность моя осталась бы невозвратною. —

Твой И. Кирѣевскій.

Въ 1856-мъ году, послѣ великой грозы на Руси, повѣяло новой жизнью; Русской умъ почувствовалъ просторъ и уста заговорили гласно. Въ Москвѣ основался новый журналъ: «*Русская Бесѣда*» подъ редакціей Кошелева, съ участіемъ всѣхъ друзей и единомышленниковъ Кирѣевскаго.—И дружеское отношеніе къ издателю, и желаніе участвовать въ предпріятіи, начатомъ съ безкорыстною цѣлью добра, и наконецъ возможность вполнѣ высказаться безъ боязни, что слова его будутъ перетолкованы,—все это заставило Кирѣевскаго немедленно приняться за работу. Въ Февралѣ онъ прислалъ въ Москву свою первую статью: «О возможности и необходимости новыхъ началъ для философіи».—По неисповѣдимой судьбѣ, статья эта, долженствовавшая быть началомъ большаго труда, была его послѣднею статьею.

Въ концѣ великаго поста, Кирѣевскій поѣхалъ въ Петербургъ, чтобъ видѣть экзаменъ сына, кончившаго курсъ въ Лицеѣ. Онъ пробылъ въ Москвѣ нѣсколько дней; остановился въ домѣ у матери и повидался здѣсь въ послѣдній разъ съ братьями и друзьями. 10-го Іюня онъ занемогъ холерою, быстро и съ страшною силою развившейся, и скончался 11-го Іюня на рукахъ сына и двухъ друзей его молодости, графа Комаровскаго и Алексѣя Влад. Веневитинова. Тѣло его было перевезено въ Оптину пустынь и положено близъ соборной церкви.

Въ «Русской Бесѣдѣ» было напечатано нѣсколько страницъ, написанныхъ въ это время Алек. Ст. Хомяковымъ. Приведемъ въ заключеніе нѣсколько словъ оттуда:

«Конечно, немногіе еще оцѣнятъ вполнѣ И. В. Кирѣевскаго, но придетъ время, когда наука, очищенная строгимъ анализомъ и просвѣтленная вѣрою, оцѣнитъ его достоинство и опредѣлитъ не только его мѣсто въ поворотномъ движеніи Русскаго просвѣщенія, но еще и заслугу его передъ жизнію и мыслію человѣческою вообще. Выводы, имъ добытые, сдѣлавшись общимъ достояніемъ, будутъ всѣмъ извѣстны; но его немногія статьи останутся всегда предметомъ изученія, по послѣдовательности мысли, постоянно требовавшей отъ себя строгаго отчета, по характеру теплой любви къ истинѣ и людямъ, которая вездѣ въ нихъ просвѣчиваетъ, по вѣрному чувству изящнаго, по благоговѣйной признательности его къ своимъ наставникамъ,—предшественникамъ въ путяхъ науки, даже тогда, когда онъ принужденъ ихъ осуждать, и особенно по какому-то глубокому сочувствію не высказаннымъ требованіямъ всего человѣчества, алчущаго живой и животворящей правды.»

22-го Марта
1861 г.

—

ЦАРИЦЫНСКАЯ НОЧЬ.

Ночь застала веселую кавалькаду въ двухъ верстахъ отъ Царицына. Невольно измѣнили они быстрый бѣгъ лошадей своихъ на медленный шагъ, когда передъ ними открылись огромные пруды — краснорѣчивый памятникъ мудраго правленія Годунова. Шумные разговоры умолкли, и тихія мысли сами собой пошли разгадывать прошлую жизнь отечества.

Между тѣмъ взошелъ мѣсяцъ. Онъ освѣтилъ неровную, узкую дорогу, открылъ дальнія поля и рощи, и отразился въ спокойныхъ водахъ. Ночь была тихая; на небѣ ни одной тучи и всѣ звѣзды.

Владиміръ первый прервалъ молчанье. «Мнѣ пришла мысль,— сказалъ онъ — представить Борисово царствованіе въ романѣ. Нѣтъ ничего загадочнѣе Русскаго народа въ это время. Не всѣ же кланялись восходящему солнцу. Представьте же себѣ человѣка, который равно ненавидитъ Годунова, какъ цареубійцу-похитителя, и Гришку, какъ самозванца; къ чему привяжетъ онъ слово: *отечество?* Мнѣ кажется, здѣсь въ первый разъ Русскій задумался объ Россіи. Къ тому же голодъ, чума, безплодныя войны, безпрестанныя возстанія народа и всѣ бѣдствія того времени должны были невольно связать умы въ одно общее стремленіе; и этимъ только объясняется послѣ возможность успѣховъ Минина и Пожарскаго. Пруды эти, гдѣ работали тысячи, собранныя со всѣхъ концовъ государства, вѣроятно, также не мало помогли мыслямъ перебродить въ народѣ. Но для романа я избралъ бы человѣка неназваннаго исторіею, воспитаннаго при дворѣ Грознаго во всѣхъ предразсудкахъ того времени, и старался бы показать: какъ сила обстоятельствъ постепенно раскрывала въ немъ понятіе лучшаго, покуда наконецъ Польское копье не положило его подъ стѣной освобожденнаго Кремля.»

«Конечно, такое лицо будетъ зеркаломъ того времени,—сказалъ Фалькъ — и работа дастъ много пищи воображенію и сердцу. Но берегись только, чтобы не нарядить девятьнадцатый вѣкъ въ бороду семьнадцатаго.»

«Не ужели-жъ ты думаешь,—отвѣчалъ Владиміръ—что, переносясь въ прошедшее, можно совершенно отказаться отъ текущей минуты. А когда бы и можно было, то должно ли?—Только отношенія къ намъ даютъ смыслъ и цѣну окружающему, и потому одно настоящее согрѣваетъ намъ исторію.»

«Да, — сказалъ Черный — кому прошедшее не согрѣваетъ настоящаго.»

Завязался споръ; но скоро остановило его новое явленіе: изъза рощи показался гробъ — царскій дворецъ.

«Всѣ строенья Баженова,— сказалъ Вельскій—замѣчательны какою нибудь мыслью, которую онъ умѣлъ передать своимъ камнямъ, и мысль эта почти всегда печальная и вмѣстѣ странная. Кому бы пришло въ голову сдѣлать гробъ изъ потѣшнаго дворца Екатерины? А между тѣмъ, какая высокая поэзія: слить земное величіе съ памятью о смерти, и самую пышность царскаго дворца заставить говорить о непрочности земныхъ благъ. Этотъ недавній дворецъ для меня краснорѣчивѣе всѣхъ развалинъ Рима и Гишпаніи.»

«Онъ самъ развалина,—сказалъ Фалькъ—Екатерина никогда не живала въ немъ, и отъ самаго построенья онъ оставался пустымъ, а теперь безъ оконъ и дверей. Мысль поэта-художника, говорятъ, не понравилась Государынѣ.»

Въ такихъ разговорахъ друзья приблизились къ саду, переѣхали мостъ, у трактира сошли съ лошадей и, отправляясь осматривать красоты Царицына, не позабыли заказать себѣ сытнаго ужина.

Отвязавши широкую лодку и закуривши трубки, друзья пустились гулять по гладкому пруду. Тишина, лунная ночь, качанье лодки, равномѣрные удары веселъ, музыкальное плесканье воды, свѣжесть воздуха, мрачно-поэтическій видъ окружающаго сада, — все это настроило ихъ душу къ сердечному разговору, а сердечный разговоръ, какъ обыкновенно случалось между ними, довелъ до мечтаній о будущемъ, о назначеніи

человѣка, о таинствахъ искусства и жизни, объ любви, о собственной судьбѣ и, наконецъ, о судьбѣ Россіи. Каждый изъ нихъ жилъ еще надеждою, и Россія была любимымъ предметомъ ихъ разговоровъ, узломъ ихъ союза, зажигательнымъ фокусомъ прозрачнаго стекла ихъ надеждъ и желаній. Все, что таилось въ душѣ самаго священнаго, довѣрчиво вылилось въ слова; и можно сказать, что въ эту ночь на Годуновскомъ пруду не раздалось ни одного слова не теплаго мыслію. Правда, если бы человѣкъ, испытанный жизнью, потерявшій вѣру въ несбыточное, словомъ, человѣкъ опытный, подслушалъ ихъ неопытныя рѣчи, то улыбнулся бы многому молодому, незрѣлому, безумному; но если жизнь еще не совершенно убила въ немъ сердце, то, конечно, оно не разъ забилось бы сильнѣе отъ сердечнаго слова. . .

Между тѣмъ лодка причалила къ тому мѣсту, гдѣ былъ приготовленъ ужинъ. Друзья расположились подъ открытымъ небомъ. Пробка хлопнула и, не встрѣтивъ потолка, возвратилась на столъ.

«Сегоднишній вечеръ былъ полонъ, — сказалъ Владиміръ, наливая бокалы — вѣрно каждому изъ насъ отзовется онъ въ цѣлой жизни, и, начиная съ теперешней минуты, вѣрно каждый уже смѣлѣе смотритъ въ будущее, и для каждаго сдѣлалось священнѣе то мѣсто, куда поставила его судьба. Спасибо свѣтлой Царицынской ночи!»

«Въ самомъ дѣлѣ свѣтлой, — сказалъ Черный — что непримѣтною искрою таилось въ сердцѣ, то ея вліяніемъ разсвѣло въ ясный день и, конечно, не погаснетъ прежде послѣдняго луча жизни. За здоровье Царицынской ночи!»

Чоканье рюмокъ было отвѣтомъ.

«Мы не позабыли ничего, что грѣетъ душу, — сказалъ Фалькъ — только одного недостаетъ еще: стиховъ. Вельскій! это твое дѣло! Благослови сегоднишнюю сходку!«

«Давайте шампанскаго!» — отвѣчалъ Вельскій.

Вино закипѣло; поэтъ, собирая мысли, устремилъ глаза къ небу: тамъ Большая-Медвѣдица свѣтилась прямо надъ его головою. Мигомъ осушилъ онъ бокалъ. . . мысль загорѣлась . . онъ началъ такъ:

Смотрите, о други! надъ нами семь звѣздъ:
То вѣстники счастья, о други!
Залогъ исполненія лучшихъ надеждъ,
Блестящее зеркало жизни.

Такъ, други! надъ темною жизнію намъ
Семь звѣздъ зажжено Провидѣньемъ;
И все, что прекраснаго есть на землѣ, —
Все даръ семизвѣзднаго хора.

Намъ *Вѣры звѣзда* утѣшитель въ бѣдахъ,
И въ счастьи надежный вожатый;
Звѣзда Пѣснопѣнья льетъ въ душу восторгъ
И жизнь согрѣваетъ мечтою.

Но счастливъ, кто обнялъ мечту не во снѣ!
Кому, на восторгъ отвѣчая,
Лазурное небо стыдливыхъ очей
Звѣздою Любви загорѣлось!

Кого возлелѣяла *Славы звѣзда!*
Кому, предъ неправою силой,
Главы благородной склонить не дала
Свободы звѣзда золотая..

Кто *Дружбы звѣздой* изъ немногихъ избранъ,
Сокровища лучшія сердца
Со страхомъ отъ взоровъ людей не таилъ,
Какъ тать укрываетъ святыню.

Седьмая звѣзда свѣтитъ ярче другихъ,
Надеждою свѣтъ тотъ прекрасенъ!
Но въ горѣ отрады она не даетъ,
И счастья съ собой не выноситъ;

Страданья и смерть обѣщаетъ она
Тому, кто безумной мечтою
Въ вожатые жизни ее изберетъ...
О други! Кто пьетъ за *седьмую?* —

—

НѢЧТО О ХАРАКТЕРѢ ПОЭЗІИ ПУШКИНА.

Отдавать себѣ отчетъ въ томъ наслажденіи, которое доставляютъ намъ произведенія изящныя,—есть необходимая потребность и вмѣстѣ одно изъ высочайшихъ удовольствій образованнаго ума.. Отъ чего же до сихъ поръ такъ мало говорятъ о Пушкинѣ? Отъ чего лучшія его произведенія остаются неразобранными (*), а вмѣсто разборовъ и сужденій слышимъ мы одни пустыя восклицанія: «Пушкинъ поэтъ! Пушкинъ истинный поэтъ! Онѣгинъ поэма превосходная! Цыганы мастерское произведеніе!» и т. д.? Отъ чего, никто до сихъ поръ не предпринялъ опредѣлить характеръ его поэзіи вообще, оцѣнить ея красоты и недостатки, показать мѣсто, которое поэтъ нашъ успѣлъ занять между первоклассными поэтами своего времени? Такое молчаніе тѣмъ непонятнѣе, что здѣсь публику всего менѣе можно упрекнуть въ равнодушіи. — Но, скажутъ мнѣ можетъ быть, кто имѣетъ право говорить о Пушкинѣ? —

Тамъ, гдѣ просвѣщенная публика нашла себѣ законныхъ представителей въ литературѣ, тамъ не многіе, законодательствуя общимъ мнѣніемъ, имѣютъ власть произносить окончательные приговоры необыкновеннымъ явленіямъ словеснаго міра. Но у насъ ничей голосъ не лишній; мнѣніе каждаго, если оно составлено по совѣсти и основано на чистомъ убѣжденіи, имѣетъ право на всеобщее вниманіе. Скажу болѣе: въ наше время каждый мыслящій человѣкъ не только можетъ, но еще обязанъ выражать свой образъ мыслей передъ лицомъ публики,—если, впро-

(*) Все, что въ Сынѣ Отечества, Дамскомъ Журналѣ, Вѣстникѣ Европы и Московскомъ Телеграфѣ было сказано до сихъ поръ о Руланѣ и Людмилѣ, Кавказскомъ Плѣнникѣ, Бахчисарайскомъ Фонтанѣ и Онѣгинѣ, ограничивалось простымъ извѣщеніемъ о выходѣ упомянутыхъ поэмъ, или имѣло главнымъ предметомъ своимъ что либо постороннее, какъ напр. романтическую поэзію и т. п.; но собственно разборовъ поэмъ Пушкина мы еще не имѣемъ.

чемъ, не препятствуютъ тому постороннія обстоятельства; ибо только общимъ содѣйствіемъ можетъ у насъ составиться то, чего такъ давно желаютъ всѣ люди благомыслящіе, чего до сихъ поръ, однакоже, мы еще не имѣемъ, и что, бывъ результатомъ, служитъ вмѣстѣ и условіемъ народной образованности, а слѣдовательно, и народнаго благосостоянія: я говорю объ общемъ мнѣніи. Къ тому же все, сказанное передъ публикою, полезно уже потому, что сказано: справедливое — какъ справедливое; несправедливое — какъ вызовъ на возраженія.

Но говоря о Пушкинѣ, трудно высказать свое мнѣніе рѣшительно; трудно привесть къ единству все разнообразіе его произведеній и пріискать общее выраженіе для характера его поэзіи, принимавшей столько различныхъ видовъ. Ибо, выключая красоту и оригинальность стихотворнаго языка, какіе слѣды общаго происхожденія находимъ мы въ Русланѣ и Людмилѣ, въ Кавказскомъ Плѣнникѣ, въ Онѣгинѣ, въ Цыганахъ и т. д.? — Не только каждая изъ сихъ поэмъ отличается особенностью хода и образа изложенія (la manière); но еще нѣкоторыя изъ нихъ различествуютъ и самымъ характеромъ поэзіи, отражая различное воззрѣніе поэта на вещи, такъ что въ переводѣ ихъ легко можно бы было почесть произведеніями не одного, но многихъ авторовъ. Эта легкая шутка, дитя веселости и остроумія, которая въ Русланѣ и Людмилѣ одѣваетъ всѣ предметы въ краски блестящія и свѣтлыя, уже не встрѣчается больше въ другихъ произведеніяхъ нашего поэта; ея мѣсто въ Онѣгинѣ заступила уничтожающая насмѣшка, отголосокъ сердечнаго скептицизма, и добродушная веселость смѣнилась здѣсь на мрачную холодность, которая на всѣ предметы смотритъ сквозь темную завѣсу сомнѣній, свои наблюденія передаетъ въ каррикатурѣ, и созидаетъ какъ бы для того только, чтобы черезъ минуту насладиться разрушеніемъ созданнаго. Въ Кавказскомъ Плѣнникѣ, напротивъ того, не находимъ мы ни той довѣрчивости къ судьбѣ, которая одушевляетъ Руслана, ни того презрѣнія къ человѣку, которое замѣчаемъ въ Онѣгинѣ. Здѣсь видимъ душу, огорченную измѣнами и утратами, но еще не измѣнившую самой себѣ, еще не утратившую свѣжести прежнихъ чувствованій, еще вѣрную завѣтному влеченію, — душу,

растерзанную судьбой, но не побѣжденную: исходъ борьбы еще зависитъ отъ будущаго. Въ поэмѣ Цыганы характеръ поэзіи также совершенно особенный, отличный отъ другихъ поэмъ Пушкина. Тоже можно сказать почти про каждое изъ важнѣйшихъ его твореній.

Но, разсматривая внимательно произведенія Пушкина, отъ Руслана и Людмилы до пятой главы Онѣгина, находимъ мы, что при всѣхъ измѣненіяхъ своего направленія, поэзія его имѣла три періода развитія, рѣзко отличающихся одинъ отъ другаго. Постараемся опредѣлить особенность и содержаніе каждаго изъ нихъ, и тогда уже выведемъ полное заключеніе о поэзіи Пушкина вообще.

Если по характеру, тону и отдѣлкѣ, сроднымъ духу искусственныхъ произведеній различныхъ націй, стихотворство, какъ живопись, можно дѣлить на школы, то первый періодъ поэзіи Пушкина, заключающій въ себѣ Руслана и нѣкоторыя изъ мѣлкихъ стихотвореній, назвалъ бы я *періодомъ школы Итальянско-Французской*. Сладость Парни, непринужденное и легкое остроуміе, нѣжность, чистота отдѣлки, свойственныя характеру Французской поэзіи вообще, соединились здѣсь съ роскошью, съ изобиліемъ жизни и свободою Аріоста. Но остановимся нѣсколько времени на томъ произведеніи нашего поэта, которымъ совершилось первое знакомство Русской публики съ ея любимцемъ.

Если въ своихъ послѣдующихъ твореніяхъ, почти во всѣ созданія своей фантазіи вплетаетъ Пушкинъ индивидуальность своего характера и образа мыслей, то здѣсь является онъ чисто *творцомъ-поэтомъ*. Онъ не ищетъ передать намъ свое особенное воззрѣніе на міръ, судьбу, жизнь и человѣка; но просто созидаетъ намъ новую судьбу, новую жизнь, свой новый міръ, населяя его существами новыми, отличными, принадлежащими исключительно его творческому воображенію. Отъ того ни одна изъ его поэмъ не имѣетъ той полноты и оконченности, какую замѣчаемъ въ Русланѣ. Отъ того каждая пѣснь, каждая сцена, каждое отступленіе живетъ самобытно и полно; отъ того каждая часть такъ необходимо вплетается въ составъ цѣлаго созданія, что нельзя ничего прибавить или выбросить, не разру-

шивъ совершенно его гармоніи. Отъ того Черноморъ, Наина, Голова, Финнъ, Рогдай, Фарлафъ, Ратмиръ, Людмила, словомъ, каждое изъ лицъ, дѣйствующихъ въ поэмѣ (выключая, можетъ быть, одного: самаго героя поэмы), получило характеръ особенный, рѣзко образованный и вмѣстѣ глубокій. Отъ того, наблюдая соотвѣтственность частей къ цѣлому, авторъ тщательно избѣгаетъ всего патетическаго, могущаго сильно потрясти душу читателя; ибо сильное чувство несовмѣстно съ охотою къ чудесному комическому, и уживается только съ величественно-чудеснымъ. Одно очаровательное можетъ завлечь насъ въ царство волшебствъ; и если посреди плѣнительной невозможности что нибудь тронетъ насъ не на шутку, заставя обратиться къ самимъ себѣ, то прости тогда вѣра въ невѣроятное! Чудесное, призраки разлетятся въ ничто, и цѣлый міръ небывалаго рушится, исчезнетъ, какъ прерывается пестрое сновидѣніе, когда что нибудь въ его созданіяхъ напомнитъ намъ о дѣйствительности. Разсказъ Финна, имѣя другой конецъ, уничтожилъ бы дѣйствіе цѣлой поэмы: какъ въ Виландовомъ Оберонѣ одинъ, — впрочемъ, одинъ изъ лучшихъ отрывковъ его, — описаніе несчастій главнаго героя, слишкомъ сильно потрясая душу, разрушаетъ очарованіе цѣлаго, и, такимъ образомъ, отнимаетъ у него главное его достоинство. Но неожиданность развязки, безобразіе старой колдуньи и смѣшное положеніе Финна разомъ превращаютъ въ каррикатуру всю прежнюю картину несчастной любви, и такъ мастерски связываютъ эпизодъ съ тономъ цѣлой поэмы, что онъ уже дѣлается одною изъ ея необходимыхъ составныхъ частей. Вообще можно сказать про Руслана и Людмилу, что если строгая критика и найдетъ въ ней иное слабымъ, невыдержаннымъ, то конечно не сыщетъ ничего лишняго, ничего неумѣстнаго. Рыцарство, любовь, чародѣйство, пиры, война, русалки, всѣ стихіи волшебнаго міра совокупились здѣсь въ одно созданіе и, не смотря на пестроту частей, въ немъ все стройно, согласно, *цѣло*. Самые приступы къ пѣснямъ, занятые у пѣвца Іоанны, сохраняя вездѣ одинъ тонъ, набрасываютъ и на все твореніе одинъ общій оттѣнокъ веселости и остроумія.

Замѣтимъ, между прочимъ, что та изъ поэмъ Пушкина, въ

которой всего менѣе встрѣчаемъ мы сильныя потрясенія и глубокость чувствованій, есть однакоже самое совершенное изъ всѣхъ его произведеній по соразмѣрности частей, по гармоніи и полнотѣ изобрѣтенія, по богатству содержанія, по стройности переходовъ, по безпрерывности господствующаго тона, и, наконецъ, по вѣрности, разнообразію и оригинальности характеровъ. Напротивъ того Кавказскій Плѣнникъ, менѣе всѣхъ остальныхъ поэмъ удовлетворящій справедливымъ требованіямъ искусства, не смотря на то, богаче всѣхъ силою и глубокостію чувствованій.

Кавказскимъ Плѣнникомъ начинается *второй періодъ Пушкинской поэзіи*, который можно назвать *отголоскомъ лиры Байрона*.

Если въ Русланѣ и Людмилѣ Пушкинъ былъ исключительно *поэтомъ*, передавая вѣрно и чисто внушенія своей фантазіи; то теперь является онъ *поэтомъ-философомъ*, который въ самой поэзіи хочетъ выразить сомнѣнія своего разума, который всѣмъ предметамъ даетъ общія краски своего особеннаго воззрѣнія и часто отвлекается отъ предметовъ, чтобы жить въ области мышленія. Уже не волшебниковъ съ ихъ чудесами, не героевъ непобѣдимыхъ, не очарованные сады представляетъ онъ въ Кавказскомъ Плѣнникѣ, Онѣгинѣ и проч. — жизнь дѣйствительная и человѣкъ нашего времени съ ихъ пустотою, ничтожностію и прозою дѣлаются предметомъ его пѣсень. Но онъ не ищетъ, подобно Гете, возвысить предметъ свой, открывая поэзію въ жизни обыкновенной, а въ человѣкѣ нашего времени — полный отзывъ всего человѣчества; а, подобно Байрону, онъ въ цѣломъ мірѣ видитъ одно противорѣчіе, одну обманутую надежду, и почти каждому изъ его героевъ можно придать названіе *разочарованнаго*.

Не только своимъ воззрѣніемъ на жизнь и человѣка совпадается Пушкинъ съ пѣвцомъ Гяура; онъ сходствуетъ съ нимъ и въ остальныхъ частяхъ своей поэзіи: тотъ же способъ изложенія, тотъ же тонъ, та же форма поэмъ, такая же неопредѣленность въ цѣломъ и подробная отчетливость въ частяхъ, такое же расположеніе, и даже характеры лицъ по большей части столь сходные, что съ перваго взгляда ихъ почтешь за

чужеземцевъ-эмигрантовъ, переселившихся изъ Байронова міра въ творенія Пушкина.

Однакоже, не смотря на такое сходство съ Британскимъ поэтомъ, мы находимъ въ Онѣгинѣ, въ Цыганахъ, въ Кавказскомъ Плѣнникѣ и проч. столько красотъ самобытныхъ, принадлежащихъ исключительно нашему поэту, такую неподдѣльную свѣжесть чувствъ, такую вѣрность описаній, такую тонкость въ замѣчаніяхъ и естественность въ ходѣ, такую оригинальность въ языкѣ, и, наконецъ, столько національнаго, чисто Русскаго, что даже въ этомъ періодѣ его поэзіи нельзя назвать его простымъ подражателемъ. Нельзя однакоже допустить и того, что Пушкинъ случайно совпадается съ Байрономъ; что воспитанные однимъ вѣкомъ, и, можетъ быть, одинакими обстоятельствами, они должны были сойтись и въ образѣ мыслей и въ духѣ поэзіи, а слѣдовательно, и въ самыхъ формахъ ея; ибо у истинныхъ поэтовъ формы произведеній не бываютъ случайными, но также слиты съ духомъ цѣлаго, какъ тѣло съ душою въ произведеніяхъ Творца. Нельзя, говорю я, допустить сего мнѣнія потому, что Пушкинъ тамъ даже, гдѣ онъ всего болѣе приближается къ Байрону, все еще сохраняетъ столько своего особеннаго, обнаруживающаго природное его направленіе, что для вникавшихъ въ духъ обоихъ поэтовъ очевидно, что Пушкинъ не случайно встрѣтился съ Байрономъ, но заимствовалъ у него, или лучше сказать, невольно подчинялся его вліянію. Лира Байрона должна была отозваться въ своемъ вѣкѣ, бывъ сама голосомъ своего вѣка. Одно изъ двухъ противоположныхъ направленій нашего времени достигло въ ней своего выраженія. Мудрено ли, что и для Пушкина она звучала не даромъ? Хотя, можетъ быть, онъ уже слишкомъ много уступалъ ея вліянію, и—сохранивъ болѣе оригинальности, по крайней мѣрѣ въ наружной формѣ своихъ поэмъ, придалъ бы имъ еще большее достоинство.

Такое вліяніе обнаружилось прежде всего въ Кавказскомъ Плѣнникѣ. Здѣсь особенно видны тѣ черты сходства съ Байрономъ, которыя мы выше замѣтили; но расположеніе поэмы доказываетъ, что она была первымъ опытомъ Пушкина въ произведеніяхъ такого рода; ибо всѣ описанія Черкесовъ, ихъ

образа жизни, обычаевъ, игръ и т. д., которыми наполнена первая пѣснь, безполезно останавливаютъ дѣйствіе, разрываютъ нить интереса и не вяжутся съ тономъ цѣлой поэмы. Поэма вообще, кажется, имѣетъ не одно, но два содержанія, которыя не слиты вмѣстѣ, но являются каждое отдѣльно, развлекая вниманіе и чувства на двѣ различныя стороны. За то—какими достоинствами выкупается этотъ важный недостатокъ! Какая поэзія разлита на всѣ сцены! Какая свѣжесть, какая сила чувствъ! Какая вѣрность въ живыхъ описаніяхъ! Ни одно изъ произведеній Пушкина не представляетъ столько недостатковъ и столько красотъ.

Такое же, или, можетъ быть, еще большее сходство съ Байрономъ является въ Бахчисарайскомъ Фонтанѣ; но здѣсь искуснѣйшее исполненіе доказываетъ уже большую зрѣлость поэта. Жизнь гаремская также относится къ содержанію Бахчисарайскаго Фонтана, какъ Черкесскій бытъ къ содержанію Кавказскаго Плѣнника: оба составляютъ основу картины, и, не смотря на то, какъ различно ихъ значеніе! Все, что происходитъ между Гиреемъ, Маріею и Заремою, такъ тѣсно соединено съ окружающими предметами, что всю повѣсть можно назвать одною сценою изъ жизни гарема. Всѣ отступленія и перерывы связаны между собой однимъ общимъ чувствомъ; все стремится къ произведенію одного, главнаго впечатлѣнія. Вообще, видимый безпорядокъ изложенія есть неотмѣнная принадлежность Байроновскаго рода; но этотъ безпорядокъ есть только мнимый, и нестройное представленіе предметовъ отражается въ душѣ стройнымъ переходомъ ощущеній. Чтобы понять такого рода гармонію, надобно прислушиваться къ внутренней музыкѣ чувствованій, рождающейся изъ впечатлѣній отъ описываемыхъ предметовъ, между тѣмъ какъ самые предметы служатъ здѣсь только орудіемъ, клавишами, ударяющими въ струны сердца.

Эта душевная мелодія составляетъ главное достоинство Бахчисарайскаго Фонтана. Какъ естественно, гармонически, восточная нѣга, восточное сладострастіе, слилися здѣсь съ самыми сильными порывами южныхъ страстей! Въ противоположности роскошнаго описанія гарема съ мрачностію главнаго происшествія виденъ творецъ Руслана, изъ безсмертнаго міра очарова-

ній спустившійся на землю, гдѣ среди разногласія страстей и несчастій, онъ еще не позабылъ чувства упоительнаго сладострастія. Его поэзію въ Бахчисарайскомъ Фонтанѣ можно сравнить съ восточною Пери, которая, утративъ рай, еще сохранила красоту неземную; ея видъ задумчивъ и мраченъ; сквозь притворную холодность замѣтно сильное волненіе души; она быстро и неслышно, какъ духъ, какъ Зарема, пролетаетъ мимо насъ, одѣтая густымъ облакомъ, и мы плѣняемся тѣмъ, что видѣли,. а еще болѣе тѣмъ, чѣмъ настроенное воображеніе невольно дополняетъ незримое. Тонъ всей поэмы болѣе всѣхъ другихъ приближается къ Байроновскому.

За то, далѣе всѣхъ отстоитъ отъ Байрона поэма Разбойники, не смотря на то, что содержаніе, сцены, описанія, все въ ней можно назвать сколкомъ съ Шильйонскаго Узника. Она больше каррикатура Байрона, нежели подражаніе ему. Бонниваръ страдаетъ для того, чтобы

Спасти души своей любовь;

и какъ ни жестоки его мученія, но въ нихъ есть какая-то поэзія, которая принуждаетъ насъ къ участію; между тѣмъ какъ подробное описаніе страданій пойманныхъ разбойниковъ поселяетъ въ душѣ одно отвращеніе, чувство, подобное тому, какое произвелъ бы видъ мученія преступника, осужденнаго къ заслуженной казни. Можно рѣшительно сказать, что въ этой поэмѣ нѣтъ ничего поэтическаго, выключая вступленія и красоту стиховъ, вездѣ и всегда свойственную Пушкину.

Сія красота стиховъ всего болѣе видна въ Цыганахъ, гдѣ мастерство стихосложенія достигло высшей степени своего совершенства и гдѣ искусство приняло видъ свободной небрежности. Здѣсь каждый звукъ, кажется, непринужденно вылился изъ души и, не смотря на то, каждый стихъ получилъ послѣднюю отработку, за изключеніемъ, можетъ быть, двухъ или трехъ изъ цѣлой поэмы: все чисто, округлено и вольно.

Но соотвѣтствуетъ ли содержаніе поэмы достоинству ея отдѣлки? — Мы видимъ народъ кочующій, полудикій, который не знаетъ законовъ, презираетъ роскошь и просвѣщеніе, и любитъ свободу болѣе всего; но народъ сей знакомъ съ чувствами,

свойственными самому утонченному общежитію: воспоминаніе прежней любви и тоска по измѣнившей Маріулѣ наполняютъ всю жизнь стараго Цыгана. Но зная любовь исключительную, вѣчную, Цыганы не знаютъ ревности; имъ непонятны чувства Алеко. Подумаешь, авторъ хотѣлъ представить золотой вѣкъ, гдѣ люди справедливы, не зная законовъ; гдѣ страсти никогда не выходятъ изъ границъ должнаго; гдѣ все свободно, но ничто не нарушаетъ общей гармоніи, и внутреннее совершенство есть слѣдствіе не трудной образованности, но счастливой неиспорченности совершенства природнаго. Такая мысль могла бы имѣть высокое поэтическое достоинство. Но здѣсь, къ несчастію, прекрасный полъ разрушаетъ все очарованіе, и между тѣмъ какъ бѣдные Цыганы любятъ *горестно и трудно*, ихъ жены, *какъ вольная луна, на всю природу мимоходомъ изливаютъ равное сіянье*. Совмѣстно ли такое несовершенство женщинъ съ такимъ совершенствомъ народа? — Либо Цыганы не знаютъ вѣчной, исключительной привязанности; либо они ревнуютъ непостоянныхъ женъ своихъ, и тогда месть и другія страсти также должны быть имъ не чужды; тогда Алеко не можетъ уже казаться имъ страннымъ и непонятнымъ; тогда весь бытъ Европейцевъ отличается отъ нихъ только выгодами образованности; тогда, вмѣсто золотаго вѣка, они представляютъ просто полудикій народъ, несвязанный законами, бѣдный, несчастный, какъ дѣйствительные Цыганы Бессарабіи; тогда вся поэма противорѣчитъ самой себѣ.

Но, можетъ быть, мы не должны судить о Цыганахъ вообще по одному отцу Земфиры; можетъ быть, его характеръ не есть характеръ его народа. Но если онъ существо необыкновенное, которое всегда и при всякихъ обстоятельствахъ образовалось бы одинаково, и, слѣдовательно, всегда составляетъ исключеніе изъ своего народа; то цѣль поэта все еще остается неразгаданною. Ибо, описывая Цыганъ, выбрать изъ среды ихъ именно того, который противорѣчитъ ихъ общему характеру, и его одного представить предъ читателемъ, оставляя другихъ въ неясномъ отдаленіи: — то же, что, описывая характеръ человѣка, приводить въ примѣръ именно тѣ изъ его дѣйствій, которыя находятся въ разногласіи съ описаніемъ.

Впрочемъ, характеръ Алеко, эпизоды и всѣ части, отдѣльно взятыя, такъ богаты поэтическими красотами, что если бы можно было, прочтя поэму, позабыть ея содержаніе и сохранить въ душѣ память одного наслажденія, доставленнаго ею; то ее можно бы было назвать однимъ изъ лучшихъ произведеній Пушкина. Но въ томъ-то и заключается отличіе чувства изящнаго отъ простаго удовольствія, что оно дѣйствуетъ на насъ еще больше въ послѣдующія минуты воспоминанія и отчета, нежели въ самую минуту перваго наслажденія. Созданія, истинно-поэтическія, *живутъ* въ нашемъ воображеніи; мы забываемся въ нихъ, развиваемъ неразвитое, разсказываемъ недосказанное и, переселяясь такимъ образомъ въ новый міръ, созданный поэтомъ, живемъ просторнѣе, полнѣе и счастливѣе, нежели въ старомъ дѣйствительномъ. Такъ и Цыганскій бытъ завлекаетъ сначала нашу мечту; но при первомъ покушеніи присвоить его нашему воображенію, разлетается въ ничто, какъ туманы Ледовитаго моря, которые, принимая видъ твердой земли, заманиваютъ къ себѣ любопытнаго путешественника и при его же глазахъ, разогрѣтые лучами солнца, улетаютъ на небеса.

Но есть качество въ Цыганахъ, которое вознаграждаетъ насъ нѣкоторымъ образомъ за нестройность содержанія. Качество сіе есть большая самобытность поэта. Справедливо сказалъ авторъ Обозрѣнія Словесности за 1827 годъ (*), что въ сей поэмѣ замѣтна какая-то борьба между идеальностью Байрона и живописною народностью поэта Русскаго. Въ самомъ дѣлѣ: возьмите описанія Цыганской жизни отдѣльно; смотрите на отца Земфиры не какъ на Цыгана, но просто какъ на старика, не заботясь о томъ, къ какому народу онъ принадлежитъ; вникните въ эпизодъ объ Овидіѣ, — и полнота созданій, развитая до подробностей, одушевленная поэзіею оригинальною, докажетъ вамъ, что Пушкинъ уже почувствовалъ силу дарованія самостоятельнаго, свободнаго отъ постороннихъ вліяній.

Всѣ недостатки въ Цыганахъ зависятъ отъ противорѣчія двухъ разногласныхъ стремленій: одного самобытнаго, другаго Байроническаго; посему самое несовершенство поэмы есть для насъ залогъ усовершенствованія поэта.

(*) См. 1-й N Моск. Вѣстн. 1828 года.

Еще болѣе стремленіе къ самобытному роду поэзіи обнаруживается въ Онѣгинѣ, хотя не въ первыхъ главахъ его, гдѣ вліяніе Байрона очевидно; не въ образѣ изложенія, который принадлежитъ Донъ-Жуану и Беппо, и не въ характерѣ самаго Онѣгина, однородномъ съ характеромъ Чильдъ-Гарольда. Но чѣмъ болѣе поэтъ отдаляется отъ главнаго героя и забывается въ постороннихъ описаніяхъ, тѣмъ онъ самобытнѣе и національнѣе.

Время Чильадъ-Грольдовъ, слава Богу, еще не настало для нашего отечества: молодая Россія не участвовала въ жизни западныхъ государствъ, и народъ, какъ человѣкъ, не старѣется чужими опытами. Блестящее поприще открыто еще для Русской дѣятельности; всѣ роды искусствъ, всѣ отросли познаній еще остаются неусвоенными нашему отечеству; намъ дано еще: надѣяться — что же дѣлать у насъ разочарованному Чильдъ-Гарольду?

Посмотримъ, какія качества сохранилъ и утратилъ цвѣтъ Британіи, бывъ пересаженъ на Русскую почву.

Любимая мечта Британскаго поэта есть существо необыкновенное, высокое. Не бѣдность, но преизбытокъ внутреннихъ силъ дѣлаетъ его холоднымъ къ окружающему міру. Безсмертная мысль живетъ въ его сердцѣ и день и ночь, поглощаетъ въ себя все бытіе его и отравляетъ всѣ наслажденія. Но въ какомъ бы видѣ она ни являлась: какъ гордое презрѣніе къ человѣчеству, или какъ мучительное раскаяніе, или какъ мрачная безнадежность, или какъ неутолимая жажда забвенія, — эта мысль всеобъемлющая, вѣчная, — что она, если не невольное, постоянное стремленіе къ лучшему, тоска по недосягаемомъ совершенствѣ? Нѣтъ ничего общаго между Чильдъ-Гарольдомъ и толпою людей обыкновенныхъ: его страданія, его мечты, его наслажденія, непонятны для другихъ; только высокія горы да голые утесы говорятъ ему отвѣтныя тайны, ему одному слышныя. Но потому именно, что онъ отличенъ отъ обыкновенныхъ людей, можетъ онъ отражать въ себѣ духъ своего времени и служить границею съ будущимъ; ибо *только разногласіе связуетъ два различныя созвучія.*

Напротивъ того, Онѣгинъ есть существо совершенно обыкно-

венное и ничтожное. Онъ также равнодушенъ ко всему окружающему; но не ожесточеніе, а неспособность любить сдѣлали его холоднымъ. Его молодость также прошла въ вихрѣ забавъ и разсѣянія; но онъ не завлеченъ былъ кипѣніемъ страстной, ненасытной души, но на паркетѣ провелъ пустую, холодную жизнь моднаго франта. Онъ также бросилъ свѣтъ и людей; но не для того, чтобы въ уединеніи найдти просторъ взволнованнымъ думамъ, но для того, что ему было равно скучно вездѣ,

...что онъ равно зѣвалъ
Средь модныхъ и старинныхъ залъ.

Онъ не живетъ внутри себя жизнью особенною, отмѣнною отъ жизни другихъ людей, и презираетъ человѣчество потому только, что не умѣетъ уважать его. Нѣтъ ничего обыкновеннѣе такого рода людей, и всего меньше поэзіи въ такомъ характерѣ.

Вотъ Чильдъ-Гарольдъ въ нашемъ отечествѣ,—и честь поэту, что онъ представилъ намъ не настоящаго; ибо, какъ мы уже сказали, это время еще не пришло для Россіи, и дай Богъ, чтобы никогда не приходило.

Самъ Пушкинъ, кажется, чувствовалъ пустоту своего героя, и потому нигдѣ не старался коротко познакомить съ нимъ своихъ читателей. Онъ не далъ ему опредѣленной физіогноміи, и не одного человѣка, но цѣлый классъ людей представилъ онъ въ его портретѣ: тысячѣ различныхъ характеровъ можетъ принадлежать описаніе Онѣгина.

Эта пустота главнаго героя была, можетъ быть, одною изъ причинъ пустоты содержанія первыхъ пяти главъ романа; но форма повѣствованія, вѣроятно, также къ тому содѣйствовала. Тѣ, которые оправдываютъ ее, ссылаясь на Байрона, забываютъ въ какомъ отношеніи находится форма Беппо и Донъ-Жуана къ ихъ содержанію и характерамъ главныхъ героевъ.

Что касается до поэмы Онѣгинъ вообще, то мы не имѣемъ права судить по началу о сюжетѣ дѣла, хотя съ трудомъ можемъ представить себѣ возможность чего либо стройнаго, полнаго и богатаго въ замыслѣ при такомъ началѣ. Впрочемъ, кто можетъ разгадать границы возможнаго для поэтовъ, каковъ Пушкинъ? — имъ суждено всегда удивлять своихъ критиковъ.

Недостатки Онѣгина суть, кажется, послѣдняя дань Пушкина Британскому поэту. Но всѣ неисчислимыя красоты поэмы: Ленскій, Татьяна, Ольга, Петербургъ, деревня, сонъ, зима, письмо и пр. и пр.—суть неотъемлемая собственность нашего поэта. Здѣсь-то обнаружилъ онъ ясно природное направленіе своего генія; и эти слѣды самобытнаго созиданія въ Цыганахъ и Онѣгинѣ, соединенные съ извѣстною сценою изъ Бориса Годунова (*), составляютъ, не истощая, третій періодъ развитія его поэзіи, который можно назвать ***періодомъ поэзіи Русско-Пушкинской***. Отличительныя черты его суть: живописность, какая-то безпечность, какая-то особенная задумчивость, и, наконецъ, что-то невыразимое, понятное лишь Русскому сердцу; ибо какъ назвать то чувство, которымъ дышатъ мелодіи Русскихъ пѣсень, къ которому чаще всего возвращается Русскій народъ, и которое можно назвать центромъ его сердечной жизни?

Въ этомъ періодѣ развитія поэзіи Пушкина особенно замѣтна способность забываться въ окружающихъ предметахъ и текущей минутѣ. Таже способность есть основаніе Русскаго характера: она служитъ началомъ всѣхъ добродѣтелей и недостатковъ Русскаго народа; изъ нея происходитъ смѣлость, безпечность, неукротимость минутныхъ желаній, великодушіе, неумѣренность, запальчивость, понятливость, добродушіе, и пр. и пр.

Не нужно, кажется, высчитывать всѣхъ красотъ Онѣгина, анатомировать характеры, положенія и вводныя описанія, чтобы доказать превосходство послѣднихъ произведеній Пушкина надъ прежними. Есть вещи, которыя можно чувствовать, но нельзя доказать иначе, какъ написавши нѣсколько томовъ комментарій на каждую страницу. Характеръ Татьяны есть одно изъ лучшихъ созданій нашего поэта; мы не будемъ говорить объ немъ, ибо онъ самъ себя выказываетъ вполнѣ.

Для чего хвалить прекрасное не также легко, какъ находить недостатки? — Съ какимъ бы восторгомъ высказали мы всю несравненность тѣхъ наслажденій, которыми мы одолжены поэту, и которыя, какъ самоцвѣтные камни въ простомъ ожерельѣ, блестятъ въ однообразной нити жизни Русскаго народа!

(*) Мы не говоримъ объ мѣлкихъ сочиненіяхъ Пушкина, которыя обнаруживаютъ также три періода развитія его поэзіи.

Въ упомянутой сценѣ изъ Бориса Годунова особенно обнаруживается зрѣлость Пушкина. Искусство, съ которымъ представленъ, въ столь тѣсной рамѣ, характеръ вѣка, монашеская жизнь, характеръ Пимена, положеніе дѣлъ и начало завязки; чувство особенное, трагически спокойное, которое внушаютъ намъ жизнь и присутствіе лѣтописца; новый и разительный способъ, посредствомъ котораго поэтъ знакомитъ насъ съ Гришкою; наконецъ, языкъ неподражаемый, поэтическій, вѣрный, — все это вмѣстѣ заставляетъ насъ ожидать отъ трагедіи, скажемъ смѣло, чего-то *великаго*.

Пушкинъ рожденъ для драматическаго рода. Онъ слишкомъ многостороненъ, слишкомъ объективенъ (*), чтобы быть лирикомъ; въ каждой изъ его поэмъ замѣтно невольное стремленіе дать особенную жизнь отдѣльнымъ частямъ, стремленіе, часто клонящееся ко вреду цѣлаго въ твореніяхъ эпическихъ, но необходимое, драгоцѣнное для драматика.

Утѣшительно въ постепенномъ развитіи поэта замѣчать безпрестанное усовершенствованіе; но еще утѣшительнѣе видѣть сильное вліяніе, которое поэтъ имѣетъ на своихъ соотечественниковъ. Не многимъ, избраннымъ судьбою, досталось въ удѣлъ еще при жизни наслаждаться ихъ любовью. Пушкинъ принадлежитъ къ ихъ числу, и это открываетъ намъ еще одно важное качество въ характерѣ его поэзіи: ***соотвѣтственность съ своимъ временемъ***.

Мало быть поэтомъ, чтобы быть народнымъ; надобно еще быть воспитаннымъ, такъ сказать, въ средоточіи жизни своего народа, раздѣлять надежды своего отечества, его стремленіе, его утраты, — словомъ, жить его жизнію и выражать его невольно, выражая себя. Пусть случай такое счастіе; но не также ли мало зависятъ отъ насъ красота, умъ, прозорливость, всѣ тѣ качества, которыми человѣкъ плѣняетъ человѣка? И уже ли качества сіи существеннѣе достоинства: отражать въ себѣ жизнь своего народа?

—

(*) Мы принуждены употреблять это выраженіе, покуда не имѣемъ однозначительнаго на нашемъ языкѣ.

ОБОЗРѢНІЕ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

ЗА 1829 ГОДЪ.

Прежде нежели мы приступимъ къ обозрѣнію словесности прошедшаго года, я прошу просвѣщенныхъ читателей обратить вниманіе на сочиненіе, которое, хотя вышло ранѣе 29 года, но имѣло вліяніе на его текущую словесность; которое должно имѣть еще большее дѣйствіе на будущую жизнь нашей литературы; которое успѣшнѣе всѣхъ другихъ произведеній Русскаго пера должно очистить намъ дорогу къ просвѣщенію Европейскому; которымъ мы можемъ гордиться передъ всѣми государствами, гдѣ только выходятъ сочиненія такого рода; котораго изданіе (выключая, можетъ быть, учрежденіе Ланкастерскихъ школъ) было самымъ важнымъ событіемъ для блага Россіи въ теченіе многихъ лѣтъ, и важнѣе нашихъ блистательныхъ побѣдъ за Дунаемъ и Араратомъ, важнѣе взятія Эрзерума, и той славной тѣни, которую бросили Русскія знамена на стѣны Царьградскія. Эта книга, — читатель уже назвалъ *Цензурный уставъ*.

Вліяніе его на текущую словесность прошедшаго года, хотя мало примѣтное, было тѣмъ не менѣе дѣйствительно. Наши журналы заимствовали болѣе изъ журналовъ иностранныхъ; переводы, хотя по большей части дурные, передавали намъ болѣе слѣдовъ умственной жизни нашихъ сосѣдей, и отъ того вся литература наша непримѣтно приближалась болѣе къ жизни обще-Европейской. Самыя перебранки нашихъ журналовъ, ихъ неприличныя критики, ихъ дикій тонъ, ихъ странныя личности, ихъ вѣжливости негородскія, — все это было похоже на нестройныя движенія распеленатаго ребенка, движенія необходимыя для развитія силы, для будущей красоты и здоровья.

Но, чтобы вѣрнѣе опредѣлить особенность нашей литературы прошедшаго года, открыть въ ней признаки господствую-

щаго направленія нашей словесности вообще и ея отношеніе къ цѣлостному просвѣщенію Европы, бросимъ бѣглый взглядъ на характеръ всей литературы нашей девятьнадцатаго столѣтія; ибо одно прошедшее даетъ цѣну и указываетъ мѣсто настоящему, опредѣляя дорогу для будущаго.

Литературу нашу девятьнадцатаго столѣтія можно раздѣлить на три эпохи, различныя особенностью направленія каждой изъ нихъ, но связанныя единствомъ ихъ развитія. Характеръ первой эпохи опредѣляется вліяніемъ Карамзина; средоточіемъ второй была Муза Жуковскаго; Пушкинъ можетъ быть представителемъ третьей.

Начало девятьнадцатаго столѣтія въ литературномъ отношеніи представляетъ рѣзкую противоположность съ концомъ восемнадцатаго. Въ теченіе немногихъ лѣтъ просвѣщеніе сдѣлало столь быстрые успѣхи, что съ перваго взгляда они являются неимовѣрными. Кажется, кто-то разбудилъ полусонную Россію. Изъ лѣниваго равнодушія она вдругъ переходитъ къ жаждѣ образованія, ищетъ ученія, книгъ, стыдится своего прежняго невѣжества и спѣшитъ породниться съ иноземными мнѣніями. Когда явился Карамзинъ, уже читатели для него были готовы; а его удивительные успѣхи доказываютъ не столько силу его дарованій, сколько повсюду распространившуюся любовь къ просвѣщенію.

Но остановимся здѣсь, и подивимся странностямъ судьбы человѣческой. Тотъ, кому просвѣщеніе наше обязано столь быстрыми успѣхами, кто подвинулъ на полвѣка образованность нашего народа, кто всю жизнь употребилъ во благо отечества и уже видѣлъ плоды своего вліянія на всѣхъ концахъ Русскаго царства, человѣкъ, которому Россія обязана столькимъ, — онъ умеръ недавно, почти всѣми забытый, близъ той Москвы, которая была свидѣтельницею и средоточіемъ его блестящей дѣятельности. Имя его едва извѣстно теперь большей части нашихъ современниковъ; и еслибы Карамзинъ не говорилъ объ немъ, то можетъ быть многіе, читая эту статью, въ первый разъ услышали бы о дѣлахъ Новикова и его товарищей, и усомнились бы въ достовѣрности столь близкихъ къ намъ событій. Память объ немъ почти исчезла; участники его трудовъ разо-

шлись, утонули въ темныхъ заботахъ частной дѣятельности; многихъ уже нѣтъ; но дѣло, ими совершенное, осталось: оно живетъ, оно приноситъ плоды и ищетъ благодарности потомства.

Новиковъ не распространилъ, а создалъ у насъ любовь къ наукамъ и охоту къ чтенію. Прежде него, по свидѣтельству Карамзина, были въ Москвѣ двѣ книжныя лавки, продававшія ежегодно на 10 тысячъ рублей; черезъ нѣсколько лѣтъ ихъ было уже 20, и книгъ продавалось на 200 тысячъ. Кромѣ того Новиковъ завелъ книжныя лавки въ другихъ и въ самыхъ отдаленныхъ городахъ Россіи; распускалъ почти даромъ тѣ сочиненія, которыя почиталъ особенно важными; заставлялъ переводить книги полезныя, повсюду распространялъ участниковъ своей дѣятельности, и скоро не только вся Европейская Россія, но и Сибирь начала читать. Тогда отечество наше было, хотя не надолго, свидѣтелемъ событія, почти единственнаго въ лѣтописяхъ нашего просвѣщенія: рожденія ***общаго мнѣнія***.

Такъ дѣйствовалъ типографщикъ Новиковъ. Замѣчательно, что почти въ то же время, другой типографщикъ, болѣе славный, болѣе счастливый, типографщикъ Франклинъ, дѣйствовалъ почти такимъ же образомъ на противоположномъ концѣ земнаго шара; но послѣдствія ихъ дѣятельности были столь же различны, сколько Россія отлична отъ Соединенныхъ Штатовъ.

Можетъ быть, самъ Карамзинъ обязанъ своею первою образованностью Новикову и его друзьямъ-единомышленникамъ. По крайней мѣрѣ въ ихъ кругу началось первое развитіе его блестящихъ дарованій, и онъ оставилъ намъ трогательное описаніе своей дружбы съ однимъ изъ нихъ, съ Г-мъ П. (*) Говоритъ ли о другомъ товарищѣ Новикова, объ этомъ славномъ Ленцѣ, объ надеждѣ и удивленіи просвѣщенной Европы, который у насъ, въ нищетѣ и крайности, замерзъ на большой дорогѣ (**)! —

Карамзинъ засталъ свою публику подъ вліяніемъ мистицизма, странно перемѣшаннаго съ мнѣніями Французскими изъ середины восьмнадцатаго столѣтія. Этимъ двумъ направленіямъ над-

(*) Смотри: Соч. Кар. статью: *Цвѣтокъ на гробѣ моего Агатона.*

(**) Объ сочиненіяхъ Ленца смотри прекрасную статью Экштейна въ его журналѣ *le Catholique* 1829 года.

лежало сосредоточиться, и они естественно соединились въ томъ филантропическомъ образѣ мыслей, которымъ дышатъ всѣ первыя сочиненія Карамзина. Кажется, онъ воспитанъ былъ для своей публики и публика для него. Каждое слово его расходилось по всей Россіи; прозу его учили наизусть и восхищались его стихами, не смотря на ихъ непоэтическую отдѣлку,—такъ согласовался онъ съ умонаклонностью своего времени. Между тѣмъ всеобщность его вліянія доказываетъ намъ, что уже при первомъ рожденіи нашей литературы мы въ самой поэзіи искали преимущественно философіи, и за образомъ мнѣнія забывали образъ выраженія. До сихъ поръ еще мы не знаемъ, что такое вымыслъ и фантазія; какая-то правдивость мечты составляетъ оригинальность Русскаго воображенія; и то, что мы называемъ *чувствомъ*, есть высшее, что мы можемъ постигнуть въ произведеніяхъ стихотворныхъ.

Направленіе, данное Карамзинымъ, еще болѣе открыло нашу словесность вліянію словесности Французской. Но именно потому, что мы въ литературѣ искали философіи, искали полнаго выраженія человѣка, образъ мыслей Карамзина долженъ былъ и плѣнить насъ сначала, и въ послѣдствіи сдѣлаться для насъ неудовлетворительнымъ. Человѣкъ не весь утопаетъ въ жизни дѣйствительной, особенно среди народа недѣятельнаго. Лучшая сторона нашего бытія, сторона идеальная, мечтательная, та, которую не жизнь намъ даетъ, но мы придаемъ нашей жизни; которую преимущественно развиваетъ поэзія Нѣмецкая,—оставалась у насъ еще невыраженною. Французско-Карамзинское направленіе не обнимало ее. Люди, для которыхъ образъ мыслей Карамзина былъ довершеніемъ, вѣнцомъ развитія собственнаго, оставались спокойными; но тѣ, которые начали воспитаніе мнѣніями Карамзинскими, съ развитіемъ жизни увидѣли неполноту ихъ и чувствовали потребность новаго. Старая Россія отдыхала; для молодой нуженъ былъ *Жуковскій*.

Идеальность, чистота и глубокость чувствъ; святость прошедшаго; вѣра въ прекрасное, въ неизмѣняемость дружбы, въ вѣчность любви, въ достоинство человѣка и благость Провидѣнія; стремленіе къ неземному; равнодушіе ко всему обыкновенному, ко всему что не *душа*, что не *любовь*, — однимъ словомъ,

вся *поэзія* жизни, все *сердце души*, если можно такъ сказать, явилось намъ въ одномъ существѣ, и облеклось въ плѣнительный образъ Музы Жуковскаго. Въ ея задумчивыхъ чертахъ прочли мы отвѣтъ на неясное стремленіе къ лучшему и сказали: «вотъ чего не доставало намъ!» — Еще большею прелестью украсили ее любовь къ отечеству, ужасъ и слава народной войны.

Но поэзія Жуковскаго, хотя совершенно оригинальная въ средоточіи своего бытія (въ любви къ прошедшему, которую можно назвать господствующимъ тономъ его лиры) (*), была однакоже воспитана на пѣсняхъ Германіи. Она передала намъ ту идеальность, которая составляетъ отличительный характеръ Нѣмецкой жизни, поэзіи и философіи; и такимъ образомъ въ составъ нашей литературы входили двѣ стихіи: умонаклонность Французская и Германская.

Между тѣмъ лира Жуковскаго замолчала. Изрѣдка только отрывистые звуки знакомыми переливами напоминали намъ о ея прежнихъ пѣсняхъ. Но развитіе духа народнаго не могло остановиться. Какъ мысль зоветъ звукъ, такъ народъ ищетъ поэта. Ему необходимъ наперсникъ, который бы сердцемъ отгадывалъ его внутреннюю жизнь, а въ восторженныхъ пѣсняхъ велъ дневникъ развитію господствующаго направленія. Поэтъ для настоящаго, что историкъ для прошедшаго: проводникъ народнаго самопознанія.

Литература наша, какъ мы уже сказали, представляла два борящіяся начала; но и филантропизмъ Французскій и Нѣмецкій идеализмъ совпадались въ одномъ стремленіи: въ стремленіи къ *лучшей дѣйствительности*. Пушкинъ выразилъ его сначала подъ свѣтлою краскою довѣрчивой надежды, потомъ подъ мрачнымъ покровомъ Байроновскаго негодованія къ существующему.

Но ни то, ни другое не могло быть продолжительнымъ: это двѣ крайности колебанія маятника, ищущаго равновѣсія. Между

(*) Авторъ отъ того не распространяется здѣсь о характерѣ произведеній Жуковскаго, что въ этомъ же альманахѣ (т. е. *въ Денницѣ*) предполагалъ онъ напечатать особенный разборъ его стихотвореній, который однакожъ, по нѣкоторымъ причинамъ остался неоконченнымъ.

безотчетностью надежды и Байроновскимъ скептицизмомъ есть середина: это довѣренность въ судьбу и мысль, что сѣмена *желаннаго будущаго* заключены *въ дѣйствительности настоящаго;* что въ необходимости есть Провидѣніе; что если прихотливое созданіе мечты гибнетъ, какъ мечта, за то изъ *совокупности существующаго* должно образоваться лучшее прочное. Оттуда *уваженіе къ дѣйствительности*, составляющее средоточіе той степени умственнаго развитія, на которой теперь остановилось просвѣщеніе Европы и которая обнаруживается историческимъ направленіемъ всѣхъ отраслей человѣческаго бытія и духа.

Исторія въ наше время есть центръ всѣхъ познаній, наука наукъ, единственное условіе всякаго развитія; направленіе историческое обнимаетъ *все*. Политическія мнѣнія, для пріобрѣтенія своей достовѣрности должны обратиться къ событіямъ, слѣдовательно, къ Исторіи: такъ Тьерри, чтобы защитить нѣкоторыя положенія въ парламентѣ, написалъ Исторію Франціи. Философія, сомкнувши кругъ своего развитія сознаніемъ тожества ума и бытія, устремила всю дѣятельность на примѣненіе умозрѣній къ дѣйствительности, къ событіямъ, къ исторіи природы и человѣка. Математика остановилась въ открытіи общихъ законовъ и обратилась къ частнымъ приложеніямъ, къ сведенію теоріи на существенность дѣйствительности. Поэзія, выраженіе всеобщности человѣческаго духа, должна была также перейти въ дѣйствительность и сосредоточиться въ родѣ историческомъ.

Вѣкъ не могъ не имѣть вліянія и на Пушкина: мы увидимъ это, говоря о Полтавѣ. Но обратимся теперь къ прошедшему году; теперь, съ высоты общей мысли, намъ будетъ легче обнять весь горизонтъ нашей словесности и указать настоящее мѣсто ея частнымъ явленіямъ.

Послѣ всего будемъ мы говорить объ нашихъ журналахъ и альманахахъ. О другихъ изданіяхъ временныхъ, хотя и неперіодическихъ, упомянемъ только въ отношеніи къ важнѣйшимъ сочиненіямъ, или въ примѣръ и доказательство нѣкоторыхъ оттѣнковъ характера нашей литературы; но преимущественно обратимся къ тѣмъ первокласснымъ произведеніямъ нашей словесности, которыя блеснули на литературномъ небѣ прошедшаго

года такъ ярко, какъ близкія кометы, и утвердились на немъ такъ прочно, какъ неподвижныя звѣзды, чтобы навсегда свѣтить и указывать путь.

Первое, что привлекаетъ здѣсь наше вниманіе, это XII томъ Исторіи Россійскаго Государства, послѣдній плодъ трудовъ великихъ, послѣдній подвигъ жизни полезной, священной для каждаго Русскаго. XII томъ Исторіи Россійскаго Государства, кажется, еще превзошелъ прежніе силою краснорѣчія, обширностью объема, вѣрностью изображеній, ясностью, стройностью картинъ, и этимъ ровнымъ блескомъ, этою чистотою, твердостью бриллiантовою Карамзинскаго слога. Вообще достоинство его Исторіи ростетъ вмѣстѣ съ жизнію протекшихъ временъ. Чѣмъ ближе къ настоящему, тѣмъ полнѣе раскрывается передъ нимъ судьба нашего отечества; чѣмъ сложнѣе картина событій, тѣмъ она стройнѣе отражается въ зеркалѣ его воображенія, въ этой чистой совѣсти нашего народа. — Не мѣсто здѣсь входить въ подробный разборъ Карамзина и не по силамъ намъ оцѣнить его достоинство. Въ молчаніи почтимъ память безсмертнаго, и съ благоговѣніемъ принесемъ дань благодарности и удивленія на его свѣжую могилу.

Но какъ умолчать о его критикахъ, дѣлавшихъ столько шуму въ нашей литературѣ? — Почти каждое произведеніе Карамзина было яблокомъ раздора для нашей полупросвѣщенной словесности. Это тѣмъ удивительнѣе, что Карамзинъ ни разу не отвѣчалъ ни на одну критику и не оскорбилъ ни одного самолюбія; что возвышенность и до конца неизмѣнившаяся чистота его души и жизни не оставили никакого оправданія для личной вражды; что, наконецъ, слава его, казалось, не могла не заглушить внушеній низкой зависти. Не смотря на то, сколь немногіе изъ критиковъ сохранили въ глазахъ публики характеръ безпристрастія! — Но если Карамзинъ имѣлъ враговъ, за то истинными друзьями никто не былъ счастливѣе Карамзина, и никто не имѣлъ столькихъ почитателей, столькихъ поклонниковъ, столькихъ горячихъ защитниковъ своей славы. Отъ того первый шагъ его въ область словесности уже былъ ознаменованъ рожденіемъ партій. Онѣ раздѣляли почти всю просвѣщенную Россію на двѣ неравныя стороны, не засыпали въ

продолженіе всей жизни Карамзина и пережили его земное существованіе. — Чѣмъ выше звѣзда, тѣмъ гуще толпа родныхъ звѣздъ вокругъ нея, тѣмъ больше мѣста для темныхъ тучь подъ нею.

Всѣхъ критиковъ Исторіи Россійскаго Государства можно раздѣлить на два класса: къ первому принадлежатъ критики, нападающіе на частныя ошибки, неизбѣжныя въ трудѣ столь огромномъ, столь несоразмѣрномъ съ силами одного человѣка. Долго еще не извѣдать намъ вполнѣ бездоннаго моря народной жизни, затемненнаго его отдаленностью и мутностью источниковъ! — Признательности просвѣщенныхъ заслуживаютъ люди, посвятившіе себя изученію древности, когда съ достаточными силами, съ простотою, съ должнымъ уваженіемъ къ безсмертному историку, они исправляютъ погрѣшности, которыя естественно должны были вкрасться въ его Исторію. Но такъ ли поступаетъ большая часть нашихъ критиковъ? — Въ темныхъ подвалахъ архивскихъ они теряютъ всякое чувство приличія, и выходятъ оттуда съ червями самолюбія и зависти, съ пылью мѣлкихъ придирокъ и въ грязи неуваженія къ достоинству. Сюда принадлежатъ нѣкоторыя статьи, помѣщенныя въ Московскомъ Вѣстникѣ 28 и 29 годовъ, и заслужившія справедливое негодованіе всѣхъ друзей Русской исторіи и покойнаго историографа. — Но все справедливое справедливо только въ границахъ, и тѣ, которые, за помѣщеніе сихъ статей поставили издателя въ одинъ разрядъ съ сочинителемъ и включили его въ число противниковъ Карамзина, столько же неправы, сколько самъ издатель, помѣстившій сіи статьи. Если послѣдній нашелъ въ нихъ замѣчанія, казавшіяся ему истинными, то, по моему мнѣнію, онъ долженъ былъ требовать отъ автора исключенія всего неприличнаго, и въ случаѣ отказа, совсѣмъ не печатать его рецензій, съ потерею которыхъ публика потеряла бы весьма немного. Но если Г. Погодинъ поступилъ иначе, то онъ заслуживаетъ упрекъ, какъ журналистъ, а не какъ человѣкъ и писатель, неимѣющій должнаго уваженія къ Карамзину. Собственныя сочиненія Г. Погодина служатъ тому лучшимъ доказательствомъ.

Второй разрядъ критиковъ нападаетъ на систему и планъ

цѣлаго, на понятія историографа объ исторіи вообще. Они обвиняютъ Карамзина въ томъ, что онъ не обнимаетъ *всѣхъ* сторонъ и оттѣнковъ нашей прошедшей жизни. Но критики не чувствуютъ, что если упреки ихъ справедливы, то они служатъ не порицаніемъ, а похвалою Исторіи Россійскаго Государства. Ибо невозможно обнять народной жизни во всѣхъ ея подробностяхъ, покуда частныя отрасли ея развитія не обработаны въ отдѣльныхъ твореніяхъ и не сведены къ послѣднимъ выкладкамъ. Отъ того, изъ столькихъ историковъ, признанныхъ за образцовыхъ, критики не назовутъ намъ двухъ, писавшихъ по одному плану. Напротивъ того каждый бытописатель избиралъ и преслѣдовалъ преимущественно одну сторону жизни описываемаго имъ государства, оставляя прочія въ тѣни и въ отдаленіи. Если Карамзинъ, слѣдуя ихъ примѣру, ограничился преимущественнымъ изложеніемъ политическихъ событій и недосказалъ многаго въ другихъ отношеніяхъ, то это ограниченье было единственнымъ условіемъ возможности его успѣха; и намъ кажется весьма страннымъ упрекать Карамзина за неполноту его картины тогда, когда и съ этой неполной картины мы еще до сихъ поръ не можемъ снять даже легкаго очерка, чтобы оцѣнить ее какъ должно. — Пусть люди съ талантомъ пишутъ другія исторіи; пусть изберутъ они средоточіемъ своихъ изысканій частную жизнь нашего народа, или измѣненіе нашихъ гражданскихъ постановленій, или воспитаніе нашего просвѣщенія, или ходъ и успѣхи торговли, или монеты и медали:— трудъ ихъ можетъ быть полезенъ и достиженіе цѣли возможно, ибо они пойдутъ по дорогѣ, уже прочищенной.

Кромѣ сихъ двухъ разрядовъ есть еще третій родъ критиковъ, которымъ самая ничтожность ихъ даетъ право на особенный классъ: это *критики невпопады*. Равно бѣдные познаніями историческими и литературными, лишенные даже поверхностнаго понятія объ общихъ положеніяхъ науки, и совершенно безчувственные къ приличіямъ нравственнымъ, они слабыми руками силятся пошатнуть твореніе вѣковое, переворачиваютъ смыслъ въ словахъ писателя великаго, смѣютъ приписывать ему собственное неразуміе, и хотятъ учить дѣтскимъ истинамъ мужа безсмертнаго, гордость Россіи. Даже достоинство учено-

сти думаютъ они отнять у Исторіи Карамзина, и утверждаютъ, что она писана для однихъ свѣтскихъ невѣждъ, они, невѣжи несвѣтскіе! — Все безполезно, что они говорятъ; все ничтожно, все ложь, — даже самая истина; и если случайно она вырвется изъ устъ ихъ, то, краснѣя, спѣшитъ снова спрятаться въ свой колодезь, чтобы омыться отъ ихъ осквернительнаго прикосновенія. — Я не называю никого: читатель самъ легко отличитъ этотъ разрядъ судей непризванныхъ по той печати отверженія, которою украсило ихъ литературное и нравственное невѣжество, положивъ клеймо своей таможни на ихъ контрабандное лицо.

Оставимъ ихъ.

Но съ удовольствіемъ укажемъ на критику, въ которой дѣльность и безпристрастіе розысканій соединяются съ приличностью тона: это статья, напечатанная въ 3 № Моск. Вѣстн. *О участіи Годунова въ убіеніи Димитрія.*

Кромѣ XII тома Россійской Исторіи, въ прошедшемъ году вышло у насъ, если вѣрить журналамъ, еще одно сочиненіе историческое, замѣчательное по достоинству литературному: это Полтава Пушкина. Въ самомъ дѣлѣ, изъ двадцати критикъ, вышедшихъ на эту поэму, болѣе половины разсуждало о томъ, дѣйствительно ли согласны съ исторіей описанныя въ ней лица и происшествія. Критики не могли сдѣлать большей похвалы Пушкину.

Мы видѣли, что одно стремленіе *воплотить поэзію въ дѣйствительность* уже доказываетъ и бо́льшую зрѣлость мечты поэта, и его сближеніе съ господствующимъ характеромъ вѣка. Но всегда ли поэтъ былъ вѣренъ своему направленію? и, переселивъ воображеніе въ область существенности, нашелъ ли онъ въ ней полный отвѣтъ на всѣ требованія поэзіи? или выступалъ иногда изъ круга дѣйствительности, какъ бы видя въ немъ арфу, у которой недостаетъ еще нѣсколькихъ струнъ, чтобы выразить всѣ движенія души?

Кромѣ голой существенности и *дополнительной* думы поэта (которая также существенность), мы еще находимъ въ Полтавѣ иногда думу, *противорѣчащую* дѣйствительности, иногда порывъ чувства, несогласный съ тѣмъ Шекспировскимъ состояніемъ

духа, въ которомъ долженъ находиться творецъ, чтобы смотрѣть на внѣшній міръ, какъ на полное отраженіе внутренняго. Въ доказательство укажемъ на два мѣста Полтавы: на софизмъ о любви стариковъ и на романическую чувствительность Мазепы, когда онъ узнаетъ хуторъ Кочубея. И то, и другое противорѣчитъ истинѣ; но и то, и другое дѣлаетъ минутный эффектъ. Это сцена изъ Корнеля, вплетенная въ трагедію Шекспира.

Такое бореніе двухъ началъ: мечтательности и существенности, должно необходимо предшествовать ихъ примиренію. Это переходъ съ одной степени на другую; и въ наше время не одинъ Пушкинъ можетъ служить примѣромъ такого разногласія. Имъ дышетъ большая часть трагедій Шиллера, всѣ трагедіи Раупаха, Фр. Шлегеля (*), Грильпарцера и почти всѣ произведенія новѣйшихъ Нѣмецкихъ писателей; Французская мелодрама обязана ему своимъ происхожденіемъ; иногда мы находимъ его даже у Вальтера Скотта, когда для возбужденія большаго любопытства онъ вводитъ своихъ героевъ въ положенія неестественныя; самъ Гете, великій Гете, даже въ Эгмонтѣ наклонился одинъ разъ передъ своимъ вѣкомъ, олицетворивъ свободу Фландріи.

Но та зрѣлость таланта, которую доказываетъ господствующій, хотя и не вездѣ выдержанный характеръ Полтавы, замѣтна также и въ отдѣльныхъ частяхъ сей поэмы. Объ ней свидѣтельствуютъ и мастерская обработка стиховъ, и сжатая полнота разсказа, и стройность переходовъ, особливо въ первой пѣсни, и ясная выразительность картинъ, и даже нѣкоторыя небрежности въ языкѣ и въ описаніяхъ. Вообще, если мы будемъ смотрѣть на Полтаву, какъ на зеркало дарованія, то увидимъ, что она даетъ намъ право на большую надежду въ будущемъ, нежели всѣ прежнія поэмы Пушкина. Но за то, если мы будемъ разсматривать ее въ отношеніи къ ней самой, то найдемъ въ ней такія несовершенства, которыя хотя нѣсколько объясняютъ намъ, почему публика приняла ее не съ такимъ восторгомъ, какой обыкновенно возбуждаютъ въ ней произведенія Пушкина. Главное изъ сихъ несовершенствъ есть недостатокъ единства ин-

(*) Недостатки трагедій Ф. Шлегеля имѣютъ еще другой главнѣйшій источникъ: неравновѣсіе геніальности съ системою.

тереса, единственнаго изъ всѣхъ единствъ, котораго несоблюденіе не прощается законами либеральной піитики. Еслибы поэтъ сначала возбудилъ въ насъ участіе любви или ненависти къ политическимъ замысламъ Мазепы, тогда и Петръ, и Карлъ, и Полтавская битва были бы для насъ развязкою любопытнаго происшествія. Но посвятивъ первыя двѣ пѣсни преимущественно исторіи любви Мазепы и Маріи, Пушкинъ окончилъ свою повѣсть вмѣстѣ съ концомъ второй пѣсни, и въ отношеніи къ главному интересу поэмы всю третью пѣснь можно назвать почти лишнею.

По этой ли причинѣ, или потому, что словесность наша еще не доросла до господствующаго направленія Полтавы, поэма сія не имѣла видимаго вліянія на нашу литературу, и ни одинъ изъ подражателей Пушкина не избралъ ее въ образцы для своихъ мозаиковъ.

Но сколько однолѣтнихъ литературныхъ цвѣтковъ вышло въ прошедшемъ году изъ сѣмянъ, брошенныхъ Пушкинымъ на поле нашей словесности еще во время его Байроновскаго направленія! — Замѣчательнѣйшій изъ подражателей Пушкина есть Г. Подолинскій. Но его поэма, *Борскій*, по бѣдности мыслей, по несоотвѣтственности языка съ чувствами и чувствъ съ предметами, и по еще важнѣйшимъ несообразностямъ въ планѣ, — замѣчательна только одною звучностью стиховъ.

Жуковскій напечаталъ въ прошедшемъ году свое *Море, Пѣснь побѣдителей* изъ Шиллера и связанные отрывки изъ Иліады. Здѣсь въ первый разъ увидѣли мы въ Гомерѣ такое качество, котораго не находили въ другихъ переводахъ: что у другихъ напыщенно и низко, то здѣсь просто и благородно; что у другихъ бездушно и вяло, здѣсь сильно, мужественно и трогательно; здѣсь все тепло, все возвышенно, каждое слово отъ души; можетъ быть это-то и ошибка, если прекрасное можетъ быть ошибкою.

Море Жуковскаго живо напоминаетъ всю прежнюю его поэзію: тѣ же звуки, то же чувство, та же особенность, та же прелесть. Кажется, всѣ струны его прежней лиры отозвались здѣсь въ одномъ душевномъ звукѣ. Есть однако отличіе: что-то больше задумчивое, нежели въ прежней его поэзіи.

Торжество побѣдителей во многихъ мѣстахъ превосходитъ подлинникъ изящностью отдѣлки и поэтическими оттѣнками языка. Такова участь большей части переводовъ Жуковскаго. Изъ подражателей Жуковскаго, писавшихъ въ прошедшемъ году, замѣчательнѣйшіе: И. И. Козловъ и Ѳ. Н. Глинка. Первый издалъ собраніе своихъ стихотвореній.

Любовь къ литературѣ Германской, которой мы обязаны Жуковскому, все болѣе и болѣе распространяясь въ нашей словесности, была весьма замѣтна и въ произведеніяхъ прошедшаго года. Между поэтами Нѣмецкой школы отличаются имена Шевырева, Хомякова и Тютчева. Послѣдній, однакоже, напечаталъ въ прошедшемъ году только одно стихотвореніе. Хомяковъ, котораго стихи всегда дышатъ мыслію и чувствомъ, а иногда блестятъ доконченностью отдѣлки, отдалъ на театръ своего Ермака; но чтобы судить объ этой трагедіи, подождемъ ея явленія въ большой печатный свѣтъ; давно уже сказано, что типографскій станокъ есть единственно вѣрный пробный камень для звонкой монеты стиховъ. Шевыревъ помѣщалъ въ журналахъ нѣкоторыя мѣлкія стихотворенія, и кромѣ того отрывки изъ перевода Вильгельма Теля. Имѣя дарованія отличныя, обладая рѣдкимъ познаніемъ Русскаго языка, удивительною легкостью въ трудѣ и болѣе всего душею пламенною, сосредоточенною въ любви къ *высокому*, Шевыревъ однакожъ имѣетъ важный недостатокъ: недостатокъ отдѣлки, и не только въ частяхъ, но и въ планѣ; не только въ важныхъ, но даже и въ мѣлкихъ стихотвореніяхъ. Часто вмѣщаетъ онъ двѣ разнородныя, господствующія мысли въ одну піесу и тѣмъ мѣшаетъ чувству сосредоточиться. Но это богатство мыслей, часто излишнее, (какъ бы желали мы упрекнуть въ этомъ качествѣ бо́льшую часть нашихъ писателей!), это богатство мыслей, особенно замѣтное въ прозѣ Шевырева, не есть ли залогъ его будущихъ успѣховъ? — Теперь онъ только выступаетъ на поприще; когда же жизнь и опытъ положатъ послѣдній вѣнецъ вкуса на его счастливыя дарованія, тогда, конечно, онъ займетъ значительное мѣсто въ нашей литературной аристократіи.

Говоря о той части словесности, которая преимущественно обнаруживаетъ вліяніе Нѣмецкое, нельзя не упомянуть объ

Ижорскомъ, соч. неизвѣстнаго. Нѣкоторыя сцены изъ этой драматической фантазіи были напечатаны въ Сѣверныхъ Цвѣтахъ прошедшаго года и замѣчательны по рѣдкому у насъ соединенію глубокости чувства съ игривостью воображенія. Мы причисляемъ это произведеніе къ Нѣмецкой школѣ, не смотря на нѣкоторое подражаніе Шекспиру, потому, что Шекспиръ здѣсь болѣе Шекспиръ Тиковскій, огерманившійся, нежели Шекспиръ настоящій, Шекспиръ Англичанинъ. Къ тому же и духъ цѣлаго сочиненія, сколько можно судить по отрывкамъ, кажется намъ преимущественно Нѣмецкій.

Но среди молодыхъ поэтовъ, напитанныхъ великими писателями Германіи, болѣе всѣхъ блестѣлъ и отличался покойный Д. В. Веневитиновъ, котораго стихотворенія вышли въ прошедшемъ году. Его желаніе исполнилось: прочтя не многое, что осталось намъ послѣ него, кто не скажетъ съ чувствомъ восторга и печали:

Какъ я люблю его созданья!
Онъ дышетъ жаромъ красоты,
Въ немъ умъ и сердце согласились,
И мысли полныя носились
На легкихъ крыліяхъ мечты.
Какъ зналъ онъ жизнь, какъ мало жилъ! (*)

Веневитиновъ созданъ былъ дѣйствовать сильно на просвѣщеніе своего отечества, быть украшеніемъ его поэзіи и, можетъ быть, создателемъ его философіи. Кто вдумается съ любовью въ сочиненія Веневитинова (ибо одна любовь даетъ намъ полное разумѣніе); кто въ этихъ разорванныхъ отрывкахъ найдетъ слѣды общаго имъ происхожденія, единство одушевлявшаго ихъ существа; кто постигнетъ глубину его мыслей, связанныхъ стройною жизнью души поэтической, — тотъ узнаетъ философа, проникнутаго откровеніемъ своего вѣка; тотъ узнаетъ поэта глубокаго, самобытнаго, котораго каждое чувство освѣщено мыслію, каждая мысль согрѣта сердцемъ; котораго мечта не украшается искусствомъ, но сама собою родится прекрасная; котораго лучшая пѣснь—есть собственное бытіе, свобод-

(*) Послѣдніе стихи покойнаго Веневитинова.

ное развитіе его полной, гармонической души. Ибо щедро природа надѣлила его своими дарами и ихъ разнообразіе согласила равновѣсіемъ. Отъ того все прекрасное было ему родное; отъ того въ познаніи самого себя находилъ онъ разрѣшеніе всѣхъ тайнъ искуства, и въ собственной душѣ прочелъ начертаніе высшихъ законовъ, и созерцалъ красоту созданія. Отъ того природа была ему доступною для ума и для сердца; онъ могъ

Въ ея таинственную грудь
Какъ въ сердце друга заглянуть.

Созвучіе ума и сердца было отличительнымъ характеромъ его духа; и самая фантазія его была болѣе музыкою мыслей и чувствъ, нежели игрою воображенія. Это доказываетъ, что онъ былъ рожденъ еще болѣе для философіи, нежели для поэзіи. Прозаическія сочиненія его, которыя печатаются и скоро выйдутъ въ свѣтъ, еще подтвердятъ все сказанное нами.

Но что долженъ былъ совершить Веневитиновъ, чему помѣшала его ранняя кончина, то совершится само собою, хотя, можетъ быть, уже не такъ скоро, не такъ полно, не такъ прекрасно. Намъ *необходима* философія: все развитіе нашего ума требуетъ ее. Ею одною живетъ и дышетъ наша поэзія; она одна можетъ дать душу и цѣлость нашимъ младенствующимъ наукамъ, и самая жизнь наша, можетъ быть, займетъ отъ нея изящество стройности. Но откуда придетъ она? Гдѣ искать ее?

Конечно, первый шагъ нашъ къ ней долженъ быть присвоеніемъ умственныхъ богатствъ той страны, которая въ умозрѣніи опередила всѣ другіе народы. Но чужія мысли полезны только для развитія собственныхъ. Философія Нѣмецкая вкорениться у насъ не можетъ. *Наша* философія должна развиться изъ *нашей* жизни, создаться изъ текущихъ вопросовъ, изъ господствующихъ интересовъ *нашего* народнаго и частнаго быта. Когда? и какъ? — скажетъ время; по стремленію къ философіи Нѣмецкой, которое начинаетъ у насъ распространяться, есть уже важный шагъ къ этой цѣли.

Чтобы еще болѣе убѣдиться въ пользѣ вліянія Нѣмецкихъ мыслителей, взглянемъ на многочисленную толпу тѣхъ изъ

нашихъ писателей, которые, не отличаясь личнымъ дарованіемъ, тѣмъ яснѣе показываютъ достоинство пріобрѣтеннаго ими чужаго. Здѣсь господствуютъ два рода литераторовъ: одни слѣдуютъ направленію Французскому, другіе Нѣмецкому. Что встрѣчаемъ мы въ сочиненіяхъ первыхъ? ***Мыслей*** мы не встрѣчаемъ у нихъ (ибо мысли, собственно Французскія, уже стары; слѣд. не мысли, а общія мѣста: сами Французы заимствуютъ ихъ у Нѣмцевъ и Англичанъ). (*) Но мы находимъ у нихъ ***игру словъ*** рѣдко, весьма рѣдко, и то случайно соединенную съ остроуміемъ, и ***шутки***, почти всегда лишенныя вкуса, часто лишенныя всякаго смысла. И можетъ ли быть иначе? — Остроуміе и вкусъ воспитываются только въ кругу лучшаго общества; а многіе ли изъ нашихъ писателей имѣютъ счастіе принадлежать къ нему?

Напротивъ того въ произведеніяхъ писателей, которые напитаны чтеніемъ Нѣмецкихъ умствователей, почти всегда найдемъ мы что нибудь достойное уваженія, хотя тѣнь мысли, хотя стремленіе къ этой тѣни.

Но я говорю о писателяхъ безъ дарованій; талантъ равно блеститъ вездѣ; онъ, какъ красота, даетъ прелесть всѣмъ дви-

(*) Что Французская литература девятьнадцатаго вѣка, утративъ свою прежнюю самобытность, живетъ единственно чужимъ вдохновеніемъ, о томъ свидѣтельствуютъ всѣ ея лучшія произведенія. Но еще новымъ подтвержденіемъ сей истины можетъ служить славный тріумвиратъ законодателей Французскаго мышленія въ наше время. Есть ли хотя одна плодоносная мысль въ лекціяхъ Cousin, которую бы онъ не занялъ у Нѣмцевъ? — Не Англичанамъ ли и Нѣмцамъ принадлежатъ всѣ основныя положенія Villemain, столь блестящаго въ своихъ примѣненіяхъ, столь искусно умѣющаго скрыть строгую стройность системы подъ наружнымъ безпорядкомъ отдѣльныхъ замѣчаній? Литературно-критическія сочиненія Гизо обнаруживаютъ еще непримиренную борьбу новаго Германскаго ученія съ прежними мнѣніями Французовъ; но историческія его лекціи дышатъ системою связною, полною, глубокою и занятою совершенно у новѣйшихъ Нѣмецкихъ философовъ, хотя новое развитіе сей системы, ея полнѣйшее и часто геніальное примѣненіе къ жизни среднихъ вѣковъ дѣлаютъ Гизо однимъ изъ оригинальнѣйшихъ Французскихъ мыслителей. — Есть однако въ литературѣ Французской такое качество, которое отличаетъ ее отъ всѣхъ другихъ, обѣщаетъ много для будущаго, и самимъ подражаніямъ даетъ цвѣтъ оригинальности: это тѣсная связь литературы съ жизнію; но именно этого-то качества не могутъ перенять наши Русскіе подражатели. *(См. Иностр. Журналы.)*

женіямъ; какъ чувство, даетъ душу всѣмъ словамъ; какъ умъ, даетъ умѣстностью цѣну всѣмъ мыслямъ. Князь Вяземскій можетъ быть тому прекраснымъ доказательствомъ. Слѣдуя преимущественно направленію Французскому, онъ умѣетъ острыя стрѣлы насмѣшки закалять въ оригинальныхъ мысляхъ и согрѣвать чувствомъ всегда умную, всегда счастливую, блестящую *игру ума*. Но и Князь Вяземскій, не смотря на всѣ свои дарованія, не смотря на то, что мы можемъ назвать его остроумнѣйшимъ изъ нашихъ писателей, еще выше тамъ, гдѣ, какъ въ *унынiи*, голосъ сердца слышнѣе ума.

Многіе утверждаютъ, что Французское направленіе господствуетъ также и въ произведеніяхъ Баратынскаго; но по нашему мнѣнію, онъ столько же принадлежитъ къ школѣ Французской, сколько Ламартинъ, сколько сочинитель Сен-Марса, сочинитель заговора Малета, сколько нашъ Пушкинъ и всѣ тѣ писатели, которые, начавъ свое развитіе мнѣніями Французскими, довершили его направленіемъ Европейскимъ, сохранивъ Французскаго одну докончанность внѣшней отдѣлки.

Поэзія собственно Французская, какъ утреннее солнце, золотитъ однѣ вершины. Только тѣ минуты жизни, которыя *выдаются* изъ жизни вседневной, которыя и толпа раздѣляетъ съ поэтомъ, имѣютъ право входить въ заколдованный кругъ ихъ мечтаній, и, можетъ быть, одинъ Шенье дѣлаетъ исключеніе, — если можно направленіе Шенье назвать Французскимъ. Но Муза Баратынскаго, обнявъ всю жизнь поэтическимъ взоромъ, льетъ равный свѣтъ вдохновенія на всѣ ея минуты, и самое обыкновенное возводитъ въ поэзію, посредствомъ освѣтительнаго прикосновенія съ *цѣлою* жизнію, съ господствующею мечтою. Отъ того, чтобы дослышать всѣ оттѣнки лиры Баратынскаго, надобно имѣть и тоньше слухъ, и больше вниманія, нежели для другихъ поэтовъ. Чѣмъ болѣе читаемъ его, тѣмъ болѣе открываемъ въ немъ новаго, незамѣченнаго съ перваго взгляда, — вѣрный признакъ поэзіи, сомкнутой въ собственномъ бытіи, но доступной не для всякаго. Даже въ художественномъ отношеніи, многіе ли способны оцѣнить вполнѣ достоинство его стиховъ, эту точность въ выраженіяхъ и оборотахъ, эту мѣрность изящную, эту благородную щеголеватость?— Но если-бы идеалъ лучшаго

общества явился вдругъ въ какой нибудь неизвѣстной намъ столицѣ, то въ его избранномъ кругу не знали бы другаго языка.

Между тѣмъ, красота жизни поэтической, съ лица которой Муза Баратынскаго сняла покрывало до половины, доказываетъ намъ, что поэтъ еще не весь выразился въ стихахъ своихъ; что мы должны ожидать еще несравненно болѣе того, что онъ совершилъ; что ему еще предназначено столько превзойти наши ожиданія, сколько разоблаченіе красоты можетъ удивить воображеніе.

Но въ его *Бальномъ вечерѣ*, напечатанномъ въ прошедшемъ году, есть недостатокъ, котораго нѣтъ въ его Эдѣ, ни въ *Переселеніи душъ*, въ этомъ миломъ, остроумно-мечтательномъ капризѣ поэтическаго воображенія: въ Бальномъ вечерѣ Баратынскаго нѣтъ средоточія для чувства и (если можно о поэзіи говорить языкомъ механики) въ немъ нѣтъ одной *составной силы*, въ которой бы соединились и уравновѣсились всѣ душевныя движенія. Не смотря на то, однакоже, эта поэма превосходитъ всѣ прежнія сочиненія Баратынскаго изящностью частей, наружною связью цѣлаго и совершенствомъ отдѣлки. Въ самомъ дѣлѣ: кто, прочтя ее, не скажетъ, что поэтъ сдѣлалъ успѣхи; что самые недостатки его доказываютъ, что онъ требовалъ отъ себя больше, чѣмъ прежде; что смѣшеніе тѣни и свѣта здѣсь не сумерки, а разсвѣтъ, заря новой эпохи для его таланта; однимъ словомъ, что на его *Бальномъ вечерѣ*, какъ и на другихъ бальныхъ вечерахъ непоэтическихъ, сквозь тонкій, прозрачный занавѣсъ виденъ утренній свѣтъ наступающаго дня?

Баронъ Дельвигъ издалъ *Собраніе* своихъ *стихотвореній*. Также, какъ Баратынскій, онъ не принадлежитъ ни къ одной изъ новѣйшихъ школъ, и даже подражанія его древнимъ носятъ печать оригинальности.

Всякое подражаніе по системѣ должно быть холодно и бездушно. Только подражаніе изъ любви можетъ быть поэтическимъ и даже творческимъ. Но въ послѣднемъ случаѣ можемъ ли мы совершенно забыть самихъ себя? и не отъ того ли мы и любимъ образецъ нашъ, что находимъ въ немъ черты, соотвѣтствующія требованіямъ нашего духа? Вотъ отъ чего новѣйшіе

всегда остаются новѣйшими во всѣхъ удачныхъ подражаніяхъ древнимъ (*); скажу болѣе: нѣтъ ни одного истинно изящнаго перевода древнихъ классиковъ, гдѣ бы не легли слѣды такого состоянія души, котораго не знали наши праотцы по уму. Чувство религіозное, коимъ мы обязаны христіанству; романическая любовь—подарокъ Арабовъ и варваровъ; уныніе—дитя Сѣвера и зависимости; всякаго рода фанатизмъ — необходимый плодъ борьбы вѣковыхъ неустройствъ Европы съ порывами къ улучшенію; наконецъ, перевѣсъ мысленности надъ чувствами, и оттуда стремленіе къ единству и сосредоточенью, — вотъ новыя струны, которыя жизнь новѣйшихъ народовъ натянула на сердце человѣка. Напрасно думаетъ онъ заглушить ихъ стонъ, ударяя въ лиру Греціи: онѣ невольно отзываются на его пѣсню, и, вмѣсто простаго звука, является аккордъ.

Таковы подражанія Дельвига. Его Муза была въ Греціи; она воспиталась подъ теплымъ небомъ Аттики; она наслушалась тамъ простыхъ и полныхъ, естественныхъ, свѣтлыхъ и правильныхъ звуковъ лиры Греческой; но ея нѣжная краса не вынесла бы холода мрачнаго Сѣвера, еслибы поэтъ не прикрылъ ее нашею народною одеждою; еслибы на ея классическія формы онъ не набросилъ душегрѣйку новѣйшаго унынія: — и не къ лицу ли Гречанкѣ нашъ сѣверный нарядъ?

Тоже господствующее чувство замѣтно и въ другихъ произведеніяхъ Дельвига, и тоже качество, которое даетъ отливъ новѣйшаго его подражаніямъ древнимъ, было причиною, что поэтъ выше всего является въ своихъ Русскихъ пѣсняхъ.

Но говоря о писателяхъ образцовыхъ, коихъ имена блестѣли въ литературѣ прошедшаго года, можно ли не упомянуть объ одной изъ лучшихъ надеждъ нашихъ? — Не многіе получили въ удѣлъ такую силу и мужество, коими красуются произве-

(*) Великій Гёте представляетъ тому убѣдительный примѣръ. Все, что есть прекраснаго въ его плѣнительной Ифигеніи, эти поэтическіе переливы сердечныхъ оттѣнковъ, выраженные душевно-музыкальными стихами, принадлежатъ исключительно поэзіи новѣйшей. И чѣмъ обязана Ифигенія систематическому усилію подражанія? — Неподвижностью дѣйствія и безличностью характеровъ, которые дѣлаютъ ее неспособною къ театральному представленію и совершенно несносною въ немного посредственномъ переводѣ. То же можно сказать и о Шиллеровой Мессинской невѣстѣ.

денія Языкова. Каждый стихъ его живетъ огнемъ, какъ саламандра.

Если мы будемъ разсматривать литературу нашу въ отношеніи къ другимъ Европейскимъ, то найдемъ въ ней соединенное вліяніе почти всѣхъ словесностей. Мы сказали уже, что направленіе Нѣмецкое и Французское у насъ господствующія. Вліяніе поэзіи Англійской, особенно Байроновской и Оссіановской, замѣтно въ произведеніяхъ многихъ изъ нашихъ литераторовъ. Подражанія древнимъ, хотя немногочисленныя, не могли не имѣть вліянія на общій характеръ нашей литературы. Словесность Италіянская, отражаясь въ произведеніяхъ Нелединскаго и Батюшкова, также бросила свою краску на многоцвѣтную радугу нашей поэзіи. Все это живетъ вмѣстѣ, мѣшается, роднится, ссорится и обѣщаетъ литературѣ нашей характеръ многосторонній, когда добрый геній спасетъ ее отъ безхарактерности.

Но вліяніе Итальянское, или лучше сказать, Батюшковское, замѣтно у немногихъ изъ нашихъ стихотворцевъ. *Туманскій* отличается между ними нѣжностью чувства и музыкальностью стиховъ. Въ прошедшемъ году онъ печаталъ не много. Къ той же школѣ принадлежатъ Г-да Раичь и Ознобишинъ.

Предѣлы этой статьи не позволяютъ намъ распространяться обо всѣхъ замѣчательныхъ произведеніяхъ прошедшаго года. Упомянемъ о нѣкоторыхъ. Василій Львовичь Пушкинъ напечаталъ три главы изъ своей романтической поэмы Храбровъ, гдѣ Муза его не измѣнила своей обыкновенной любезности. —Г-жа Лисицына издала собраніе своихъ стихотвореній, гдѣ чувство и простота выраженій ручаются за неподложность таланта. Баронъ Розенъ издалъ Дѣву семи Ангеловъ.

Кромѣ того здѣсь и тамъ мелькаютъ имена господъ: Илличевскаго, Корсака, Трилуннаго, Павлова, Григорьева, Вельтмана, Вердеревскаго, Лихонина, Мих. Дмитріева, Маркевича, Крюкова, Сіянова, Краинскаго, Якубовича, Степанова, Левшина, Каховскаго, Петрова, Тростина, Олина, Межакова, Масальскаго, Зайцевскаго, Каркунова, Башилова и другихъ. Но что сказать объ этихъ писателяхъ? — Многіе изъ нихъ знакомы уже нашей публикѣ, другіе вышли еще съ бѣлыми щитами на опас-

ное поприще стихотворной дѣятельности. Во многихъ, можетъ быть, таится талантъ, и для развитія силы ищетъ только времени, случая и труда — по крайней мѣрѣ будемъ хранить уваженіе къ надеждѣ, подлѣ любви къ воспоминанію.

Драмматическая литература наша — но можно ли назвать литературою сборъ нашихъ драмматическихъ произведеній? — Въ этой отрасли словесности мы бѣднѣе всего. Трагедіи въ прошедшемъ году не вышло ни одной. Изъ комедій ни одна не превышаетъ посредственнаго. Замѣчательнѣе другихъ: *Свѣтскій случай* Г-на Хмѣльницкаго; его же отрывки изъ *Арзамазскихъ гусей;* отрывки изъ *Колумба*, недокончанной комедіи покойнаго А. И. Писарева, и *Дворянскіе выборы*, соч. неизвѣстнаго.

Вообще нашъ театръ представляетъ странное противорѣчіе съ самимъ собою: почти весь репертуаръ нашихъ комедій состоитъ изъ подражаній Французамъ, и, не смотря на то, именно тѣ качества, которыя отличаютъ комедію Французскую отъ всѣхъ другихъ: вкусъ, приличность, остроуміе, чистота языка, и все, что принадлежитъ къ необходимостямъ хорошаго общества, — все это совершенно чуждо нашему театру. Наша сцена вмѣсто того, чтобы быть зеркаломъ нашей жизни, служитъ увеличительнымъ зеркаломъ для однѣхъ лакейскихъ нашихъ, далѣе которыхъ не проникаетъ наша комическая Муза. Въ лакейской она *дома*, тамъ ея и гостиныя, и кабинетъ, и зала, и уборная; тамъ проводитъ она весь день, когда не ѣздитъ на запяткахъ дѣлать визиты Музамъ сосѣднихъ государствъ; и чтобы Русскую Талію изобразить похоже, надобно представить ее въ ливреѣ и въ сапогахъ.

Таковъ общій характеръ нашихъ оригинальныхъ комедій, еще неизмѣненный немногими, рѣдкими исключеніями. Причина этого характера заключается отчасти въ томъ, что отъ Фонъ-Визина до Грибоѣдова мы не имѣли ни одного комическаго таланта; а извѣстно, что необыкновенный человѣкъ, какъ и необыкновенная мысль, всегда даютъ одностороннее направленіе уму; что перевѣсъ силы уравновѣшивается только другою силою; что вредъ генія исправляется явленіемъ другаго, противодѣйствующаго.

Между тѣмъ можно бы замѣтить нашимъ комическимъ писателямъ, что они поступаютъ неразсчетливо, избирая *такое*

направленіе. За простымъ народомъ имъ не угнаться; и какъ ни низокъ языкъ ихъ, какъ ни богаты неприличностями ихъ удалыя шутки, какъ ни грубы ихъ фарсы, которымъ хохочетъ раекъ; но они никогда не достигнутъ до своего настоящаго идеала, и всѣ комедіи ихъ — любой извощикъ убьетъ однимъ словомъ.

Почти на каждомъ изъ нашихъ писателей замѣтно вліяніе, болѣе или менѣе смѣшанное, какой нибудь изъ иностранныхъ литературъ, или котораго нибудь изъ нашихъ первоклассныхъ писателей. Есть однакоже у насъ особенная школа, оригинальная, самобытная, имѣющая свои качества, свое направленіе, своихъ многочисленныхъ приверженцевъ, совершенно отличная отъ всѣхъ другихъ, хотя многіе изъ нашихъ писателей заимствуютъ у нея красоты свои. Школа сія началась вмѣстѣ съ вѣкомъ, и основателемъ ея былъ графъ Дмитрій Ивановичъ Хвостовъ, а послѣдователи его: Гг-да Борисъ Ѳедоровъ, Телепневъ, Свѣчинъ, Волковъ, Бестужевъ-Рюминъ, А. Орловъ и другіе. Почти всѣ сіи писатели суть поэты эпическіе, и почти каждый изъ нихъ создалъ особенную поэму въ классическомъ духѣ, и только не многіе, напр. Г. Рюминъ, позволяютъ себѣ вступать въ область романтики; но Г. Ѳедоровъ дѣлаетъ исключеніе изъ всѣхъ: болѣе другихъ приближаясь къ основателю школы, онъ писалъ почти во всѣхъ родахъ.

Этою школою мы заключимъ обозрѣніе оригинальныхъ произведеній нашихъ стихотворцевъ. Переводами прошедшій годъ былъ богаче всѣхъ предшествовавшихъ. Назовемъ замѣчательнѣйшіе. Г. ***Ротчевъ*** перевелъ Вильгельма Теля и Мессинскую Невѣсту Шиллера, и печаталъ нѣкоторые отрывки изъ Макбета Шекспирова. Стихъ Г. Ротчева силенъ и звученъ; но онъ иногда теменъ, часто невѣренъ подлиннику и рѣдко передаетъ всѣ оттѣнки оригинала. Г. ***Шевыревъ*** напечаталъ одно дѣйствіе Вильгельма Теля. Его переводъ ближе къ подлиннику и изящнѣе перевода Г-на Ротчева. Г. ***Вронченко*** перевелъ Гамлета, отрывки изъ Дзядовъ Мицкевича, отрывки изъ Юнга и нѣсколько Ирландскихъ мелодій Мура. Вообще переводы его весьма близки и языкъ правиленъ, хотя не довольно изященъ и тяжелъ въ оборотахъ. Г. ***Познанскій*** перевелъ Альпугару

изъ Мицкевича; она принадлежитъ еще не къ лучшимъ произведеніямъ Г-на Познанскаго, который вообще отличается вѣрнымъ чувствомъ поэтическихъ красотъ подлинника, изящною простотою языка и точностью выраженій.

Кромѣ того переводили и печатали отрывки въ разныхъ журналахъ и альманахахъ: изъ Ромео и Юліи Шекспира Г....; изъ Донъ-Карлоса Шиллерова и Ифигеніи Гёте Г. *Лихонинъ*; изъ Донъ-Карлоса же Г. *Колачевскій* и Г. *Ободовскій;* изъ Байронова Донъ-Жуана и Паризины, изъ Парни и Мура Г. *Марквичъ;* Паризину перевелъ также Г. *Карцевъ;* Г. *Щастный* перевелъ Фариса Мицкевича; Лару Байрона перевелъ Г. Носковъ. Г. *Трилунный* переводилъ изъ Гяура Байрона, и нѣсколько сценъ изъ Мольерова Амфитріона. Г. *Козловъ* перевелъ Крымскіе сонеты Мицкевича. Его же Субботній вечеръ подражаніе Борнсу, замѣчателенъ по приложеннымъ въ началѣ стихамъ на смерть А. А. Воейковой, гдѣ видно трогательное чувство души, умѣющей любить прекрасное.

Сіи переводы, хотя весьма различнаго достоинства, всѣ однакоже доказываютъ успѣхи нашего просвѣщенія и усовершенствованіе нашего языка. Двадцать лѣтъ назадъ каждый изъ нихъ возбудилъ-бы особенное вниманіе. Замѣтимъ, что шесть иностранныхъ поэтовъ раздѣляютъ преимущественно любовь нашихъ литераторовъ: Гёте, Шиллеръ, Шекспиръ, Байронъ, Муръ и Мицкевичъ. Добрый знакъ для будущаго! — Знакомствомъ съ Гёте, Шиллеромъ и Шекспиромъ обязаны мы распространившемуся вліянію словесности Нѣмецкой и Жуковскому; знакомствомъ съ Байрономъ обязаны мы Пушкину; любовь къ Муру принадлежитъ къ тѣмъ же странностямъ нашего литературнаго вкуса, которыя прежде были причиною безусловнаго обожанія Ламартина. Съ Мицкевичемъ прежде всѣхъ познакомилъ насъ князь Вяземскій: это счастливое начало дружественнаго сближенія двухъ родныхъ словесностей, которыя до сихъ поръ чуждались другъ друга.

Польская литература, также какъ Русская, до сихъ поръ была не только отраженіемъ литературы Французско-Нѣмецкой, но и существовала единственно силою чуждаго вліянія. Какъ могла она дѣйствовать на Россію? — Чтобы объ словес-

ности вступили въ сношенія непосредственныя и заключили союзъ прочный, нужно было хотя одной изъ нихъ имѣть своего уполномоченнаго на сеймѣ первоклассныхъ правителей Европейскихъ умовъ; ибо одно господствующее въ Европѣ можетъ имѣть вліяніе на подвластныя ей литературы. Мицкевичь, сосредоточивъ въ себѣ духъ своего народа, первый далъ Польской поэзіи право имѣть свой голосъ среди умственныхъ депутатовъ Европы, и вмѣстѣ съ тѣмъ далъ ей возможность дѣйствовать и на нашу поэзію.

Болѣе или менѣе сложное вліяніе сихъ шести чужеземныхъ поэтовъ, соединенное съ вліяніемъ нашей собственной литературы, образуетъ теперь общій характеръ всѣхъ первоклассныхъ стихотворцевъ нашихъ, и слѣдовательно, характеръ нашей текущей словесности вообще. Но прежде, нежели мы получимъ право говорить о семъ общемъ характерѣ, должны мы докончить картину литературы прошедшаго года обозрѣніемъ прозаическихъ сочиненій и журналовъ.

Мы не будемъ здѣсь говорить ни объ Исторіи 4 Хановъ, ни объ Описаніи Пекина, изданныхъ Отцемъ Іакинѳомъ; ни о картинѣ войны съ Турціею, сочиненной Г-мъ Бутурлинымъ; ни о другихъ болѣе или менѣе замѣчательныхъ произведеніяхъ, не входящихъ въ область чистой литературы. Но замѣтимъ, что прошедшій годъ былъ особенно богатъ произведеніями въ родѣ повѣствовательномъ. Назовемъ лучшія: Мѣшокъ съ золотомъ, Г-на *Полеваго;* Черная курица, сказка для дѣтей, Г-на *Погорѣльскаго;* Черная немочь, Г-на *Погодина*; Уединенный домикъ на Васильевскомъ островѣ, *Тита Космократова*; Русалка, Г-на *Байскаго,* и другія. — *Черный годъ или Горскіе Князья* имѣетъ всѣ тѣ же качества, какія публика находила въ прежнихъ романахъ покойнаго Г. Нарѣжнаго: *возможность* таланта, которому для перехода въ *дѣйствительность* еще недоставало большей образованности и вкуса.

Менѣе таланта, но болѣе литературной опытности, языкъ болѣе гладкій, хотя безцвѣтный и вялый, находимъ мы въ *Выжигинѣ,* нравственно-сатирическомъ романѣ Г-на Булгарина. Пустота, безвкусіе, бездушность, нравственныя сентенціи, выбранныя изъ дѣтскихъ прописей, невѣрность описаній, при-

торность шутокъ, — вотъ качества сего сочиненія, качества, которыя составляютъ его достоинство, ибо они дѣлаютъ его по плечу простому народу и той части нашей публики, которая отъ азбуки и катихизиса приступаетъ къ повѣстямъ и путешествіямъ. Что есть люди, которые читаютъ Выжигина съ удовольствіемъ и, слѣдовательно, съ пользою, это доказывается тѣмъ, что Выжигинъ расходится. Но гдѣ же эти люди? спросятъ меня. Мы не видимъ ихъ точно также, какъ и тѣхъ, которые наслаждаются *Сонникомъ* и книгою *О клопахъ*; но они есть, ибо и *Сонникъ*, и *Выжигинъ*, и *О клопахъ* раскупаются во всѣхъ лавкахъ.

Замѣчательно, что въ прошедшемъ году вышло около 100,000 экземпляровъ Азбуки Русской, около 60,000 Азбуки Славянской, 60,000 экземп. Катихизиса, около 15,000 Азбуки Французской, и вообще учебныя книги расходились въ этомъ году почти цѣлою третью болѣе, нежели въ прежнемъ. Вотъ что намъ нужно, чего недостаетъ намъ, чего по справедливости требуетъ публика.

Изъ переводныхъ книгъ назовемъ двѣ: *Вертера*, соч. Гёте, переводъ Г-на Р., и Исторію Литературы Фр. Шлегеля, переводъ неизвѣстнаго. Первый можно назвать самымъ близкимъ, самымъ изящнымъ изъ всѣхъ прозаическихъ переводовъ, вышедшихъ у насъ въ послѣднее двадцатилѣтіе.

Странная неприличность полемики составляла отличительный характеръ нашихъ журналовъ прошедшаго года. Мы надѣемся, однако, что это скоро утомитъ нашу публику и что она скоро захочетъ видѣть въ нашихъ литераторахъ кой-что кромѣ двуногихъ животныхъ съ перьями.

Обозрѣніе особенныхъ качествъ каждаго изъ нашихъ журналовъ не входитъ въ планъ этой статьи. Замѣтимъ однако, что *Телеграфъ* былъ богаче другихъ хорошими, дѣльными статьями, и болѣе другихъ передавалъ намъ любопытнаго изъ журналовъ иностранныхъ; *Сѣверная Пчела* была свѣжѣе другихъ политическими новостями; *Атеней* менѣе другихъ участвовалъ въ неприличныхъ полемикахъ; *Славянинъ* неприличность брани усилилъ до поэзіи.

Замѣтимъ еще одно качество, общее почти всѣмъ журналамъ

нашимъ: странный слогъ, которымъ пишутся многія оригинальныя и большая часть переводныхъ статей, слогъ неточный, шершавый, и часто хуже того, которымъ писали у насъ прежде Карамзина и Дмитріева. Можетъ быть, это одна изъ главныхъ причинъ, почему люди со вкусомъ почти не читаютъ нашихъ журналовъ; ибо для образованнаго слуха нѣтъ ничего тяжелѣе фальшивыхъ тоновъ.

Сѣверные цвѣты были безъ сравненія лучшимъ изъ всѣхъ альманаховъ. *Въ Невскомъ альманахѣ* замѣтимъ прозаическую статью *Ливонія*, соч. неизвѣстнаго: если бы наше обозрѣніе было писано тѣмъ-же перомъ, которое начертало Ливонію, то мы печатали-бы его безъ боязни неуспѣха.

Другіе альманахи — но что пользы намъ знать, что тѣ или другія статьи печатались въ томъ, а не въ другомъ періодическомъ изданіи? Объяснитъ ли это сколько нибудь характеръ нашей литературы?

До сихъ поръ разсматривали мы словесность нашу въ отношеніи къ ней самой, и потому съ любопытствомъ останавливались на каждомъ произведеніи, которое открываетъ намъ новую сторону нашего литературнаго характера, или подаетъ новую надежду въ будущемъ. Здѣсь все казалось намъ важнымъ, все достойнымъ вниманія, какъ сѣмена, изъ коихъ со временемъ созрѣетъ плодъ.

Но если мы будемъ разсматривать нашу словесность въ отношеніи къ словесностямъ другихъ государствъ; если просвѣщенный Европеецъ, развернувъ передъ нами всѣ умственныя сокровища своей страны, спроситъ насъ: «Гдѣ литература ваша? Какими произведеніями можете вы гордиться передъ Европою?» — Что будемъ отвѣчать ему?

Мы укажемъ ему на Исторію Россійскаго Государства; мы представимъ ему нѣсколько одъ Державина, нѣсколько стихотвореній Жуковскаго и Пушкина, нѣсколько басень Крылова, нѣсколько сценъ изъ Фонъ-Визина и Грибоѣдова, и — гдѣ еще найдемъ мы произведеніе достоинства Европейскаго?

Будемъ безпристрастны, и сознаемся, что у насъ еще нѣтъ полнаго отраженія умственной жизни народа, у насъ еще нѣтъ литературы. Но утѣшимся: у насъ есть благо, залогъ всѣхъ

другихъ: у насъ есть надежда и мысль о великомъ назначеніи нашего отечества! —

Вѣнецъ просвѣщенія Европейскаго служилъ колыбелью для нашей образованности; она рождалась, когда другія государства уже доканчивали кругъ своего умственнаго развитія, и гдѣ они остановились, тамъ мы начинаемъ. Какъ младшая сестра въ большой, дружной семьѣ, Россія прежде вступленія въ свѣтъ богата опытностью старшихъ.

Взгляните теперь на всѣ Европейскіе народы: каждый изъ нихъ уже совершилъ свое назначеніе, каждый выразилъ свой характеръ, пережилъ особенность своего направленія, и уже ни одинъ не живетъ отдѣльною жизнію: жизнь *цѣлой* Европы поглотила самостоятельность всѣхъ *частныхъ* государствъ.

Но для того, чтобы *цѣлое* Европы образовалось въ стройное, органическое тѣло, нужно ей особенное средоточіе, нуженъ народъ, который бы господствовалъ надъ другими своимъ политическимъ и умственнымъ перевѣсомъ. Вся исторія новѣйшаго просвѣщенія представляетъ необходимость такого господства: всегда одно государство было, такъ сказать, *столицею* другихъ, было *сердцемъ*, изъ котораго выходитъ и куда возвращается вся кровь, всѣ жизненныя силы просвѣщенныхъ народовъ.

Италія, Испанія, Германія (во время реформаціи), Англія и Франція, попеременно управляли судьбою Европейской образованности. Развитіе внутренней силы было причиною такого господства, а упадокъ силы причиною его упадка.

Англія и Германія находятся теперь на вершинѣ Европейскаго просвѣщенія; но вліяніе ихъ не можетъ быть живительное, ибо ихъ внутренняя жизнь уже окончила свое развитіе, состарѣлась и получила ту односторонность зрѣлости, которая дѣлаетъ ихъ образованность исключительно имъ однѣмъ приличною.

Вотъ отъ чего Европа представляетъ теперь видъ какого-то оцѣпенѣнія; политическое и нравственное усовершенія равно остановились въ ней; запоздалыя мнѣнія, обветшалыя формы, какъ запруженная рѣка, плодоносную страну превратили въ болота, гдѣ цвѣтутъ однѣ незабудки, да изрѣдка блеститъ холодный, блуждающій огонекъ.

Изо всего просвѣщеннаго человѣчества два народа не участвуютъ во всеобщемъ усыпленіи; два народа, молодые, свѣжіе, цвѣтутъ надеждою: это Соединенные Американскіе Штаты и наше отечество.

Но отдаленность мѣстная и политическая, а болѣе всего односторонность Англійской образованности Соединенныхъ Штатовъ,—всю надежду Европы переносятъ на Россію.

Совмѣстное дѣйствіе важнѣйшихъ государствъ Европы участвовало въ образованіи начала нашего просвѣщенія, приготовило ему характеръ обще-Европейскій и вмѣстѣ дало возможность будущаго вліянія на всю Европу.

Къ той же цѣли ведутъ насъ гибкость и переимчивость характера нашего народа, его политическіе интересы и самое географическое положеніе нашей земли.

Судьба каждаго изъ государствъ Европейскихъ зависитъ отъ совокупности всѣхъ другихъ; — судьба Россіи зависитъ отъ одной Россіи.

Но судьба Россіи заключается въ ея просвѣщеніи: оно есть условіе и источникъ *всѣхъ* благъ. Когда же эти *всѣ* блага будутъ *нашими*,— мы ими подѣлимся съ остальною Европою и весь долгъ нашъ заплатимъ ей сторицею.

—

ОПАЛЪ.

(Волшебная сказка.)

Царь Нурединъ шестьнадцати лѣтъ взошелъ на престолъ Сирійскій. Это было въ то время, когда, по свидѣтельству Аріоста, духъ рыцарства подчинилъ всѣ народы однимъ законамъ чести, и всѣ племена различныхъ исповѣданій соединилъ въ одно поклоненіе красотѣ.

Царь Нурединъ не безъ славы носилъ корону царскую; онъ окружилъ ее блескомъ войны и побѣдъ, и громъ оружія Сирійскаго разнесъ далеко за предѣлы отечественные. Въ битвахъ и поединкахъ, на пышныхъ турнирахъ и въ одинокихъ странствіяхъ, среди Мусульманъ и невѣрныхъ, — вездѣ мечь Нурединa оставлялъ глубокіе слѣды его счастія и отважности. Имя его часто повторялось за круглымъ столомъ двѣнадцати храбрыхъ, и многіе изъ знаменитыхъ сподвижниковъ Карла носили на безстрашной груди своей повѣсть о подвигахъ Нурединовыхъ, начертанную четкими рубцами сквозь ихъ прорубленныя брони.

Такъ удачею и мужествомъ добылъ себѣ Сирійскій царь и могущество и честь; но оглушенное громомъ брани сердце его понимало только одну красоту — опасность, и знало только одно чувство — жажду славы, неутолимую, безпредѣльную. Ни звонъ стакановъ, ни пѣсни трубадуровъ, ни улыбка красавицъ не прерывали ни на минуту однообразнаго хода его мыслей; послѣ битвы готовился онъ къ новой битвѣ; послѣ побѣды искалъ онъ не отдыха, но задумывался о новыхъ побѣдахъ, замышлялъ новые труды и завоеванія.

Не смотря на то, однако, разъ случилось, что Сирія была въ мирѣ со всѣми сосѣдями, когда Оригеллъ, царь Китайскій,

представилъ мечу Нурредина новую работу. Незначительныя распри между ихъ подданными дошли случайно до слуха правителей; обида росла взаимностью, и скоро смерть одного изъ царей стала единственнымъ честнымъ условіемъ мира.

Выступая въ походъ Нурединъ поклялся головою и честью передъ народомъ и войскомъ: до тѣхъ поръ не видать стѣнъ Дамаскихъ, покуда весь Китай не покорится его скипетру и самъ Оригеллъ не отплатитъ своею головою за обиды, имъ нанесенныя. — Никогда еще Нурединъ не клялся понапрасну.

Черезъ мѣсяцъ всѣ области Китайскія, одна за другою, поклонились мечу Нурредина. Побѣжденный Оригеллъ съ остаткомъ избранныхъ войскъ заперся въ своей столицѣ. Началась осада.

Не находя средствъ къ спасенію, Оригеллъ сталъ просить мира, уступая побѣдителю половину своего царства. Нурединъ отвѣчалъ, что со врагами не дѣлится, — и осада продолжается.

Войско Оригеллово ежедневно убываетъ числомъ и упадаетъ духомъ; запасы приходятъ къ концу; Нурединъ не сдается на самыя униженныя иросьбы.

Уныніе овладѣло царемъ Китайскимъ; всякій день положеніе Оригелла становится хуже; всякій день Нурединъ пріобрѣтаетъ новую выгоду. Въ отчаяньи, Китайскій царь предложилъ Нурединy все свое царство Китайское, всѣ свои владѣнія Индѣйскія, всѣ права, всѣ титлы, съ тѣмъ только, чтобы ему позволено было вывести свои сокровища, своихъ женъ, дѣтей и любимцевъ. Нурединъ оставался неумолимымъ, — и осада продолжается.

Наконецъ, видя неизбѣжность своей погибели, Оригеллъ уступаетъ все, и сокровища, и любимцевъ, и дѣтей, и женъ, и просилъ только о жизни. Нурединъ, припомнивъ свою клятву, отвергъ и это предложеніе.

Осада продолжается ежедневно сильнѣе, ежедневно неотразимѣе. Готовый на все, Китайскій царь рѣшился испытать послѣднее, отчаянное средство къ спасенію: чародѣйство.

Въ его осажденной столицѣ стоялъ огромный, старинный дворецъ, который уже болѣе вѣка оставался пустымъ, потому

что нѣкогда въ немъ совершено было ужасное злодѣяніе, столь ужасное, что даже и повѣсть о немъ исчезла изъ памяти людей; ибо кто зналъ ее, тотъ не смѣлъ повторить другому, а кто не зналъ, тотъ боялся выслушать. Отъ того преданье шло только о томъ, что какое-то злодѣяніе совершилось, и что дворецъ съ тѣхъ поръ оставался нечистымъ. Туда пошелъ Оригеллъ, утѣшая себя мыслію, что хуже того, что будетъ, не будетъ.

Посреди дворца нашелъ онъ площадку; посреди площадки стояла палатка съ золотою шишечкой; посреди палатки была лѣстница съ живыми перильцами; лѣстница привела его къ подземному ходу; подземный ходъ вывелъ его на гладкое поле, окруженное непроходимымъ лѣсомъ; посреди поля стояла хижина; посреди хижины сидѣлъ Дервишъ и читалъ Черную Книгу. Оригеллъ разсказалъ ему свое положеніе и просилъ о помощи.

Дервишъ раскрылъ Книгу Небесъ, и нашелъ въ ней подъ какою звѣздою Нурреддинъ родился, и въ какомъ созвѣздіи та звѣзда, и какъ далеко отстоитъ она отъ подлунной земли.

Отыскавъ мѣсто звѣзды на небѣ, Дервишъ сталъ отыскивать ея мѣсто въ судьбахъ небесныхъ, и для того раскрылъ другую книгу, Книгу Волшебныхъ Знаковъ, гдѣ на черной страницѣ явился передъ нимъ огненный кругъ: много звѣздъ блестѣло въ кругу и на окружности, иныя внутри, другія по краямъ; Нурреддинова звѣзда стояла въ самомъ центрѣ огненнаго круга.

Увидѣвъ это, колдунъ задумался, и потомъ обратился къ Оригеллу съ слѣдующими словами:

«Горе тебѣ, царь Китайскій, ибо непобѣдимъ твой врагъ и никакія чары не могутъ преодолѣть его счастія; счастье его заключено внутри его сердца, и крѣпко создана душа его, и всѣ намѣренія его должны исполняться; ибо онъ никогда не желалъ невозможнаго, никогда не искалъ несбыточнаго, никогда не любилъ небывалаго, а потому и никакое колдовство не можетъ на него дѣйствовать!»

«Однако,— продолжалъ Дервишъ — я могъ бы одолѣть его счастье, я могъ бы опутать его волшебствами и наговорами,

если бы нашлась на свѣтѣ такая красавица, которая могла бы возбудить въ немъ такую любовь, которая подняла бы его сердце выше звѣзды своей и заставила бы его думать мысли невыразимыя, искать чувства невыносимаго и говорить слова непостижимыя; тогда могъ бы я погубить его.»

«Еще могъ бы я погубить его тогда, когда бы нашелся въ мірѣ такой старикъ, который бы пропѣлъ ему такую пѣсню, которая бы унесла его за тридевять земель въ тридесятое государство, куда звѣзды садятся.»

«Еще могъ бы я погубить его тогда, когда бы въ природѣ нашлось такое мѣсто, съ горами, съ пригорками, съ лѣсами, съ долинами, съ рѣками, съ ущельями, такое мѣсто, которое было бы такъ прекрасно, чтобы Нуррединъ, засмотрѣвшись на него, позабылъ хотя на минуту обыкновенныя заботы текущаго дня.»

«Тогда мои чары могли бы на него дѣйствовать.»

«Но на свѣтѣ нѣтъ такой красавицы, нѣтъ въ мірѣ такого старика, нѣтъ такой пѣсни, и нѣтъ такого мѣста въ природѣ.»

«Потому Нуррединъ погибнуть не можетъ.»

«А тебѣ, Китайскій царь, спасенья нѣтъ и въ чародѣйствахъ.»

При этихъ словахъ чернокнижника отчаянье Оригелла достигло высшей степени, и онъ уже хотѣлъ идти вонъ изъ хижины Дервиша, когда послѣдній удержалъ его слѣдующими словами:

«Погоди еще, царь Китайскій! еще есть одно средство погубить твоего врага. Смотри: видишь ли ты звѣзду Нуррединову? Высоко, кажется, стоитъ она на небѣ; но, если ты захочешь, мои заклинанья пойдутъ еще выше. Я сорву звѣзду съ неба; я привлеку ее на землю; я сожму ее въ искорку; я запру ее въ темницу крѣпкую, — и спасу тебя; но для этого, государь, долженъ ты поклониться моему владыкѣ и принести ему жертву подданническую.»

Оригеллъ согласился на все. Трынь-трава закурилась, знакъ начерченъ на землѣ, слово произнесено, и обрядъ совершился.

Въ эту ночь,—войска отдыхали и въ городѣ и въ станѣ,— часовые молча ходили взадъ и впередъ, и медленно перекли-

кались;—вдругъ: какая-то звѣздочка сорвалась съ неба и падаетъ, падаетъ—по темному своду, за темный лѣсъ; часовые остановились: звѣзда пропала—куда? неизвѣстно; только тамъ, гдѣ она падала, струилась еще свѣтлая дорожка, и то на минуту;—опять на небѣ темно и тихо; — часовые опять пошли своею указною дорогою.

На утро оруженосецъ вошелъ въ палатку Нурредина: «Государь! какой-то монахъ съ горы Араратской проситъ видѣть свѣтлое лицо твое ; онъ говоритъ, что имѣетъ важныя тайны сообщить тебѣ.»

«Впусти его!»

«Чего хочешь ты отъ меня, святой отецъ?»

«Государь! шестьдесятъ лѣтъ не выходилъ я изъ кельи, въ звѣздахъ и книгахъ испытуя премудрость и тайны созданія. Я проникъ въ сокровенное природы; я вижу внутренность земли и солнца: будущее ясно глазамъ моимъ ; судьба людей и народовъ открыта передо мною!...»

«Монахъ! чего хочешь ты отъ меня?»

«Государь! я принесъ тебѣ перстень, въ которомъ заключена звѣзда твоя. Возьми его, и судьба твоя будетъ въ твоихъ рукахъ. Если ты надѣнешь его на мизинецъ лѣвой руки и вглядишься въ блескъ этого камня, то въ немъ предстанетъ тебѣ твое счастіе; но тамъ же увидишь ты и гибель свою, и отъ тебя одного будетъ зависѣть тогда твоя участь, великій государь...»

«Старикъ! — прервалъ его Нуррединъ, — если все сокровенное открыто передъ тобой, то какъ же осталось для тебя тайною то, что давно извѣстно всему міру? — Можетъ быть только ты одинъ не знаешь, столѣтній отшельникъ, что судьба Нурредина и безъ твоего перстня у него въ рукахъ, что счастіе его заключено въ мечѣ его. Не нужно мнѣ другой звѣзды, кромѣ той, которая играетъ на этомъ лезвіѣ, — смотри, какъ блещетъ это желѣзо — и какъ умѣетъ оно наказывать обманщиковъ!...»

При этомъ словѣ Нуррединъ схватилъ свой мечь; но когда обнажилъ его, то старый монахъ былъ уже далеко за палаткою царскою, по дорогѣ къ непріятельскому стану. Черезъ

нѣсколько минутъ оруженосецъ снова вошелъ въ ставку Нурредина.

«Государь! монахъ, который сей часъ вышелъ отъ тебя, возвращался опять. Онъ велѣлъ мнѣ вручить тебѣ этотъ перстень и просить тебя, собственными глазами удостовѣриться въ истинѣ его словъ.»

«Гдѣ онъ? Приведи его сюда?»

«Оставя мнѣ перстень, онъ тотчасъ же скрылся въ лѣсу, который примыкаетъ къ нашему лагерю, и сказалъ только, что придетъ завтра.»

— Хорошо. Оставь перстень здѣсь, и когда придетъ монахъ, пусти его ко мнѣ.

Перстень не блестѣлъ богатсвомъ украшеній. Круглый опалъ, обдѣланный въ золотѣ просто, тускло отливалъ радужныя краски.

«Не уже ли судьба моя въ этомъ камнѣ? — думалъ Нуррединъ. Завтра вѣрнѣе узнаешь ты свою судьбу отъ меня, дерзкій обманщикъ!...» И между тѣмъ царь надѣвалъ перстень на мизинецъ лѣвой руки и, смотря на переливчатый камень, старался открыть въ немъ что нибудь необыкновенное.

И въ самомъ дѣлѣ, въ облачно-небесномъ цвѣтѣ этого перстня былъ какой-то особенный блескъ, котораго Нуррединъ не замѣчалъ прежде въ другихъ опалахъ. Какъ будто внутри его была спрятана искорка огня, которая играла и бѣгала, то погасала, то снова вспыхивала, и при каждомъ движеніи руки разгоралась все ярче и ярче.

Чѣмъ болѣе Нуррединъ смотрѣлъ на перстень, тѣмъ яснѣе отличалъ онъ огонекъ, и тѣмъ прозрачнѣе дѣлался камень. Вотъ огонекъ остановился яркою звѣздочкой, глубоко внутри опала, котораго туманный блескъ разливался внутри нея, какъ воздухъ вечерняго неба, слегка подернутаго легкими облаками.

Въ этомъ легкомъ туманѣ, въ этой свѣтлой, далекой звѣздочкѣ было что-то неодолимо привлекательное для царя Сирійскаго; не только не могъ онъ отвести взоровъ отъ чудеснаго перстня, но, забывъ на это время и войну и Оригелла, онъ всѣмъ вниманіемъ и всѣми мыслями утонулъ въ созерцаніи чудеснаго огонька, который, то дробясь на радугу, то опять

сливаясь въ одно солнышко, выросталъ и приближался все больше и больше.

Чѣмъ внимательнѣе Нуррединъ смотрѣлъ внутрь опала, тѣмъ онъ казался ему глубже и бездоннѣе. Мало по малу золотой обручикъ перстня превратился въ круглое окошечко, сквозь которое сіяло другое небо, свѣтлѣе нашего, и другое солнце, такое же яркое, лучезарное, но какъ будто еще веселѣе и не такъ ослѣпительно.

Это новое небо становилось безпрестанно блестящѣе и разнообразнѣе; это солнце все больше и больше; вотъ оно выросло огромнѣе надземнаго, еще ярче, еще торжественнѣе, и хотя ослѣпительно, но все ненаглядно и привлекательно; быстро катилось оно ближе и ближе; или, лучше сказать, Нуррединъ не зналъ, солнце ли прибдижается къ нему, или онъ летитъ къ солнцу.

Вотъ новое явленіе поражаетъ его напряженныя чувства: изъ-подъ катящагося солнца исходитъ глухой и неявственный гулъ, какъ бы ревъ далекаго вѣтра, или какъ стонъ умолкающихъ колоколовъ; и чѣмъ ближе солнце, тѣмъ звонче гулъ. Вотъ ужъ слухъ Нурредина можетъ ясно распознать въ немъ различные звуки: будто тысячи арфъ разноструннными звонами сливаются въ одну согласную пѣснь; будто тысячи разныхъ голосовъ различно строются въ одно созвучіе, тѣ умирая, тѣ рождаясь, и всѣ повинуясь одной, разнообразно переливчатой, необъятной гармоніи.

Эти звуки, эти пѣсни проникли до глубины души Нурредина. Въ первый разъ испыталъ онъ, что такое восторгъ. Какъ будто сердце его, дотолѣ нѣмое, пораженное голосомъ звѣзды своей, вдругъ обрѣло и слухъ и языкъ; такъ, какъ звонкій металлъ, въ первый разъ вынесенный на свѣтъ рукою искуства, при встрѣчѣ съ другимъ металломъ, потрясается до глубины своего состава и звенитъ ему звукомъ отвѣтнымъ. Жадно вслушиваясь въ окружающую его музыку, Нуррединъ не могъ различить, что изнутри его сердца, что извнѣ ему слышится.

Вотъ прикатившееся солнце заслонило собою весь круглый сводъ своего неба; все горѣло сіяніемъ; воздухъ сталъ жарокъ, и душенъ, и ослѣпителенъ; музыка превратилась въ оглуши-

тельный громъ; — но вотъ — пламя исчезло, замолкли звуки, и нѣмое солнце утратило лучи свои, хотя еще не переставало расти и приближаться, свѣтя холоднымъ сіяніемъ восходящаго мѣсяца. Но, безпрестанно блѣднѣя, скоро и это сіяніе затмилось; солнце приняло видъ земли, и вотъ — долетѣло... ударило... перевернулось... и — гдѣ земля? гдѣ перстень?... Нуррединъ, самъ не вѣдая какъ, очутился на новой планетѣ.

Здѣсь все было странно и невѣрно: горы, насыпанныя изъ граненыхъ брилліантовъ; огромные утесы изъ чистаго серебра, украшенные самородными рельефами, изящными статуями, правильными колоннами, выросшими изъ золота и мрамора. Тамъ ослѣпительныя бесѣдки изъ разноцвѣтныхъ кристалловъ. Тамъ роща, — и прохладная тѣнь ея исполнена самаго нѣжнаго, самаго упоительнаго благоуханія. Тамъ бьетъ фонтанъ виномъ кипучимъ и яркимъ. Тамъ свѣтлая рѣка тихо плескается о зеленые берега свои; но въ этомъ плесканьи, въ этомъ говорѣ волнъ есть что-то разумное, что-то понятное безъ словъ, какой-то мудреный разсказъ о несбыточномъ, но бываломъ, какая-то сказка волшебная и заманчивая. Вмѣсто вѣтра здѣсь вѣяла музыка; вмѣсто солнца здѣсь свѣтилъ самъ воздухъ. Вмѣсто облаковъ летали прозрачные образы боговъ и людей; какъ будто снятые волшебнымъ жезломъ съ картины какого нибудь великаго мастера, они, легкіе, вздымались до неба и, плавая въ стройныхъ движеніяхъ, купались въ воздухѣ.

Долго Сирійскій царь ходилъ въ сладкомъ раздумьи по новому міру, и ни взоръ его, ни слухъ ни на минуту не отдыхали отъ безпрестаннаго упоенія. Но посреди окружавшихъ его прелестей невольно въ душу его тѣснилась мысль другая: онъ со вздохомъ вспоминалъ о той музыкѣ, которую приближаясь издавала звѣзда его ; онъ полюбилъ эту музыку такъ, какъ будто она была не голосъ, а живое созданіе, существо съ душою и съ образомъ; тоска по ней мѣшалась въ каждое его чувство, и услышать снова тѣ чарующіе звуки стало теперь его единственнымъ, болѣзненнымъ желаніемъ.

Между тѣмъ въ глубинѣ зеленаго лѣса открылся передъ нимъ блестящій дворецъ, чудесно слитый изъ остановленнаго дыма. Дворецъ, казалось, струился и волновался, и переливался, и не

смотря на то, стоялъ неподвижно и твердо въ одномъ положеніи. Прозрачныя колонны жемчужнаго цвѣта были увиты свѣтлыми гирляндами изъ розовыхъ облаковъ. Дымчатый портикъ возвышался стройно и радужно, красуясь граціей самыхъ строгихъ пропорцій; огромный сводъ казался круглымъ каскадомъ, который падалъ во всѣ стороны свѣтлою дугою, безъ рѣки и безъ брызговъ: все во дворцѣ было живо, все играло, и весь онъ казался летучимъ облакомъ, а между тѣмъ это облако сохраняло постоянно свои строгія формы. Крѣпко забилось сердце Нуррединово, когда онъ приблизился ко дворцу: предчувствіе какого-то неиспытаннаго счастія занимало духъ и томило грудь его. Вдругъ растворились легкія двери, и въ одеждѣ изъ солнечныхъ лучей, въ вѣнцѣ изъ яркихъ звѣздъ, опоясанная радугой, вышла дѣвица.

«Это она!» воскликнулъ Сирійскій царь. Нурединъ узналъ ее. Правда, подъ туманнымъ покрываломъ не видно было ея лица; но по гибкому ея стану, по ея граціознымъ движеніямъ и стройной поступи, развѣ слѣпой одинъ могъ бы не узнать на его мѣстѣ, что эта дѣвица была та самая Музыка Солнца, которая такъ плѣнила его сердце.

Едва увидѣла дѣвица Сирійскаго царя, какъ въ ту же минуту обратилась къ нему спиною и, какъ бы испугавшись, пустилась бѣжать вдоль широкой аллеи, усыпанной мѣлкимъ, серебрянымъ пескомъ. Царь за нею.

Чѣмъ ближе онъ къ ней, тѣмъ шибче бѣжитъ дѣвица, и тѣмъ болѣе царь ускоряетъ свой бѣгъ.

Грація во всѣхъ ея движеніяхъ; волосы развѣялись по плечамъ; быстрыя ножки едва оставляютъ на серебряномъ песку свои узкіе, стройные слѣды; но вотъ ужъ царь не далеко отъ нея; вотъ онъ настигъ ее, хочетъ обхватить ея стройный станъ, — она мимо, быстро, быстро... какъ будто Грація обратилась въ Молнію; легко, красиво... какъ будто Молнія обернулась въ Грацію.

Дѣвица исчезла; царь остался одинъ, усталый, недовольный. Напрасно искалъ онъ ее во дворцѣ и по садамъ: нигдѣ не было и слѣдовъ дѣвицы. Вдругъ изъ-за куста ему повѣяло музыкой, какъ будто вопросъ: за чѣмъ пришелъ ты сюда? —

«Клянусь красотою здѣшняго міра,—отвѣчалъ Нуррединъ—что я не съ тѣмъ пришелъ сюда, чтобы вредить тебѣ, и не сдѣлаю ничего противнаго твоей волѣ, прекрасная дѣвица, если только выйдешь ко мнѣ и хотя на минуту откроешь лицо свое.»

«Какъ пришелъ ты сюда?» повѣяла ему таже музыка. Нурединъ разсказалъ, какимъ образомъ достался ему перстень, и едва онъ кончилъ, какъ вдругъ изъ тѣнистой бесѣдки показалась ему таже дѣвица; и въ то же самое мгновеніе царь очнулся въ своей палаткѣ.

Перстень былъ на его рукѣ, и передъ нимъ стоялъ ханъ Арбазъ, храбрѣйшій изъ его полководцевъ и умнѣйшій изъ его совѣтниковъ. «Государь! — сказалъ онъ Нурредину — покуда ты спалъ, непріятель ворвался въ нашъ станъ. Никто изъ придворныхъ не смѣлъ разбудить тебя; но я дерзнулъ прервать твой сонъ, боясь, чтобы безъ твоего присутствія побѣда не была сомнительна.»

Суровый, разгнѣванный взоръ былъ отвѣтомъ министру; нехотя опоясалъ Нурединъ свой мечь, и тихими шагами вышелъ изъ ставки.

Битва кончилась. — Китайскія войска снова заперлись въ стѣнахъ своихъ; Нурединъ, возвратясь въ свою палатку, снова заглядѣлся на перстень. Опять звѣзда, опять солнце и музыка, и новый міръ, и облачный дворецъ, и дѣвица. Теперь она была съ нимъ смѣлѣе, хотя не хотѣла еще поднять своего покрывала.

Китайцы сдѣлали новую вылазку. Сирійцы опять отразили ихъ; но Нурединъ потерялъ лучшую часть своего войска, которому въ битвѣ уже не много помогала его рука, бывало неодолимая. Часто въ пылу сраженія Сирійскій царь задумывался о своемъ перстнѣ, и посреди боя оставался равнодушнымъ его зрителемъ, и бывши зрителемъ, казалось, видѣлъ что-то другое.

Такъ прошло нѣсколько дней. Наконецъ, царю Сирійскому наскучила тревога боеваго стана. Каждая минута, проведенная не внутри опала, была ему невыносима. Онъ забылъ и славу, и клятву: первый послалъ Оригеллу предложеніе о мирѣ, и, заключивъ его на постыдныхъ условіяхъ, возвратился въ Дамаскъ; поручилъ визирямъ правленіе царства, запершись въ сво-

емъ чертогѣ, и подъ смертною казнію запретилъ своимъ царедворцамъ входить въ царскіе покои безъ особеннаго повелѣнія.

Почти все время проводилъ Нуррединъ на звѣздѣ, близь дѣвицы; но до сихъ поръ еще не видалъ онъ ея лица. Однажды, тронутая его просьбами, она согласилась поднять покрывало; и той красоты, которая явилась тогда передъ его взорами, невозможно выговорить словами, даже магическими, — и того чувства, которое овладѣло имъ при ея взглядѣ, невозможно вообразить даже и во снѣ. Если въ эту минуту Сирійскій царь не лишился жизни, то конечно не отъ того, чтобы люди не умирали отъ восторга, а вѣроятно потому только, что на той звѣздѣ не было смерти.

Между тѣмъ министры Нуррединовы думали болѣе о своей выгодѣ, чѣмъ о пользѣ государства. Сирія изнемогала отъ неустройствъ и беззаконій. Слуги слугъ министровыхъ утѣсняли гражданъ; почеты сыпались на богатыхъ; бѣдные страдали; народомъ овладѣло уныніе, а сосѣди смѣялись.

Жизнь Нурредина на звѣздѣ была серединою между сновидѣніемъ и дѣйствительностію. Ясность мыслей, святость и свѣжесть впечатлѣній могли принадлежать только жизни на яву; но волшебство предметовъ, но непрерывное упоеніе чувствъ, но музыкальность сердечныхъ движеній и мечтательность всего окружающаго уподобляли жизнь его болѣе сновидѣнію, чѣмъ дѣйствительности. Дѣвица Музыка казалась также сліяніемъ двухъ міровъ. Душевное выраженіе ея лица, безпрестанно измѣняясь, было всегда согласно съ мыслями Нурредина, такъ что красота ея представлялась ему столько же зеркаломъ его сердца, сколько отраженіемъ ея души. Голосъ ея былъ между звукомъ и чувствомъ: слушая его, Нуррединъ не зналъ, точно ли слышитъ онъ музыку, или все тихо, и онъ только воображаетъ ее? Въ каждомъ словѣ ея находилъ онъ что-то новое для души, а все вмѣстѣ было ему какимъ-то счастливымъ воспоминаніемъ чего-то дожизненнаго. Разговоръ ея всегда шелъ туда, куда шли его мысли, такъ какъ выраженіе лица ея слѣдовало всегда за его чувствами; а между тѣмъ все, что она говорила, безпрестанно возвышало его прежнія понятія, такъ какъ красота ея безпрестанно удивляла его воображеніе. Часто, взявшись

рука съ рукою, они молча ходили по волшебному міру; или, сидя у волшебной рѣки, слушали ея волшебныя сказки; или смотрѣли на синее сіяніе неба; или, отдыхая на волнистыхъ диванахъ облачнаго дворца, старались собрать въ опредѣленныя слова все разсѣянное въ ихъ жизни; или, разостлавъ свое покрывало, дѣвица обращала его въ коверъ самолётъ, и они вмѣстѣ улетали на воздухъ, и купались, и плавали среди красивыхъ облаковъ; или, поднявшись высоко, они отдавались на волю случайнаго вѣтра и неслись быстро по безпредѣльному пространству и уносились, куда взоръ не дойдетъ, куда мысль не достигнетъ, и летѣли, и летѣли такъ—что духъ замиралъ...

Но положеніе Сиріи безпрестанно становилось хуже, и тѣмъ опаснѣе, что въ цѣлой Азіи совершились тогда страшные перевороты. Древніе грады рушились; огромныя царства колебались и падали; новыя возникали насильственно; народы двигались съ мѣстъ своихъ; неизвѣстныя племена набѣгали неизвѣстно откуда; предѣловъ не стало между государствами; никто не вѣрилъ завтрешнему дню; каждый дрожалъ за текущую минуту; одинъ Нурединъ не заботился ни о чемъ. Внутреннія неустройства со всѣхъ сторонъ открыли Сирію внѣшнимъ врагамъ; одна область отпадала за другою, и уже самые близорукіе умы начинали предсказывать ей близкую погибель.

«Дѣвица!—сказалъ однажды Нурединъ дѣвицѣ Музыкѣ—поцѣлуй меня!»

«Я не могу — отвѣчала дѣвица — если я поцѣлую тебя, то лишусь всего отличія моей прелести, и красотой своей сравняюсь съ обыкновенными красавицами подлунной земли. Есть однако средство исполнить твое желаніе, не теряя красоты моей... оно зависитъ отъ тебя... послушай: если ты любишь меня, отдай мнѣ перстень свой; блестя на моей рукѣ, онъ уничтожитъ вредное дѣйствіе твоего поцѣлуя.»

«Но какъ же безъ перстня приду я къ тебѣ?»

«Какъ ты теперь видишь мою землю въ этомъ перстнѣ, такъ я тогда увижу въ немъ твою землю; какъ ты теперь приходишь ко мнѣ, такъ и я приду къ тебѣ» — сказала дѣвица-Музыка, и, одной рукой снимая перстень съ руки Нурединa,

она обнимала его другою. И въ то мгновеніе, какъ уста ея коснулись устъ Нуррединовыхъ, а перстень съ его руки перешелъ на руку дѣвицы, въ то мгновеніе, продолжавшееся, можетъ быть, не болѣе одной минуты, новый міръ вдругъ исчезъ вмѣстѣ съ дѣвицей, и Нурединъ, еще усталый отъ восторга, очутился одинъ на мягкомъ диванѣ своего дворца.

Долго ждалъ онъ обѣщаннаго прихода дѣвицы Музыки; но въ этотъ день она не пришла; ни черезъ два, ни черезъ мѣсяцъ, ни черезъ годъ. Напрасно разсылалъ онъ гонцовъ во всѣ концы свѣта искать Араратскаго отшельника; уже и послѣдній изъ нихъ возвратился безъ успѣха. Напрасно истощалъ онъ свои сокровища, скупая отовсюду круглые опалы; ни въ одномъ изъ нихъ не нашелъ онъ звѣзды своей.

«Для каждаго человѣка есть одна звѣзда; — говорили ему волхвы — ты, государь, потерялъ свою, другой уже не найти тебѣ!»

Тоска овладѣла царемъ Сирійскимъ, и онъ конечно не задумался бы утопить ее въ студеныхъ волнахъ своего златопесчанаго Бардинеза, еслибы только вмѣстѣ съ жизнію не боялся лишиться и послѣдней тѣни прежнихъ наслажденій — грустнаго, темнаго наслажденія: *вспоминать* про свое солнышко!

Между тѣмъ тотъ же Оригеллъ, который недавно трепеталъ меча Нурединова, теперь самъ осаждалъ его столицу. Скоро стѣны Дамасскія были разрушены, Китайское войско вломилось въ царскій дворецъ, и вся Сирія вмѣстѣ съ царемъ своимъ подпала подъ власть Китайскаго императора.

«Вотъ примѣръ коловратности счастія, — говорилъ Оригеллъ, указывая полководцамъ своимъ на окованнаго Нурредина — теперь онъ рабъ, и вмѣстѣ съ свободою утратилъ весь блескъ прежняго имени. Ты заслужилъ свою гибель — продолжалъ онъ, обращаясь къ царю Сирійскому, — однако я не могу отказать тебѣ въ сожалѣніи, видя въ несчастіи твоемъ могущество судьбы еще болѣе, чѣмъ собственную вину твою. Я хочу, сколько можно, вознаградить тебя за потерю твоего трона. Скажи мнѣ: чего хочешь ты отъ меня? О чемъ изъ утраченнаго жалѣешь ты болѣе? Который изъ дворцовъ желаешь ты сохранить? Кого

изъ рабовъ оставить? Избери лучшія изъ сокровищъ моихъ и, если хочешь, я позволю тебѣ быть моимъ намѣстникомъ на прежнемъ твоемъ престолѣ!»

« Благодарю тебя, государь! — отвѣчалъ Нуррединъ — но изъ всего, что ты отнялъ у меня, я не жалѣю ни о чемъ. Когда дорожилъ я властію, богатствомъ и славою, умѣлъ я быть и сильнымъ, и богатымъ. Я лишился сихъ благъ только тогда, когда пересталъ желать ихъ, и недостойнымъ поцеченія моего почитаю я то, чему завидуютъ люди. Суета, всѣ блага земли! суета все, что обольщаетъ желанія человѣка, и чѣмъ плѣнительнѣе, тѣмъ менѣе истинно, тѣмъ болѣе суета! Обманъ все прекрасное, и чѣмъ прекраснѣе, тѣмъ обманчивѣе; ибо лучшее, что есть въ мірѣ, это — мечта.

30 Декабря 1830 г.
Москва.

ДЕВЯТЬНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ.

Столько уже говорено о направленіи девятьнадцатаго вѣка, что мудрено было бы сказать объ немъ что либо новое, еслибы девятьнадцатый вѣкъ былъ для насъ прошедшимъ. Но онъ живетъ, и слѣдовательно измѣняется; и каждое измѣненіе его господствующаго духа ставитъ насъ на новую точку зрѣнія. Другая перспектива, въ которой минувшее располагается передъ текущею минутою, даетъ ему другое значеніе. Такъ путешественникъ, съ каждою перемѣною мѣста, видитъ въ новомъ свѣтѣ пройденную дорогу. Такъ новый опытъ въ жизни даетъ цѣлому міру воспоминаній новую стройность и новый смыслъ.

Этимъ новымъ опытомъ въ жизни девятьнадцатаго вѣка были событія послѣднихъ лѣтъ. Я говорю не о политикѣ. Но въ литературѣ, въ обществѣ, въ борьбѣ религіозныхъ партій, въ волненіяхъ философскихъ мнѣній, однимъ словомъ, въ цѣломъ нравственномъ бытѣ просвѣщенной Европы замѣтно присутствіе какого-то новаго, какого-то недавняго убѣжденія, которое если не измѣняетъ господствующаго направленія, то по крайней мѣрѣ даетъ ему оттѣнки и другія отношенія.

Въ чемъ же состоитъ эта особенность текущей минуты?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ долженъ служить основаніемъ нашихъ сужденій обо всемъ современномъ; ибо одно понятіе текущей минуты, связывая общія мысли съ частными явленіями, опредѣляетъ въ умѣ нашемъ мѣсто, порядокъ и степень важности для всѣхъ событій нравственнаго и физическаго міра. Было время, когда понятіе настоящей минуты вѣка составляло исключительную принадлежность Генія, предполагая въ немъ порывъ какого-то безотчетнаго, пророческаго и немногимъ доступнаго вдохновенія. Но теперь, когда опредѣлить господствую-

щее направленіе вѣка сдѣлалось главною и общею цѣлію всѣхъ мыслящихъ; когда всѣ *данные для* того извѣстны и собраны; когда всѣ отросли ума и жизни породнились между собою столь тѣсно, что изученіе одной открываетъ намъ современное состояніе всѣхъ другихъ, — понятіе настоящаго направленія времени уже не требуетъ ни геніальности, ни вдохновенія; оно сдѣлалось доступно для каждаго мыслящаго, и предполагаетъ въ немъ только внимательный взглядъ на окружающій міръ, холодный разсчетъ и безпристрастное соображеніе.

Однако, не смотря на это всеобщее стремленіе постигнуть духъ своего времени, не было вѣка, изученіе котораго представляло бы столько трудностей, сколько представляетъ изученіе нашего; ибо никогда измѣненія господствующаго направленія не совершались столь быстро и столь рѣшительно. Прежде характеръ времени едва чувствительно перемѣнялся съ перемѣною поколѣній; наше время для одного поколѣнія мѣняло характеръ свой уже нѣсколько разъ, и можно сказать, что тѣ изъ моихъ читателей, которые видѣли полвѣка, видѣли нѣсколько вѣковъ, пробѣжавшихъ предъ ними во всей полнотѣ своего развитія.

Утвержденіе это не игра пустыхъ словъ: его истина подтверждается ежедневно очевидными доказательствами. Сравните прежнія времена съ настоящимъ; раскройте историческія записки, частныя письма, романы и біографіи прошедшихъ вѣковъ: вездѣ и во всякое время найдете вы людей *одного времени*. При всемъ разнообразіи характеровъ, положеній и обстоятельствъ, каждый вѣкъ представитъ вамъ одинъ общій *цвѣтъ*, одно клеймо, которое больше или меньше врѣзано на всѣхъ одновременныхъ лицахъ. Всѣ воспитаны односмысленными обстоятельствами, образованы одинакимъ духомъ времени. И тѣ умы, которые въ борьбѣ съ направленіемъ своего вѣка, и тѣ, которые покорствуютъ ему, всѣ равно обнаруживаютъ его господство: оно служитъ общимъ центромъ, къ которому примыкаютъ направленія частныя, какъ правая и лѣвая сторона въ палатѣ депутатовъ.

Но взгляните на Европейское общество нашего времени: не разногласныя мнѣнія одного вѣка найдете вы въ немъ, нѣтъ! вы встрѣтите отголоски нѣсколькихъ вѣковъ, не столько *противные* другъ другу, сколько *разнородные* между собою. Подлѣ

человѣка *стараго времени*, найдете вы человѣка, образованнаго духомъ *Французской революціи*; тамъ человѣка, воспитаннаго обстоятельствами и мнѣніями, *послѣдовавшими непосредственно за Французскою революціею;* съ нимъ рядомъ человѣка, проникнутаго тѣмъ порядкомъ вещей, который начался на твердой землѣ Европы съ паденіемъ Наполеона; наконецъ, между ними встрѣтите вы человѣка послѣдняго времени, и-каждый будетъ имѣть свою особенную физіогномію, каждый будетъ отличаться отъ всѣхъ другихъ во всѣхъ возможныхъ обстоятельствахъ жизни, однимъ словомъ, каждый явится предъ вами отпечаткомъ особаго вѣка.

Нѣкоторые полагаютъ, что эта быстрота измѣненій духа времени зависитъ отъ самой сущности сихъ измѣненій; другіе напротивъ того думаютъ, что она происходитъ отъ обстоятельствъ постороннихъ, отъ случайныхъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ и т. п., третьи видятъ причину ея въ духѣ настоящаго просвѣщенія вообще. Мы не станемъ разыскивать степени справедливости каждаго изъ сихъ объясненій; замѣтимъ только существованіе самаго *факта*, и постараемся опредѣлить исторически особенность и сущность послѣдняго изъ сихъ измѣненій господствующаго направленія *Европеизма*.

Въ концѣ осьмнадцатаго вѣка, когда борьба между старыми мнѣніями и новыми требованіями просвѣщенія находилась еще въ самомъ пылу своего кипѣнія, господствующее направленіе умовъ было безусловно *разрушительное*. Науки, жизнь, общество, литература, даже самыя искусства изящныя, все обнаруживало одно стремленіе: ниспровергнуть старое. Замѣчательно, что даже мысль о новомъ, долженствовавшемъ заступить мѣсто стараго, почти не являлась иначе какъ *отрицательно*. Эти электрическія слова, которыхъ звукъ такъ потрясалъ умы: *свобода, разумъ, человѣчество*,—что значили они во время Французской революціи?

Ни одно изъ сихъ словъ не имѣло значенія *самобытнаго*; каждое получало смыслъ только изъ отношеній къ прежнему вѣку. Подъ *свободою* понимали единственно отсутствіе прежнихъ стѣсненій; подъ *человѣчествомъ* разумѣли единственно матеріяльное большинство людей, то есть, противоположность тѣмъ

немногимъ лицамъ, въ коихъ по прежнимъ понятіямъ оно заключалось; царствомъ *разума* называли отсутствіе предразсудковъ, или того, что почитали предразсудками; — и что не предразсудокъ предъ судомъ толпы непросвѣщенной? Религія пала вмѣстѣ съ злоупотребленіями оной, и ея мѣсто заступило легкомысленное невѣріе. Въ наукахъ признавалось истиннымъ одно ощутительно испытанное, и все сверхъ-чувственное отвергалось не только какъ недоказанное, но даже какъ невозможное. Изящныя искусства отъ подражанія классическимъ образцамъ обратились къ подражанію внѣшней неодушевленной природѣ. Тонъ общества отъ изысканной искусственности перешелъ къ необразованной естественности. Въ философіи господствовалъ грубый, чувственный матеріялизмъ. Правила нравственности сведены были къ разсчетамъ непросвѣтленной корысти. Однимъ словомъ, все зданіе прежняго образа мыслей разрушалось въ своемъ основаніи; вся совокупность нравственнаго быта распадалась на составныя части, на азбучныя, матеріяльныя начала бытія.

Но это направленіе разрушительное, которому яснымъ и кровавымъ зеркаломъ можетъ служить Французская революція, произвело въ умахъ направленіе противное, контръ-революцію, которая, хотя совершилась не вездѣ одновременно, но выразилась вездѣ однозначительно. Систематическія умозрѣнія взяли верхъ надъ ощутительнымъ опытомъ, который пересталъ уже быть единственнымъ руководителемъ въ наукахъ. Мистицизмъ распространился между людьми, неподдавшимися увлеченію легкомысленнаго невѣрія. Общество, униженное до простонародности, старалось возвыситься блескомъ внѣшняго великолѣпія и пышности. Въ искусствахъ подражаніе внѣшней природѣ замѣнилось сентиментальностію и мечтательностію, которыя на всю дѣйствительность набрасывали однообразный цвѣтъ исключительнаго чувства или систематической мысли, уничтожая такимъ образомъ самобытность и разнообразіе внѣшняго міра. Въ области философіи, какъ противоположность прежнему матеріялизму, начали развиваться системы чисто духовныя, выводящія весь видимый міръ изъ одного невещественнаго начала. Такимъ образомъ во всѣхъ отрослѣхъ ума и жизни болѣе или менѣе замѣтна была потребность *единства*, противоположная

прежнему разрушительному началу. Эта потребность единства произвела ту насильственную стройность, то искуственное однообразіе, которыя также относятся къ прежнему безначалію, какъ великій похититель Французскаго престола относится къ воспитавшей его Французской республикѣ. Но сіи два противоположныя направленія, *разрушительное и насильственно соединяющее*, согласовались въ одномъ: въ борьбѣ съ прежнимъ вѣкомъ. Изъ этой борьбы родилась потребность мира; изъ противорѣчащихъ волненій—потребность успокоительнаго равновѣсія, и образовалось третье измѣненіе духа девятьнадцатаго вѣка: стремленіе къ мирительному соглашенію враждующихъ началъ.

Терпимость, вмѣстѣ съ уваженіемъ къ религіи, явилась на мѣсто ханжества, невѣрія и таинственной мечтательности. Въ философіи идеализмъ и матеріялизмъ помирились системою тожества. Общество высшимъ закономъ своимъ признало изящество образованной простоты, равно удаленной отъ той простоты грубой, которая происходитъ отъ разногласнаго смѣшенія состояній, и отъ той изысканности неестественной, которая царствовала при дворѣ Людовика XIV-го, и отъ того великолѣпія необразованнаго, которое окружало Наполеона въ его величіи. Въ поэзіи подражаніе видимой дѣйствительности и мечтательность замѣнились направленіемъ историческимъ, гдѣ свободная мечта проникнута неизмѣняемою дѣйствительностью, и красота однозначительна съ правдою. И эта поэзія историческая почти не заимствовала предметовъ своихъ ни изъ древней исторіи, ни изъ новой; содержаніемъ ея почти исключительно была исторія средняя, то есть, то время, изъ котораго развился недавно прошедшій порядокъ вещей, находившійся въ борьбѣ съ новыми стремленіями. Историческіе разыскатели также ограничивались преимущественно эпохою среднихъ вѣковъ, исключая нѣкоторыхъ Нѣмецкихъ филологовъ, далеко не составляющихъ большинства. Даже мода искала *готическаго* въ своихъ минутныхъ нарядахъ, въ убранствахъ комнатъ и т. п. Вообще въ цѣломъ бытѣ просвѣщеннѣйшей части Европы образовался новый, *сложный* порядокъ вещей, въ составъ котораго вошли не только результаты новыхъ стремленій, но и остатки стараго вѣка, частію еще уцѣлѣвшіе, частію возобновленные, но въ обоихъ случаяхъ измѣнен-

ные новыми отношеніями. Господствующее направленіе умовъ, соотвѣтствовавшее этому новому порядку вещей, заключалось въ стремленіи къ успокоительному уравновѣшенію новаго духа съ развалинами старыхъ временъ и къ сведенію противоположныхъ крайностей въ одну общую, *искуственно отысканную* середину.

Но долго ли продолжалось это направленіе?

Оно продолжается еще и теперь, но уже значительно измѣненное. Докажемъ это состояніемъ литературы.

Въ литературѣ результатомъ сего направленія было стремленіе: согласовать воображеніе съ дѣйствительностью, правильность формъ съ свободою содержанія, округленность искуственности съ глубиною естественности, однимъ словомъ, то, что напрасно называютъ *классицизмомъ*, съ тѣмъ, что еще неправильнѣе называютъ *романтизмомъ*. Гёте, въ своихъ послѣднихъ произведеніяхъ, и Валтеръ Скоттъ, въ своихъ романахъ, могутъ во многихъ отношеніяхъ служить примѣромъ такого стремленія.

Тому десять лѣтъ, Гёте и Валтеръ Скоттъ были единственными образцами для всѣхъ подражаній, были идеалами тѣхъ качествъ, которыхъ Европейская публика требовала отъ своихъ писателей.

Но теперь большинство публики ищетъ уже другаго. Это замѣтно не только изъ того, что подражанія прежнимъ образцамъ значительно уменьшились; но еще больше изъ того, что теперь въ литературѣ властвуютъ такого рода писатели и сочиненія такихъ родовъ, которыми наслажденіе несовмѣстно съ предпочтеніемъ Гёте и Валтера Скотта. Неестественная изысканность подлѣ безвкусной обыкновенности въ мысляхъ; натянутость и вмѣстѣ низость слога, и вообще уродливость талантовъ, господствующихъ въ самыхъ просвѣщенныхъ словесностяхъ, доказываютъ ясно, что вкусъ нашего времени требуетъ чего-то новаго, чего недостаетъ прежнимъ писателямъ и для чего еще не явилось истиннаго поэта.

Правда, этими уродливыми талантами восхищается полуобразованная толпа, составляющая матеріяльное большинство публики, между тѣмъ какъ люди со вкусомъ просвѣщеннымъ смотрятъ на нихъ съ однимъ участіемъ сожалѣнія. Однако ненадобно

забывать, что эта полуобразованная толпа та самая, которая нѣкогда восхищалась Шекспиромъ и Попомъ, Расиномъ и Вольтеромъ, Шиллеромъ и Лессингомъ, и еще недавно Байрономъ, Валтеромъ Скоттомъ и Гёте. Дѣло только въ томъ, что для нея красота есть достоинство второстепенное даже и въ поэзіи, и что первое, чего она требуетъ, это — *соотвѣтственность съ текущею минутою*.

Доказывать сего положенія, кажется, не нужно: его подтверждаютъ тысячи поэтовъ безталантныхъ, которые имѣли короткій успѣхъ только потому, что выражали образъ мыслей или чувство, господствовавшіе въ ихъ время.

И такъ, чтобы опредѣлить эту соотвѣтственность между требованіями текущей минуты и настоящимъ состояніемъ поэзіи, надобно найти *общія качества*, которыя бы равно были свойственны всѣмъ писателямъ, пользующимся незаслуженными успѣхами. Ибо, чѣмъ менѣе таланта въ счастливомъ писателѣ, тѣмъ болѣе обнаруживаетъ онъ требованія своей публики.

По моему мнѣнію, въ самыхъ изысканностяхъ и неестественностяхъ, въ отвратительныхъ картинахъ, перемѣшанныхъ съ лирическими выходками, въ несообразности тона съ предметомъ, однимъ словомъ, во всемъ, что называютъ *безвкусіемъ* у большей части счастливыхъ писателей нашего времени, — замѣтны слѣдующія отличительныя качества:

1-е. Больше восторженности, чѣмъ чувствительности.

2-е. Жажда сильныхъ потрясеній, безъ уваженія къ ихъ стройности.

3-е. Воображеніе, наполненное одною дѣйствительностію во всей наготѣ ея.

Постараемся соединить въ умѣ эти три качества, и спросимъ самихъ себя: что предполагаютъ они въ человѣкѣ, который ищетъ ихъ въ поэзіи?

Безъ сомнѣнія, качества сіи предполагаютъ холодность, прозаизмъ, *положительность* и вообще *исключительное стремленіе къ практической дѣятельности*. Тоже можно сказать и о большинствѣ публики въ самыхъ просвѣщенныхъ государствахъ Европы.

Вотъ отъ чего многіе думаютъ, что время поэзіи прошло, и что ея мѣсто заступила жизнь дѣйствительная. Но не уже ли въ этомъ стремленіи къ жизни дѣйствительной нѣтъ своей особенной поэзіи? — Именно изъ того, что Жизнь *вытѣсняетъ* Поэзію, должны мы заключить, что стремленіе къ Жизни и къ Поэзіи *сошлись*, и что, слѣдовательно, часъ для поэта Жизни наступилъ.

Такое же сближеніе жизни съ развитіемъ человѣческаго духа, какое мы замѣтили въ поэзіи, обнаруживается и въ современномъ состояніи наукъ. Въ доказательство возмемъ самое умозрительное и самое отвлеченное изъ человѣческихъ познаній: философію.

Натуральная философія, названная такъ по случайной особенности своего происхожденія, была послѣднею ступенью, до которой возвысилось новѣйшее любомудріе. Идеализмъ Фихте и реализмъ Спинозы, догматизмъ Схоластики и критицизмъ Канта, предустановленная гармонія Лейбница и вещественная послѣдовательность Англійскаго и Французскаго матеріялизма, однимъ словомъ, все развитіе новѣйшаго мышленія отъ Декарта до Шеллинга, совмѣстилось въ системѣ сего послѣдняго и нашло въ ней свое окончательное развитіе, дополненіе и оправданіе. Казалось, судьба философіи рѣшена, цѣль ея отыскана и границы раздвинуты до невозможнаго. Ибо, постигнувъ сущность разума и законы его необходимой дѣятельности, опредѣливъ соотвѣтственность сихъ законовъ съ законами безусловнаго бытія, открывъ въ цѣломъ объемѣ міроздания повтореніе того же вѣчнаго разума, по тѣмъ же началамъ вѣчной необходимости, — куда еще могла бы стремиться любознательная мысль человѣка?

Таково было мнѣніе почти всѣхъ приверженцевъ системы тожества, то есть, не однихъ Шеллингистовъ, но и послѣдователей Гегеля, Окена, Аста, Вагнера и другихъ предводителей новѣйшаго Нѣмецкаго любомудрія. И по мѣрѣ того, какъ это любомудріе распространялось внѣ Германіи, вмѣстѣ съ нимъ распространялась увѣренность, что оно составляетъ послѣднее звено и верховный вѣнецъ философскаго мышленія.

Но тотъ же Шеллингъ, который первый создалъ систему

тожества, теперь самъ открываетъ новую цѣль и прокладываетъ новую дорогу для Философіи. Истинное познаніе, говоритъ онъ, познаніе *положительное, живое*, составляющее конечную цѣль всѣхъ требованій нашего ума, не заключается въ логическомъ развитіи необходимыхъ законовъ нашего разума. Оно *внѣ* школьно-логическаго процесса, и потому *живое;* оно *выше* понятія вѣчной необходимости, и потому *положительное;* оно *существеннѣе* математической отвлеченности, и потому *индивидуально-опредѣленное, историческое*. Но всѣ системы новѣйшаго любомудрія, подъ какими бы формами онѣ ни обнаруживались, подъ какими бы ни скрывались именами, преслѣдовали единственно развитіе законовъ умственной необходимости, и даже новѣйшій матеріализмъ основывался на убѣжденіи чисто логическомъ, выведенномъ изъ отвлеченнаго понятія законовъ нашего разума, но не изъ живаго познанія сущности вещей и бытія. Весь результатъ такого мышленія могъ заключаться только въ познаніи *отрицательномъ;* ибо разумъ, самъ себя развивающій, самъ собою и ограничивается. Познанія отрицательныя необходимы, но не какъ цѣль познаванія, а только какъ средство; они очистили намъ дорогу къ храму живой мудрости, но у входа его должны были остановиться. Проникнуть далѣе предоставлено философіи положительной, *Исторической*, для которой теперь только наступаетъ время; ибо теперь только довершено развитіе философіи отрицательной и логической.

Очевидно, что это требованіе исторической существенности и положительности въ философіи, сближая весь кругъ умозрительныхъ наукъ съ жизнью и дѣйствительностью, соотвѣтствуетъ тому же направленію, какое господствуетъ и въ новѣйшей литературѣ. И тоже стремленіе къ существенности, тоже сближеніе духовной дѣятельности съ дѣйствительностью жизни обнаруживается въ мнѣніяхъ религіозныхъ.

Мы уже замѣтили, что съ легкомысленнымъ и насмѣшливымъ невѣріемъ, распространеннымъ Вольтеромъ и его послѣдователями, боролся мечтательный мистицизмъ, который однакоже по сущности своей доступенъ только для немногихъ и, слѣдовательно, не могъ преодолѣть почти всеобщаго Вольтеровскаго вольнодумства. Но чего не могъ совершить мистицизмъ,

то совершилось успѣхами просвѣщенія вообще, искоренившаго нѣкоторыя злоупотребленія и уничтожившаго предразсудки, которые мѣшали безпристрастію. Теперь, благодаря симъ успѣхамъ просвѣщенія, уваженіе къ религіи сдѣлалось почти повсемѣстнымъ, исключая, можетъ быть, Италію, гдѣ тонъ легкомысленнаго безвѣрія, данный Вольтеромъ, еще во всей силѣ, но гдѣ просвѣщеніе и не въ этомъ одномъ отстало отъ образованной Европы.

Но это уваженіе къ религіи по большей части сопровождалось какимъ-то равнодушіемъ, которое противорѣчило дальнѣйшему развитію просвѣщенія, и которое теперь начинаетъ проходить вмѣстѣ съ распространеніемъ болѣе истинныхъ понятій. Ибо недавно еще: какъ понимала религію большая часть людей просвѣщенныхъ? Либо какъ совокупность обрядовъ, либо какъ внутреннее, индивидуальное убѣжденіе въ извѣстныхъ истинахъ. Но это ли Религія?

Нѣтъ, Религія не одинъ обрядъ и не одно убѣжденіе. Для полнаго развитія, не только истинной, но даже и ложной религіи, необходимо единомысліе народа, освященное яркими воспоминаніями, развитое въ преданіяхъ односмысленныхъ, сопроникнутое съ устройствомъ государственнымъ, олицетворенное въ обрядахъ однозначительныхъ и общенародныхъ, сведенное къ одному началу положительному, и ощутительное во всѣхъ гражданскихъ и семейственныхъ отношеніяхъ. Безъ этихъ условій есть убѣжденіе, есть обряды, но собственно Религіи — нѣтъ.

Истина эта особенно распространяется въ наше время, когда жизнь народовъ развита глубже и многостороннѣе, и когда потребность религіи стала ощутительна не въ однихъ умозрѣніяхъ. Замѣчательно, что и Паписты, и Іезуиты, и Сен-Симонисты, и Протестанты Супранатуралисты и даже Раціоналисты, однимъ словомъ, всѣ религіозныя партіи, которыя теперь въ такомъ множествѣ волнуются по Европѣ, и которыя несогласны между собою во всемъ остальномъ, всѣ однакоже въ одномъ сходятся: *въ требованіи большаго сближенія Религіи съ жизнью людей и народовъ.*

Такая же потребность сближенія съ жизнью замѣтна и въ цѣломъ мірѣ Европейской образованности. Вездѣ господствуетъ

направленіе чисто практическое и дѣятельно положительное. Вездѣ дѣло беретъ верхъ надъ системою, сущность надъ формою, существенность надъ умозрѣніемъ. Жизнь и общество становятся прямѣе и проще въ своихъ отношеніяхъ, яснѣе и естественнѣе въ своихъ требованіяхъ. То *искуственное* равновѣсіе противоборствующихъ началъ, которое недавно еще почиталось въ Европѣ единственнымъ условіемъ твердаго общественнаго устройства, начинаетъ замѣняться равновѣсіемъ *естественнымъ*, основаннымъ на просвѣщеніи общаго мнѣнія.

Можетъ быть, это просвѣщеніе общаго мнѣнія только мечта, которая разрушится опытомъ. Можетъ быть, это счастливая истина, которая подтвердится благоденствіемъ обществъ. Но мечта или истина—рѣшитъ Провидѣніе; мы замѣтимъ только, что *вѣра* въ эту мечту или въ эту истину составляетъ основаніе господствующаго характера настоящаго времени, и служитъ связью между дѣятельностью практическою и стремленіемъ къ просвѣщенію вообще. Ибо направленіе практическое тогда только можетъ быть вѣнцомъ просвѣщенія, когда частная жизнь составляетъ одно съ жизнію общественной; когда жизнь дѣйствительная, образованная общимъ мнѣніемъ, устроена вмѣстѣ по законамъ разума и природы. Въ противномъ случаѣ, то есть, когда просвѣщеніе общаго мнѣнія въ разногласіи съ основными мнѣніями людей просвѣщенныхъ, — жизнь идетъ по одной дорогѣ, а успѣхи ума по другой, и даже въ людяхъ необыкновенныхъ, составляющихъ исключеніе изъ своего времени, эти двѣ дороги сходятся рѣдко и только въ нѣкоторыхъ точкахъ.

И можетъ ли одинъ человѣкъ образовать себѣ жизнь особую посреди общества, образованнаго иначе? Нѣтъ; въ жизни внутренней, духовной, одинокой, будетъ онъ искать дополненія жизни внѣшней и дѣйствительной. Онъ будетъ поэтомъ, будетъ историкомъ, розыскателемъ, философомъ, и только иногда *человѣкомъ*; ибо въ тѣсномъ кругу немногихъ сосредоточено поприще его практической дѣятельности.

Вотъ почему главный характеръ просвѣщенія въ Европѣ былъ прежде попеременно поэтическій, историческій, художественный, философическій, и только въ наше время могъ образоваться чисто *практическимъ*. Человѣкъ нашего времени уже

не смотритъ на жизнь, какъ на простое условіе развитія духовнаго; но видитъ въ ней вмѣстѣ и средство, и цѣль бытія, вершину и корень всѣхъ отрослей умственнаго и сердечнаго просвѣщенія. Ибо жизнь явилась ему существомъ разумнымъ и мыслящимъ, способнымъ понимать его и отвѣчать ему, какъ художнику Пигмаліону его одушевленная статуя.

Обратимся теперь къ просвѣщенію нашего отечества и посмотримъ, какъ отражалась на немъ жизнь просвѣщенія Европейскаго.

—

Жизнь Европейскаго просвѣщенія девятьнадцатаго вѣка не имѣла на Россію того вліянія, какое она имѣла на другія государства Европы. Измѣненія и развитіе сей жизни отзывались у насъ въ образѣ мыслей нѣкоторыхъ людей образованныхъ, отражались въ нѣкоторыхъ оттѣнкахъ нашей литературы, но далѣе не проникали. Какая-то Китайская стѣна стоитъ между Россіею и Европою, и только сквозь нѣкоторыя отверстія пропускаетъ къ намъ воздухъ просвѣщеннаго Запада; стѣна, въ которой Великій Петръ ударомъ сильной руки пробилъ широкія двери; стѣна, которую Екатерина долго старалась разрушить; которая ежедневно разрушается болѣе и болѣе, но не смотря на то, все еще стоитъ высоко и мѣшаетъ.

Скоро ли разрушится она? Скоро ли образованность наша возвысится до той степени, до которой дошли просвѣщенныя государства Европы? — Что́ должны мы дѣлать, чтобы достигнуть этой цѣли или содѣйствовать къ ея достиженію? — Изъ внутри ли собственной жизни должны мы заимствовать просвѣщеніе свое, или получать его изъ Европы? — И какое начало должны мы развивать внутри собственной жизни? И что должны мы заимствовать отъ просвѣтившихся прежде насъ?

Чтобы отвѣчать на эти вопросы, надобно опредѣлить характеръ и степень просвѣщенія Европейскаго, и ихъ взаимныя отношенія.

Какъ же относится Русское просвѣщеніе къ Европейскому? — На этотъ вопросъ слышимъ мы ежедневно столько же отвѣтовъ,

сколько встрѣчаемъ людей, почитающихъ себя образованными. Между тѣмъ, отъ понятія, которое мы имѣемъ объ отношеніяхъ Россіи къ Европѣ, зависятъ наши сужденія о томъ, что можетъ ускорить или замедлить наше просвѣщеніе; о томъ, что даетъ ему ложное или истинное направленіе; о томъ, къ чему мы должны стремиться и чего избѣгать; о томъ, что намъ полезно и вредно, что мы должны заимствовать у сосѣдей нашихъ и чего удаляться, и слѣдовательно, вся совокупность нашихъ мыслей объ Россіи, о будущей судьбѣ ея просвѣщенія и настоящемъ положеніи; вся совокупность нашихъ надеждъ и ожиданій; вся совокупность нашихъ желаній и ненавистей, и—если мы хотимъ быть согласны сами съ собою—самый характеръ нашей практической дѣятельности, посредственно или непосредственно, долженъ зависѣть отъ *того понятія, которое мы имѣемъ объ отношеніи Русскаго просвѣщенія къ просвѣщенію остальной Европы.*

И такъ, нѣтъ истины, которой признаніе было бы важнѣе; нѣтъ мнѣнія, въ которомъ общее согласіе было бы благодѣтельнѣе.

Но общее мнѣніе составляется изъ частныхъ. Тамъ, гдѣ оно еще не составилось или не обнаружилось явно, ни чей голосъ не можетъ быть лишній;—напротивъ, каждый *обязанъ* произносить свой приговоръ; ибо приговоръ каждаго можетъ содѣйствовать къ образованію общаго. Вотъ почему я постараюсь высказать здѣсь свое мнѣніе, хотя въ общихъ чертахъ и сколько позволятъ мнѣ необходимыя условія журнальной статьи. Если читатель найдетъ мои мысли ошибочными, то по крайней мѣрѣ увидитъ въ нихъ искреннее стремленіе къ истинѣ, и потому, я надѣюсь, не оставитъ ихъ безъ вниманія; я надѣюсь также, что благонамѣренные литераторы не откажутся почтить ихъ своими замѣчаніями, исправятъ ошибочное и подтвердятъ справедливое.

Я знаю, что общія мысли, не развитыя въ ощутительныхъ подробностяхъ, рѣдко понимаются въ томъ смыслѣ, въ какомъ ихъ хотятъ представить; ибо рѣдко, даже человѣку съ талантомъ, удается найти выраженіе простое и незапутанное, когда онъ говоритъ общими выводами о предметахъ сложныхъ и подлежащихъ не одному разуму, но вмѣстѣ и опыту, и памяти,

и личнымъ соображеніямъ каждаго. Потому я никогда не рѣшился бы начать этой статьи, если бы не смотрѣлъ на нее единственно какъ на введеніе къ подробнѣйшему изложенію моихъ мыслей; если бы не надѣялся каждую изъ нихъ развить особенно, и въ примѣненіяхъ къ *дѣйствительности* подтвердить и пояснить то, что въ краткомъ очеркѣ не можетъ быть представлено иначе, какъ умозрительно. —

Не со вчерашняго дня родилась Россія: тысящелѣтіе прошло съ тѣхъ поръ, какъ она начала себя помнить; и не каждое изъ образованныхъ государствъ Европы можетъ похвалиться столь длинною цѣпью столь раннихъ воспоминаній. Но не смотря на эту долгую жизнь, просвѣщеніе наше едва начинается, и Россія, въ ряду государствъ образованныхъ, почитается еще государствомъ молодымъ. И это недавно начавшееся просвѣщеніе, включающее насъ въ составъ Европейскихъ обществъ, не было плодомъ нашей прежней жизни, необходимымъ слѣдствіемъ нашего внутренняго развитія; оно пришло къ намъ извнѣ, и частію даже насильственно, такъ что внѣшняя форма его до сихъ поръ еще находится въ противорѣчіи съ формою нашей національности.

Очевидно, что причины, столь долгое время удалявшія Россію отъ образованности, не могутъ быть случайными, но должны заключаться въ самой сущности ея внутренней жизни; и хотя въ каждую эпоху нашей исторіи находимъ мы особенныя и различныя обстоятельства, мѣшавшія нашему развитію, но совокупность сихъ обстоятельствъ заставляетъ насъ заключать, что враждебное вліяніе ихъ зависило не столько отъ ихъ случайнаго явленія, сколько отъ кореннаго образованія первоначальныхъ элементовъ нашего быта, и, можетъ быть, тоже обстоятельство, которое вредило просвѣщенію въ Россіи, могло бы способствовать его успѣхамъ въ Италіи или въ Англіи.

Но если даже случайныя, внѣшнія причины останавливали успѣхи нашей образованности, то все же вліяніе сихъ причинъ должно было условливаться внутреннимъ состояніемъ Россіи; и внѣшнее обстоятельство, дѣйствуя такимъ образомъ, становилось уже однимъ изъ элементовъ внутренней жизни, одною изъ

постоянныхъ пружинъ послѣдующаго развитія. Слѣдовательно, прежде нежели мы приступимъ къ вопросу: какое отношеніе между просвѣщеніемъ Россіи и Европы существуетъ *теперь*? мы должны еще разсмотрѣть: какіе элементы личной и гражданственной образованности представляетъ намъ прошедшая жизнь Россіи, и въ какомъ отношеніи находились эти элементы къ просвѣщенію Европейскому?

Отъ самаго паденія Римской Имперіи до нашихъ временъ, просвѣщеніе Европы представляется намъ въ постепенномъ развитіи и въ безпрерывной послѣдовательности. Каждая эпоха условливается предыдущею, и всегда прежняя заключаетъ въ себѣ сѣмена будущей, такъ что въ каждой изъ нихъ являются тѣже стихіи, но въ полнѣйшемъ развитіи.

Стихіи сіи можно подвести къ тремъ началамъ: 1-е, вліяніе Христіанской Религіи; 2-е, характеръ, образованность и духъ варварскихъ народовъ, разрушившихъ Римскую Имперію; 3-е, остатки древняго міра. Изъ этихъ трехъ началъ развилась вся Исторія Новѣйшей Европы. — Котораго же изъ нихъ недоставало намъ, или что имѣли мы лишняго? —

Еще прежде десятаго вѣка имѣли мы Христіанскую Религію; были у насъ и варвары и, вѣроятно, тѣже, которые разрушили Римскую Имперію; но *классическаго древняго міра* недоставало нашему развитію. Посмотримъ, какое отличіе произошло отъ того въ нашей Исторіи.

Извѣстно, и послѣ ученыхъ разысканій Савиньи, послѣ глубокомысленныхъ соображеній Гизо уже несомнѣнно, что во все продолженіе среднихъ, такъ называемыхъ Варварскихъ вѣковъ, Римскіе законы, Римское устройство, разнообразно измѣненные, иногда смѣшенно, иногда чисто, но всегда очевидно, существовали во всѣхъ мѣстахъ Европы, куда прежде простиралось Римское владычество. Эти законы, эти устройства, примѣшиваясь къ обычаямъ варваровъ, естественно должны были способствовать къ ихъ образованію и дѣйствовать на ихъ гражданскій бытъ, а часто и на личное ихъ просвѣщеніе. Но очевиднѣе всего вліяніе ихъ на устройство торговыхъ городовъ, которые, сдѣлавшись независимыми, стали одною изъ сильнѣйшихъ пру-

жинъ и однимъ изъ необходимыхъ элементовъ Европейскаго образованія.

У насъ также были Новгородъ и Псковъ; но внутреннее устройство ихъ (занятое по большей части изъ сношеній съ иноземцами) тогда только могло бы содѣйствовать къ просвѣщенію нашему, когда бы ему не противорѣчило все состояніе остальной Россіи. Но при томъ порядкѣ вещей, который существовалъ тогда въ нашемъ отечествѣ, не только Новгородъ и Псковъ долженствовали быть задавлены сильнѣйшими сосѣдями, но даже ихъ просвѣщеніе, процвѣтавшее столь долгое время, не оставило почти никакихъ слѣдовъ въ нашей Исторіи, — такъ несогласно оно было съ цѣлою совокупностью нашего быта.

Но еще важнѣе, чѣмъ на образованіе вольныхъ городовъ, дѣйствовало устройство древняго міра на внѣшнее образованіе Римской церкви и на ея политическое вліяніе во времена среднихъ вѣковъ. Извѣстно, что гражданская власть духовенства въ Европѣ была прямымъ наслѣдіемъ устройства Римскаго, и что свѣтское правленіе епископовъ было устроено по образцамъ Римскимъ, еще уцѣлѣвшимъ въ частяхъ, когда цѣлое уже и разрушилось (*). Самая противоположность, которая существуетъ между духомъ древняго языческаго міра и Христіанствомъ, долженствовала служить къ усиленію послѣдняго и къ его многостороннѣйшему развитію; ибо, находясь въ постоянной борьбѣ со всѣмъ его окружающимъ, Христіанство получало безпрестанно новыя силы отъ безпрестанно новыхъ успѣховъ, и, побѣждая язычество, подчиняло себѣ его просвѣщеніе. Такимъ образомъ являлось оно въ двухъ различныхъ видахъ двумъ противоположнымъ и борящимся стихіямъ; на остатки древняго міра Христіанство дѣйствовало какъ противоположное ему, обновляющее, преобразовывающее начало, которое разрушаетъ для того, чтобы создать новое; варварамъ оно являлось какъ начало созидающее, образовывающее, какъ источникъ просвѣщенія, порядка

(*) Еще Римскіе императоры предоставили епископамъ почти неограниченную власть надъ городами, и „эта власть," говоритъ Тьерри, „безпрестанно возрастая послѣ паденія Римской Имперіи, почти вездѣ переобразовалась въ „господство феодальное."

и единства, посреди разногласнаго, нестройнаго и невѣжественнаго броженія; и это двойное отношеніе Христіанства къ новому и древнему міру содѣлало его центромъ обоихъ и средоточіемъ всѣхъ элементовъ Европейскаго развитія. Отъ того церковь, въ обновленной Европѣ, стала не только источникомъ духовнаго образованія, но и главою устройства политическаго. Она была первымъ звеномъ того феодальнаго порядка, который связалъ въ одну систему всѣ различныя государства Европы; на ней утверждена была Святая Римская Имперія; она была первою стихіею того рыцарства, которое распространило одинъ нравственный кодексъ посреди разнородныхъ политическихъ отношеній; она была единственнымъ узломъ между всѣми нестройными элементами и всѣми различными народами; она дала одинъ духъ всей Европѣ, подняла крестовые походы и, бывъ источникомъ единодушія и порядка, остановила набѣги варваровъ и положила преграду нашествіямъ Мусульманъ.

Въ Россіи Христіанская Религія была еще чище и святѣе. Но недостатокъ классическаго міра былъ причиною тому, что вліяніе нашей церкви, во времена необразованныя, не было ни такъ рѣшительно, ни такъ всемогуще, какъ вліяніе церкви Римской. Послѣдняя, какъ центръ политическаго устройства, возбудила одну душу въ различныхъ тѣлахъ и создала такимъ образомъ ту крѣпкую связь Христіанскаго міра, которая спасла его отъ нашествій иновѣрцевъ; —у насъ сила эта была не столь ощутительна, не столь всемогуща, и Россія, раздробленная на удѣлы, не связанные духовно, на нѣсколько вѣковъ подпала владычеству Татаръ, на долгое время остановившихъ ее на пути къ просвѣщенію.

Не нужнымъ почитаю я доказывать здѣсь, что система раздробленія была свойственна не одной Россіи, что она была во всей Европѣ и особенно развилась во Франціи, не смотря на то остановившей стремительный натискъ Арабовъ (*). Но мѣлкія королевства, связанныя между собою сомнительною и слабою подчиненностью политическою, были соединены болѣе ощу-

(*) Seulement en Belgique et sur les bords du Rhin on a compté jusqu'à cent vingt-trois grandes terres, possédées par les rois de la seconde race. *Augustin Thiery, Lettres sur l'Histoire de France, Lettre XII.*

тительно узами религіи и церкви. Извѣстно также, что дѣти владѣтелей такихъ королевствъ наслѣдовали поровну владѣнія своего отца, раздробляя его такимъ образомъ болѣе и болѣе; и что образъ внутренняго управленія ихъ во многомъ походилъ на образъ управленія нашихъ Удѣльныхъ Князей. Изъ этого однако не слѣдуетъ, чтобы феодальная система и система удѣловъ были одно и тоже, какъ утверждали у насъ нѣкоторые писатели; ибо, не говоря уже о другомъ, одна зависимость феодальнаго устройства отъ церкви, служащей первымъ основаніемъ всѣхъ феодальныхъ правъ и отношеній, уже полагаетъ такое различіе между двумя системами, что непонятно, какимъ образомъ многіе изъ литераторовъ нашихъ, хотя на минуту, могли почитать ихъ одинакими. Но съ другой стороны феодальное устройство представляетъ столько сходнаго съ нашими удѣлами, что нельзя не предположить, что система удѣловъ была однимъ изъ элементовъ феодализма. (*)

Этотъ элементъ, отчужденный отъ всего остальнаго образованія Европы, произвелъ у насъ то устройство, котораго слѣдствіемъ были Татары, коимъ мы не могли противопоставить ни зрѣлой образованности, ни силы единодушія. Не имѣя довольно просвѣщенія для того, чтобы соединиться противъ нихъ *духовно*, мы могли избавиться отъ нихъ единственно *физическимъ*, матеріяльнымъ соединеніемъ, до котораго достигнуть могли мы только въ теченіе столѣтій. Такимъ образомъ очевидно, что и нашествіе Татаръ и вліяніе ихъ на послѣдующее развитіе наше, имѣло основаніемъ одно: *недостатокъ классическаго міра*. Ибо, теперь даже, раздѣлите Россію на такіе удѣлы, на какіе она раздѣлена была въ 12-мъ вѣкѣ,—и завтра же родятся для нея новые Татары, если не въ Азіи, то въ Европѣ. Но еслибы мы наслѣдовали остатки классическаго міра, то религія наша имѣла бы болѣе политической силы, мы обладали бы большею образованностью,

(*) Сходство сіе служитъ однимъ изъ убѣдительнѣйшихъ доказательствъ общаго происхожденія Варяговъ, нашедшихъ на Россію, и Германскихъ народовъ, разрушившихъ Римскую Имперію. Но одинакіе обычаи сихъ варваровъ должны были измѣниться различно, смотря по различію тѣхъ земель, куда они являлись, и вѣроятно тоже начало, которое у насъ произвело систему удѣловъ, въ Европѣ образовалось въ систему феодальнаго устройства.

большимъ единодушіемъ, и слѣдовательно, самая раздѣленность наша не имѣла бы ни того варварскаго характера, ни такихъ пагубныхъ послѣдствій.

Этотъ же недостатокъ образованности общаго развивающагося духа, происходящій отъ недостатка классическаго міра, отзывается и въ самой эпохѣ нашего освобожденія отъ Татаръ. Намъ не предстояло другаго средства избавиться отъ угнетенія иноплеменнаго, какъ посредствомъ соединенія и сосредоточенія силъ; но такъ какъ силы наши были преимущественно физическія и матеріяльныя, то и соединеніе наше было не столько выраженіемъ единодушія, сколько простымъ матеріяльнымъ совокупленіемъ; и сосредоточеніе силъ было единственно сосредоточеніемъ *физическимъ*, не смягченнымъ, не просвѣщеннымъ образованностію. Потому, избавленіе наше отъ Татаръ происходило медленно и, совершившись, долженствовало на долгое время остановить Россію въ томъ тяжеломъ закоснѣніи, въ томъ оцѣпенѣніи духовной дѣятельности, которыя происходили отъ слишкомъ большаго перевѣса силы матеріяльной надъ силою нравственной образованности.—Это объясняетъ намъ многое, и между прочимъ показываетъ причины географической огромности Россіи.

Пятьнадцатый вѣкъ былъ для Европы вѣкомъ изобрѣтеній, открытій, успѣховъ умственныхъ и гражданскихъ. Но пятьнадцатый вѣкъ былъ приготовленъ четырнадцатымъ, который самъ былъ слѣдствіемъ предыдущихъ, развившихся подъ вліяніемъ остатковъ древняго міра. Это вліяніе сначала обнаруживалось образованностью и силою Римской церкви; но потомъ, когда просвѣщеніе уже распространилось въ самомъ бытѣ народа и вкоренилось въ свѣтской гражданственности, тогда и Церковь перестала быть единственнымъ проводникомъ образованности;— и Европа обратилась прямо къ своимъ умственнымъ праотцамъ — къ Риму и Греціи. И это новое, самопознавшееся стремленіе къ міру классическому обнаруживается не только въ высшихъ умахъ, въ людяхъ, стоящихъ впереди своего народа; оно обнаруживается не только въ наукахъ и искусствахъ, дышавшихъ единственно освѣженными воспоминаніями о Грекахъ и Римля-

нахъ; но даже и въ самомъ народномъ быту просвѣщенныхъ земель, въ самомъ устройствѣ ихъ гражданственности и національности. И еще прежде паденія Греческой Имперіи уже Италіянскія республики образовывались по образцу древнихъ; между тѣмъ, какъ архитектура, живопись, ваяніе, науки и самый патріотизмъ въ Италіи носили глубокую печать одного идеала: *классическаго міра*.

Такимъ образомъ для новой Европы довершился кругъ полнаго наслѣдованія прежняго просвѣщенія человѣчества. Такимъ образомъ новѣйшее просвѣщеніе есть не отрывокъ, но продолженіе умственной жизни человѣческаго рода. Такимъ образомъ государства, причастныя образованности Европейской, внутри самихъ себя совмѣстили всѣ элементы просвѣщенія всемірнаго, сопроникнутаго съ самою національностію ихъ.

И на Западѣ, почти въ тоже время какъ у насъ, происходила подобная кристаллизація силъ и элементовъ: мелкія королевства соединялись въ большія массы, частныя силы сосредоточивались въ подчиненности одной силѣ общей. Но это сосредоточеніе и соединеніе имѣли совершенно другой характеръ отъ того, что частныя силы, частные элементы были образованы, развиты и самобытны. И тутъ и тамъ идетъ борьба за національность, независимость и цѣлость; и тутъ и тамъ стремленіе къ сосредоточенію и единству;—но тамъ просвѣщеніе уже развитое, слѣдовательно, знаменемъ борьбы, цѣлью стремленія, является всегда *мысль* религіозная или политическая; тутъ мѣсто мысли заступаетъ *лице*, частное событіе, *самозванецъ*.

Только съ того времени, какъ Исторія наша позволила намъ сближаться съ Европою, то есть, со времени Минина и Пожарскаго, начало у насъ распространяться и *просвѣщеніе въ истинномъ смыслѣ сего слова*, то есть, не отдѣльное развитіе нашей особенности, но участіе въ общей жизни просвѣщеннаго міра; ибо отдѣльное, Китайски особенное развитіе замѣтно у насъ и прежде введенія образованности Европейской; но это развитіе не могло имѣть успѣха *общечеловѣческаго*, ибо ему недоставало одного изъ необходимыхъ элементовъ всемірной прогрессіи ума.

Что это Европейское просвѣщеніе начало вводиться у насъ гораздо прежде Петра и особенно при Алексѣѣ Михайловичѣ,— это доказывается тысячью оставшихся слѣдовъ и преданій. Но не смотря на то, начало сіе было столь слабо и ничтожно въ сравненіи съ тѣмъ, что совершилъ Петръ, что, говоря о нашей образованности, мы обыкновенно называемъ его основателемъ нашей новой жизни и родоначальникомъ нашего умственнаго развитія. Ибо прежде него просвѣщеніе вводилось къ намъ мало по малу и *отрывисто*, отъ чего, по мѣрѣ своего появленія въ Россіи, оно искажалось вліяніемъ нашей пересиливающей національности. Но переворотъ, совершенный Петромъ, былъ не столько развитіемъ, сколько переломомъ нашей національности; не столько внутреннимъ успѣхомъ, сколько внѣшнимъ нововведеніемъ.

Но могло ли просвѣщеніе придти къ намъ иначе, какъ посредствомъ перелома въ нашемъ развитіи, иначе, какъ въ видѣ внѣшней силы, противоположной нашему прежнему быту, сражающейся съ нашею національностію на жизнь и смерть, и долженствующей не помириться съ нею, но побѣдить ее, покорить своему владычеству, преобразовать, породить новое?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ выводится ясно изъ предыдущаго; и если въ нашей прежней жизни недоставало одного изъ необходимыхъ элементовъ просвѣщенія: міра классическаго, — то какъ могли бы мы достигнуть образованности, не заимствуя ея извнѣ? И образованность заимствованная не должна ли быть въ борьбѣ съ чуждою ей національностію?

Просвѣщеніе человѣчества, какъ мысль, какъ наука, развивается постепенно, послѣдовательно. Каждая эпоха человѣческаго бытія имѣетъ своихъ представителей въ тѣхъ народахъ, гдѣ образованность процвѣтаетъ полнѣе другихъ. Но эти народы до тѣхъ поръ служатъ представителями своей эпохи, покуда ея господствующій характеръ совпадается съ господствующимъ характеромъ ихъ просвѣщенія. Когда же просвѣщеніе человѣчества, довершивъ извѣстный періодъ своего развитія, идетъ далѣе и, слѣдовательно, измѣняетъ характеръ свой, тогда и народы, выражавшіе сей характеръ своею образованностію, перестаютъ быть представителями Всемірной Исторіи. Ихъ мѣсто засту-

паютъ другіе, коихъ особенность всего болѣе согласуется съ наступающею эпохою. Эти новые представители человѣчества продолжаютъ начатое ихъ предшественниками, наслѣдуютъ всѣ плоды ихъ образованности и извлекаютъ изъ нихъ сѣмена новаго развитія. Такимъ образомъ съ тѣхъ самыхъ поръ, съ которыхъ начинаются самыя первыя воспоминанія Исторіи, видимъ мы неразрывную связь и постепенный, послѣдовательный ходъ въ жизни человѣческаго ума; и если по временамъ просвѣщеніе являлось какъ бы останавливающимся, засыпающимъ, то изъ этого сна человѣкъ пробуждался всегда съ большею бодростію, съ большею свѣжестью ума, и продолжалъ *вчерашнюю* жизнь съ новыми силами. Вотъ отъ чего просвѣщеніе каждаго народа измѣряется не суммою его познаній, не утонченностью и сложностью той машины, которую называютъ *гражданственностью*, — но единственно участіемъ его въ просвѣщеніи всего человѣчества, тѣмъ мѣстомъ, которое онъ занимаетъ въ общемъ ходѣ человѣческаго развитія. Ибо просвѣщеніе одинокое, Китайски отдѣленное, должно быть и Китайски ограниченное: въ немъ нѣтъ жизни, нѣтъ блага, ибо нѣтъ прогрессіи, нѣтъ того успѣха, который добывается только совокупными усиліями человѣчества.

На чемъ же основываются тѣ, которые обвиняютъ Петра, утверждая, будто онъ далъ ложное направленіе образованности нашей, заимствуя ее изъ просвѣщенной Европы, а не развивая изнутри нашего быта? —

Эти обвинители великаго создателя новой Россіи съ нѣкотораго времени распространились у насъ болѣе, чѣмъ когда либо; и мы знаемъ, откуда почерпнули они свой образъ мыслей. Они говорятъ намъ о просвѣщеніи національномъ, самобытномъ; не велятъ заимствовать, бранятъ нововведенія и хотятъ возвратить насъ къ кореннюму и старинно-Русскому. Но что же? Если разсмотрѣть внимательно, то это самое стремленіе къ національности есть не что иное, какъ непонятое повтореніе мыслей чужихъ, мыслей Европейскихъ, занятыхъ у Французовъ, у Нѣмцевъ, у Англичанъ, и необдуманно примѣняемыхъ къ Россіи. Дѣйствительно, лѣтъ десять тому назадъ стремленіе къ національности было господствующимъ въ самыхъ просвѣщенныхъ

государствахъ Европы: всѣ обратились къ своему народному, къ своему особенному; но тамъ это стремленіе имѣло свой смыслъ: тамъ просвѣщеніе и національность одно, ибо первое развилось изъ послѣдней. Потому, если Нѣмцы искали чисто Нѣмецкаго, то это не противорѣчило ихъ образованности; напротивъ, образованность ихъ такимъ образомъ доходила только до своего сознанія, получала болѣе самобытности, болѣе полноты и твердости. Но у насъ искать національнаго, значитъ искать необразованнаго; развивать его на счетъ Европейскихъ нововведеній, значитъ изгонять просвѣщеніе; ибо, не имѣя достаточныхъ элементовъ для внутренняго развитія образованности, откуда возмемъ мы ее, если не изъ Европы? — Развѣ самая образованность Европейская не была послѣдствіемъ просвѣщенія древняго міра? — Развѣ не представляетъ она теперь просвѣщенія общечеловѣческаго? — Развѣ не въ такомъ же отношеніи находится она къ Россіи, въ какомъ просвѣщеніе классическое находилось къ Европѣ? —

Правда, есть минуты въ жизни Петра, гдѣ, дѣйствуя иначе, онъ былъ бы согласнѣе самъ съ собою, согласнѣе съ тою мыслію, которая одушевляла его въ продолженіе всей жизни. Но эта мысль, но общій характеръ его дѣятельности, но образованность Россіи, имъ начатая — вотъ основаніе его величія и нашего будущаго благоденствія! Ибо благоденствіе наше зависитъ отъ нашего просвѣщенія, а имъ обязаны мы Петру. Потому будемъ осмотрительны, когда рѣчь идетъ о преобразованіи, имъ совершенномъ. Не позабудемъ, что судить объ немъ легкомысленно—есть дѣло неблагодарности и невѣжества; не позабудемъ, что тѣ, которые осуждаютъ его, не столь часто увлекаются ложною системою, сколько подъ нею скрываютъ свою корыстную ненависть къ просвѣщенію и его благодѣтельнымъ послѣдствіямъ; ибо невѣжество, какъ преступникъ, не спитъ ночью и боится дня.

Екатерина II дѣйствовала въ томъ же духѣ, въ какомъ работалъ Великій Петръ. Она также поставила просвѣщеніе Россіи цѣлью своего царствованія, и также всѣми средствами старалась передать намъ образованность Европейскую. Можетъ быть, средства сіи были не всегда самыя приличныя тогдашнему состоянію Россіи; но, не смотря на то, образованность Европейская

начала распространяться у насъ видимо и ощутительно только въ царствованіе Екатерины. Причина тому заключается, по моему мнѣнію, не столько въ томъ, что Екатерина нашла въ Россіи уже многое приготовленнымъ, сколько въ томъ особенномъ направленіи, которое просвѣщеніе Европы начало принимать въ половинѣ восьмнадцатаго вѣка.

Мы видѣли, что съ половины восьмнадцатаго вѣка просвѣщеніе въ Европѣ приняло направ. еніе противоположное прежнему. Новыя начала и старыя явились в . борьбѣ, различно измѣненной, но всегда односмысленной. Мы видѣ и, что въ наукахъ, въ искусствахъ, въ жизни, въ литературѣ, однимъ словомъ, въ цѣлой сферѣ умственнаго развитія Европы, новые успѣхи (*), хотя были послѣдствіемъ прежняго развитія, но,не смотря на то,принимали характеръ противоположный ему и съ нимъ несовмѣстный, какъ плодъ, который родился и созрѣлъ на деревѣ, но, созрѣвъ, отпадаетъ отъ него и служитъ сѣменемъ новаго древа, которое вытѣсняетъ старое.

Для большаго поясненія, возмемъ еще нѣсколько примѣровъ. Нѣтъ сомнѣнія, что изобрѣтеніе паровыхъ машинъ есть слѣдствіе Европейскаго просвѣщенія, что оно благодѣтельно для рода человѣческаго вообще, и для будущихъ успѣховъ промышленности. Но настоящее состояніе промышленности Европейской, которое также есть слѣдствіе предыдущаго, противорѣчитъ успѣхамъ сего изобрѣтенія. Милліоны людей должны искать новыхъ средствъ къ пропитанію, между тѣмъ какъ средства сіи и безъ того затруднены слѣдствіемъ прежняго устройства промышленности. Но паровыя машины еще въ началѣ своихъ примѣненій; еще тысячи новыхъ работъ будутъ замѣнены ими: какой же сильный переворотъ долженъ произойти въ промышленности Европейской! Какое противорѣчіе между прежнимъ порядкомъ вещей и новыми успѣхами просвѣщенія!

То же, что и о промышленности, можно сказать и о юриспруденціи. Римскіе законы, мы видѣли, были основаніемъ образованности и началомъ законнаго порядка. Но польза ихъ уже кончи-

(*) Не должно смѣшивать успѣхи истинные съ мнимыми, и нововведенія мечтательныя, вредныя, съ необходимымъ развитіемъ просвѣщенія.

лась, и теперь они являются въ противорѣчіи съ потребностями гражданскаго устройства. Между тѣмъ во многихъ государствахъ они еще имѣютъ силу живую и не могутъ быть замѣнены иначе, какъ съ совершеннымъ преобразованіемъ уложеній.

Внѣшнее устройство Римской церкви было первымъ источникомъ Европейской образованности; но именно потому формы сего устройства должны были совершенно соотвѣтствовать тому времени, въ которое онѣ произошли. Естественно что, съ измѣненіемъ времени, и формы сіи въ нѣкоторыхъ государствахъ во многихъ отношеніяхъ не совмѣщались съ новыми потребностями. Отъ того явились реформаціи, нарушившія единство Европейской церкви, а въ нѣкоторыхъ земляхъ водворилось совершенное безвѣріе, которое съ трудомъ побѣждается теперь успѣхами свѣтскаго просвѣщенія.

Такъ образованность Европейская является намъ въ двухъ видахъ: какъ просвѣщеніе Европы прежде и послѣ половины восьмнадцатаго вѣка. Старое просвѣщеніе связано неразрывно съ цѣлою системою своего постепеннаго развитія, и чтобы быть ему причастнымъ, надобно пережить снова всю прежнюю жизнь Европы. Новое просвѣщеніе противоположно старому и существуетъ самобытно. Потому народъ, начинающій образовываться, можетъ заимствовать его прямо и водворить у себя безъ предыдущаго, непосредственно примѣняя его къ своему настоящему быту. Вотъ почему и въ Россіи и въ Америкѣ просвѣщеніе начало примѣтно распространяться не прежде восьмнадцатаго и особенно въ девятнадцатомъ вѣкѣ.

Сказанное нами достаточно для того, чтобы вывести всѣ нужные результаты и данныя для опредѣленія настоящаго характера нашей образованности и ея отношеній къ просвѣщенію общечеловѣческому. Но мы предоставляемъ сдѣлать сей выводъ самимъ читателямъ; ибо, если намъ удалось изложить наши мысли ясно и убѣдительно, то результаты ихъ очевидны. Если же, читая статью сію, читатели не раздѣлили нашего мнѣнія, то и послѣдствія сего мнѣнія покажутся имъ произвольными и неосновательными.

—

ОБОЗРѢНІЕ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

ЗА 1831 ГОДЪ.

Наша литература—ребенокъ, который только начинаетъ чисто выговаривать.

Не смотря на то, ни въ какой землѣ текущая словесность не имѣетъ такой значительности, какъ въ Россіи; и между тѣмъ какъ въ другихъ государствахъ литература есть одно изъ второстепенныхъ выраженій образованности, у насъ она главнѣйшее, если не единственное.

Быстрота и важность государственныхъ переломовъ; дѣятельное участіе, которое обязаны принимать въ нихъ люди частные; повсемѣстная борьба политическихъ и къ нимъ примкнувшихся религіозныхъ партій; ихъ противоположныя выгоды и разногласныя требованія; успѣхи и распространённость промышленности, связавшіе ея перевороты съ цѣлымъ составомъ народнаго бытія; все, даже самыя первыя стихіи частной жизни, почти во всѣхъ странахъ Европы, сосредоточиваютъ дѣятельность умовъ на *дѣла государственныя*, которыя потому могутъ одни служить полнымъ представителемъ общественной образованности, указателемъ господствующаго направленія и зеркаломъ текущей минуты.

Самыя науки, при такомъ расположеніи умовъ, не могутъ занимать въ нихъ перваго мѣста. Къ тому же, созрѣвшія вѣковымъ развитіемъ, онѣ уже сами собою склоняются къ жизни дѣйствительной, являясь предъ обществомъ, то какъ сила, то какъ орудіе политической дѣятельности.

Только относительная значительность остается для литературы. Но та часть ея, которая не задавлена вліяніемъ политики,—литература *чистая*, самоцѣнная, едва замѣтна посреди всеобщаго стремленія къ дѣламъ болѣе существеннымъ: она цвѣтетъ блѣдно и болѣзненно, какъ цвѣтокъ осенній, благоухаю-

ціи для охотниковъ, но не возбуждающій въ умѣ ни надежды на плодъ, ни довѣренности къ плодовитости дерева.

Въ Россіи напротивъ. Литература наша въ первой веснѣ: каждый цвѣтъ ея пророчитъ новый плодъ и обнаруживаетъ новое развитіе. Между тѣмъ какъ въ другихъ государствахъ дѣла государственныя, поглощая всѣ умы, служатъ главнымъ мѣриломъ ихъ просвѣщенія, у насъ неусыпныя попеченія прозорливаго Правительства избавляютъ частныхъ людей отъ необходимости заниматься политикой, и такимъ образомъ единственнымъ указателемъ нашего умственнаго развитія остается литература. Вотъ почему въ Россіи слѣдовать за ходомъ словесности необходимо не только для литераторовъ, но и для каждаго гражданина, желающаго имѣть какое нибудь понятіе о нравственномъ состояніи своего отечества.

Замѣтимъ ли мы усовершеніе вкуса въ произведеніяхъ литературныхъ? мы въ правѣ заключить, что есть публика образованная, слѣдовательно, мыслящая и въ своихъ мнѣніяхъ не отстающая отъ вѣка. Увидимъ ли мы счастливый успѣхъ произведенія невѣжественнаго, бездарнаго? мы порадуемся ему, предполагая, что самая необразованная часть Русскихъ читателей начинаетъ быть публикою и, слѣдовательно, просыпается отъ своего умственнаго бездѣйствія. Услышимъ ли мы жалобы на то, что книги безъ достоинства расходятся не только успѣшно, но еще успѣшнѣе книгъ съ достоинствомъ? мы порадуемся вдвое, видя, что намъ готовится въ будущемъ еще больше людей просвѣщенныхъ, нежели сколько мы имѣемъ теперь.

Такъ, если самая бездарность въ нашей литературѣ можетъ доставить намъ любопытныя свѣденія о нашей первоначальной образованности — сколько же *данныхъ* о нашемъ просвѣщеніи вообще, сколько новыхъ показаній объ отношеніяхъ нашей литературы къ обществу и къ чужеземнымъ вліяніямъ; сколько предзнаменованій о характерѣ нашихъ будущихъ успѣховъ открывается внимательному наблюдателю въ изученіи нашихъ писателей первоклассныхъ, которыхъ каждое слово служитъ образцомъ для всего строя рядовыхъ литераторовъ, и каждое произведеніе отзывается участіемъ отборнѣйшаго круга читателей.

Такимъ образомъ, разсматривая замѣчательныя литературныя событія прошедшаго года, мы будемъ стараться опредѣлить настоящую степень нашего литературнаго развитія и вмѣстѣ открыть отношеніе нашей образованности вообще къ успѣхамъ нашей словесности въ особенности. Прежде всего разсмотримъ три важнѣйшія явленія нашей поэзіи, и въ томъ порядкѣ, въ какомъ они выходили въ свѣтъ: Бориса Годунова Пушкина, Наложницу Баратынскаго и собраніе Балладъ и Повѣстей Жуковскаго. Потомъ скажемъ нѣсколько словъ о другихъ произведеніяхъ нашей словесности, замѣчательныхъ либо по внутреннему достоинству, либо по постороннимъ отношеніямъ. Что же касается до тѣхъ произведеній литературы, которыя, не обнаруживая развитія, свидѣтельствуютъ только о распространеніи словесности въ кругахъ полуобразованныхъ или едва начинающихъ образовываться, то вряд ли нужно объ нихъ много распространяться. Довольно намъ знать для нашего утѣшенія, что теперь, также какъ и прежде, мы не бѣдны ни дурными сочиненіями, ни бездарными писателями, которые воспитываютъ неопытныхъ читателей, и также необходимы для будущаго просвѣщенія, какъ необходимо удобреніе земли для будущаго урожая.

Борисъ Годуновъ.

Каждый народъ, имѣющій свою трагедію, имѣетъ и свое понятіе о трагическомъ совершенствѣ. У насъ еще нѣтъ ни того, ни другаго. Правда, что когда Французская школа у насъ господствовала, мы думали имѣть образца въ Озеровѣ; но съ тѣхъ поръ вкусъ нашей публики такъ измѣнился, что трагедіи Озерова не только не почитаются образцовыми, но врядъ ли изъ десяти читателей одинъ отдастъ ему половину той справедливости, которую онъ заслуживаетъ; ибо оцѣнить красоту, начинающую увядать, еще труднѣе, чѣмъ отдать справедливость совершенной древности или восхищаться посредственностію новою; и я увѣренъ, что большая часть нашихъ самозванцевъ-романтиковъ готова промѣнять всѣ лучшія созданія Расина на любую Морлакскую пѣсню.

Чего же требуемъ мы теперь и чего должны мы требовать отъ трагедіи Русской? Нужна ли намъ трагедія Испанская? или Нѣмецкая? или Англійская? или Французская? или чисто Греческая? или составная изъ всѣхъ сихъ родовъ? и какого рода долженъ быть сей составъ? Сколько какихъ элементовъ должно входить въ нее? И нѣтъ ли элемента намъ исключительно свойственнаго?

Вотъ вопросы, на которые критика и публика могутъ отвѣчать только отрицательно; прямой отвѣтъ на нихъ принадлежитъ одному поэту; ибо ни въ какой литературѣ правила вкуса не предшествовали образцамъ. Не чужіе уроки, но собственная жизнь, собственные опыты должны научить насъ мыслить и судить. Покуда мы довольствуемся общими истинами, не примѣненными къ особенности нашего просвѣщенія, не извлеченными изъ коренныхъ потребностей нашего быта, до тѣхъ поръ мы еще не имѣемъ своего мнѣнія, либо имѣемъ ошибочное; не цѣнимъ хорошаго-приличнаго потому, что ищемъ невозможнаго-совершеннаго, либо слишкомъ цѣнимъ недостаточное потому, что смотримъ на него издали общей мысли, и вообще мѣряемъ себя на чужой аршинъ и твердимъ чужія правила, не понимая ихъ мѣстныхъ и временныхъ отношеній.

Это особенно ясно въ исторіи новѣйшей литературы; ибо мы видимъ, что въ каждомъ народѣ рожденію собственной словесности предшествовало поклоненіе чужой, уже развившейся. Но если первые поэты были вездѣ подражателями, то естественно, что первые судьи ихъ держались всегда чужаго кодекса и повторяли наизусть чужія правила, не спрашиваясь ни съ особенностями своего народа, ни съ его вкусомъ, ни съ его потребностями, ни съ его участіемъ. Не менѣе естественно и то, что для такихъ судей лучшими произведеніями казались всегда произведенія посредственныя; что лучшая часть публики никогда не была на ихъ сторонѣ, и что явленіе истиннаго генія не столько поражало ихъ воображеніе, сколько удивляло ихъ умъ, смѣшивая всѣ разсчеты ихъ прежнихъ теорій.

Только тогда, когда новыя поколѣнія, воспитанныя ан

образцахъ отечественныхъ, получатъ самобытность вкуса и твердость мнѣнія независимаго отъ чужеземныхъ вліяній, только тогда можетъ критика утвердиться на законахъ вѣрныхъ, строгихъ, общепринятыхъ, благодѣтельныхъ для послѣдователей и страшныхъ для нарушителей. Но до тѣхъ поръ приговоръ литературнымъ произведеніямъ зависитъ почти исключительно отъ особеннаго вкуса особенныхъ судей, и только случайно сходится съ мнѣніемъ образованнаго большинства.

Вотъ одна изъ причинъ, почему у насъ до сихъ поръ еще нѣтъ критики. Да, я не знаю ни одного литературнаго сужденія, которое бы можно было принять за образецъ истиннаго воззрѣнія на нашу словесность. Не говоря уже о критикахъ, вышедшихъ пристрастіемъ, не говоря о безотчетныхъ похвалахъ или порицаніяхъ друзей и недруговъ, — возмемъ тѣ сужденія объ литературѣ нашей, которыя составлены съ самою большею отчетливостью и съ самымъ меньшимъ пристрастіемъ: и мы вездѣ найдемъ зависимость мнѣнія отъ вліяній словесностей иностранныхъ. Тотъ судитъ насъ по законамъ, принятымъ въ литературѣ Французской, тотъ образцомъ своимъ беретъ литературу Нѣмецкую, тотъ Англійскую, и хвалитъ все, что сходно съ его идеаломъ, и порицаетъ все, что не сходно съ нимъ. Однимъ словомъ, нѣтъ ни одного критическаго сочиненія, которое бы не обнаруживало пристрастія автора къ той или другой иностранной словесности, пристрастія по большей части безотчетнаго; ибо тотъ же критикъ, который судитъ писателей нашихъ по законамъ чужимъ, обыкновенно самъ требуетъ отъ нихъ національности и укоряетъ за подражательность.

Самымъ лучшимъ подтвержденіемъ сказаннаго нами могутъ служить вышедшіе до сихъ поръ разборы Бориса Годунова. Иной критикъ, помня Лагарпа, хвалитъ особенно тѣ сцены, которыя болѣе напоминаютъ трагедію Французскую, и порицаетъ тѣ, которымъ не видитъ примѣра у Французскихъ классиковъ. Другой, въ честь Шлегелю, требуетъ отъ Пушкина сходства съ Шекспиромъ, и упрекаетъ за все, чѣмъ поэтъ нашъ отличается отъ Англійскаго трагика, и восхищается только тѣмъ, что находитъ между обоими общаго. Каждый, по видимому, прино-

ситъ свою систему, свой взглядъ на вещи, и ни одинъ, въ самомъ дѣлѣ, не имѣетъ своего взгляда; ибо каждый занялъ его у писателей иностранныхъ, иногда прямо, но чаще по наслышкѣ. И эта привычка смотрѣть на Русскую литературу сквозь чужіе очки иностранныхъ системъ до того ослѣпила нашихъ критиковъ, что они въ трагедіи Пушкина не только не замѣтили, въ чемъ состоятъ ея главныя красоты и недостатки; но даже не поняли, въ чемъ состоитъ ея содержаніе.

Въ ней нѣтъ единства, — говорятъ нѣкоторые изъ критиковъ, — нѣтъ поэтической гармоніи, ибо главное лицо: Борисъ, *заслонено* лицомъ второстепеннымъ, Отрепьевымъ.

Нѣтъ,—говорятъ другіе, — главное лицо не Борисъ, а Самозванецъ; жаль только, что онъ не довольно развитъ, и что не весь интересъ сосредоточивается на немъ; ибо гдѣ нѣтъ единства интереса, тамъ нѣтъ стройности.

Вы ошибаетесь,—говоритъ третій,—интересъ *не долженъ* сосредоточиваться ни на Борисѣ, ни на Самозванцѣ. Трагедія Пушкина есть трагедія *историческая*, слѣдовательно, не страсть, не характеръ, не лицо должны быть главнымъ ея предметомъ, но цѣлое время, *вѣкъ*. Пушкинъ то и сдѣлалъ: онъ представилъ въ трагедіи своей вѣрный очеркъ вѣка, сохранилъ всѣ его краски, всѣ особенности его цвѣта. Жаль только, что эта картина начертана поверхностно и не полно; ибо въ ней забыто многое характеристическое, и развито многое лишнее, напримѣръ, характеръ Марины и т. п. Еслибы Пушкинъ понялъ глубже время Бориса, онъ бы представилъ его полнѣе и ощутительнѣе, то есть, другими словами: подражая болѣе Шекспиру, Пушкинъ болѣе удовлетворилъ бы требованіямъ Шлегеля. Но забудемъ на время нашихъ критиковъ и Шекспира и Шлегеля и всѣ теоріи трагедій; посмотримъ на Бориса Годунова глазами не предубѣжденными системою, и не заботясь о томъ, что̀ *должно* быть средоточіемъ трагедіи,—спросимъ самихъ себя: что̀ составляетъ главный предметъ созданія Пушкина?

Очевидно, что и Борисъ, и Самозванецъ, и Россія, и Польша, и народъ, и царедворцы, и монашеская келья, и государственный совѣтъ — всѣ лица и всѣ сцены трагедіи развиты только

въ *одномъ отношеніи:* въ отношеніи къ послѣдствіямъ цареубійства. Тѣнь умерщвленнаго Димитрія царствуетъ въ трагедіи отъ начала до конца, управляетъ ходомъ всѣхъ событій, служитъ связью всѣмъ лицамъ и сценамъ, разставляетъ въ одну перспективу всѣ отдѣльныя группы, и различнымъ краскамъ даетъ одинъ общій тонъ, одинъ кровавый оттѣнокъ. Доказывать это, значило бы переписать всю трагедію.

Но если убіеніе Димитрія съ его государственными послѣдствіями составляетъ главную нить и главный узелъ созданія Пушкина, если критики не смотря на то искали средоточія трагедіи въ Борисѣ, или въ Самозванцѣ, или въ жизни народа, и т. п., то очевидно, что они по *совѣсти* не могли быть довольны поэтомъ и должны были находить въ немъ и нестройность, и неполноту, и мѣлкость, и незрѣлость; ибо при такомъ отношеніи судей къ художнику, чѣмъ болѣе гармоніи въ твореніи послѣдняго, тѣмъ оно кажется разногласнѣе для первыхъ, какъ вѣрно разсчитанная перспектива для избравшаго ложный фокусъ.

Но если бы, вмѣсто *фактическихъ* послѣдствій цареубійства, Пушкинъ развилъ намъ болѣе его *психологическое* вліяніе на Бориса, какъ Шекспиръ въ Макбетѣ; если бы вмѣсто Русскаго монаха, который въ темной кельѣ произноситъ надъ Годуновымъ приговоръ судьбы и потомства, поэтъ представилъ намъ Шекспировскихъ вѣдьмъ, или Мюльнерову волшебницу-цыганку, или пророческій сонъ:

Pendant l'horreur d'une profonde nuit,

тогда, конечно, онъ былъ бы скорѣе понятъ и принятъ съ большимъ восторгомъ. Но чтобы оцѣнить Годунова, какъ его создалъ Пушкинъ, надобно было отказаться отъ многихъ ученыхъ и школьныхъ предразсудковъ, которые не уступаютъ никакимъ другимъ ни въ упорности, ни въ односторонности.

Большая часть трагедій, особенно новѣйшихъ, имѣетъ предметомъ дѣло совершающееся, или долженствующее совершиться. Трагедія Пушкина развиваетъ послѣдствія дѣла уже совершеннаго, и преступленіе Бориса является не какъ *дѣйствіе*, но какъ сила, какъ мысль, которая обнаруживается мало по малу, то въ шопотѣ царедворца, то въ тихихъ воспоминаніяхъ отшельника, то въ одинокихъ мечтахъ Григорія, то въ

силѣ и успѣхахъ Самозванца, то въ ропотѣ придворномъ, то въ волненіяхъ народа, то, наконецъ, въ громкомъ ниспроверженіи неправедно царствовавшаго дома. Это постепенное возрастаніе коренной мысли въ событіяхъ разнородныхъ, но связанныхъ между собою однимъ источникомъ, даетъ ей характеръ сильно-трагическій, и такимъ образомъ позволяетъ ей заступить мѣсто господствующаго лица, или страсти, или поступка.

Такое трагическое воплощеніе мысли болѣе свойственно древнимъ, чѣмъ новѣйшимъ. Однако мы могли бы найти его и въ новѣйшихъ трагедіяхъ, на примѣръ, въ Мессинской Невѣстѣ, въ Фаустѣ, въ Манфредѣ; но мы боимся сравненій: гдѣ дѣло идетъ о созиданіи новомъ, примѣръ легче можетъ сбить, чѣмъ навести на истинное воззрѣніе.

Согласимся однако, что такого рода трагедія, гдѣ главная пружина не страсть, а мысль, по сущности своей не можетъ быть понята большинствомъ нашей публики; ибо большинство у насъ не толпа, не народъ, наслаждающійся безотчетно, а гг. читатели, почитающіе себя образованными: они, *наслаждаясь*, хотятъ вмѣстѣ *судить*, и боятся прекраснаго-непонятнаго, какъ злаго искусителя, заставляющаго чувствовать противъ совѣсти. Если бы Пушкинъ, вмѣсто Годунова, написалъ Эсхиловскаго Промееея, гдѣ также развивается воплощеніе мысли, и гдѣ еще менѣе *ощутительной* связи между сценами, то, вѣроятно, трагедія его имѣла бы еще меньше успѣха, и ей не только бы отказали въ правѣ называться *трагедіей*, но врядъ ли бы признали въ ней какое нибудь достоинство, ибо она написана ясно противъ всѣхъ правилъ новѣйшей драмы. Я не говорю уже объ насъ, бѣдныхъ критикахъ; наше положеніе было бы тогда еще жалче: напрасно ученическимъ помазкомъ старались бы мы расписывать красоты великаго мастера, — намъ отвѣчали бы одно: Промееей не трагедія, это стихотвореніе безпримѣрное, какого нѣтъ ни у Нѣмцевъ, ни у Англичанъ, ни у Французовъ, ни даже у Испанцевъ, — какъ же вы хотите, чтобы мы судили объ ней? на чье мнѣніе можемъ мы сослаться? ибо извѣстно, что намъ самимъ

Не должно смѣть
Свое сужденіе имѣть.

Таково состояніе нашей литературной образованности. Я говорю это не какъ упрекъ публикѣ, но какъ *фактъ*, и болѣе какъ упрекъ поэту, который не понялъ своихъ читателей. Конечно, въ Годуновѣ Пушкинъ выше своей публики; но онъ былъ бы еще выше, еслибъ былъ общепонятнѣе. Своевременность столько же достоинство, сколько красота, и Промееей Эсхила въ наше время былъ бы анахронизмомъ, слѣдовательно, ошибкою.

Мы еще воротимся къ трагедіи Пушкина, когда будемъ говорить о Русской литературѣ вообще.

Наложница.

Поэма Баратынскаго имѣла въ литературѣ нашей ту же участь, какую и трагедія Пушкина: ее также не оцѣнили, также не поняли, также несправедливо обвиняли автора за недостатки небывалые, также хвалили его изъ снисхожденія къ прежнимъ заслугамъ и съ такимъ тономъ покровительства, который Гёте, изъ деликатности, не могъ бы принять, говоря о писателяхъ едва извѣстныхъ. И подъ этими протекторскими обозрѣніями, подъ этими учительскими порицаньями и совѣтами, большая часть критиковъ не удостоила даже подписать своего имени.

Такого рода литературное самоуправство нельзя не назвать по крайней мѣрѣ страннымъ. Но оно покажется еще страннѣе, когда мы вспомнимъ, что тѣ же самые критики, которые поступали такимъ образомъ съ Баратынскимъ, большую половину статей своихъ о его поэмѣ наполнили разсужденіями о нравственныхъ и литературныхъ приличіяхъ.

Мы припомнимъ это обстоятельство, говоря о характерѣ литературы нашей вообще; теперь обратимся къ самой поэмѣ (*).

(*) Большая часть критиковъ Наложницы опровергали сами себя и другъ друга; но самый полный разборъ поэмы, самыя благовидныя обвиненія, самое отчетливое опроверженіе присовокупленнаго къ ней предисловія, находятся въ разборѣ Наложницы, напечатанномъ въ 10 нумерѣ Телескопа. Въ концѣ этой книжки Европейца, читатели найдутъ отвѣтъ на этотъ разборъ, и онъ же можетъ служить отвѣтомъ и на остальныя критики Баратынскаго поэмы.

По моему мнѣнію, *Наложница* отличается отъ другихъ поэмъ Баратынскаго большею зрѣлостью въ художественномъ исполненіи. Объяснимся.

Читая *Эду*, мы проникнуты однимъ чувствомъ, глубокимъ, грустнымъ, поэтически-молодымъ, но за то и молодо-неопредѣленнымъ. Воображеніе играетъ согласно съ сердцемъ; въ душѣ остаются яркіе звуки; но въ цѣломъ созданіи чего-то недостаетъ, и есть что-то недосказанное, что-то неконченное, какъ въ первомъ порывѣ чувства, еще необъясненнаго воспоминаньями. Наружная отдѣлка Эды имѣетъ недостатки такого же рода: поэтъ часто увлекается однимъ чувствомъ, однимъ описаніемъ, прекраснымъ *отдѣльно*, но не всегда необходимымъ въ отношеніи къ цѣлому созданью. Однимъ словомъ, въ поэмѣ не всѣ средства клонятся къ одной цѣли, хотя главное чувство развито въ ней сильно и увлекательно.

Въ *Бальномъ Вечерѣ*, напротивъ того, стройность и гармонія частей не оставляютъ ничего желать въ художественномъ отношеніи. Все соразмѣрено, все на мѣстѣ; каждая картина имѣетъ надлежащій объемъ; каждому описанію показаны свои границы. Но, не смотря на эту мѣрность частей, господствующее чувство проистекаетъ изъ нихъ недовольно ясно и звучно; и если въ Эдѣ недостаетъ пластической опредѣленности и симметріи, то въ Бальномъ Вечерѣ мы хотѣли бы видѣть болѣе лирическаго единства и увлекательности.

То и другое соединено въ *Наложницѣ*, гдѣ главной мысли соотвѣтствуетъ одно чувство, выраженное ясно и сильно, развитое въ событіяхъ, соотвѣтственныхъ ему и стройно соразмѣренныхъ.

Но эта художественная зрѣлость, которою отличается послѣдняя поэма Баратынскаго отъ прежнихъ, не составляетъ еще главнаго достоинства изящныхъ произведеній. Художественное совершенство, какъ образованность, есть качество второстепенное и относительное; иногда оно, какъ маска на скелетѣ, только прикрываетъ внутреннюю безжизненность; иногда, какъ лицо благорожденной души, оно служитъ ея зеркаломъ и выраженіемъ; но во всякомъ случаѣ его достоинство не самобытное и зависитъ отъ внутренней, его одушевляющей поэзіи. Потому

чтобы оцѣнить, какъ должно, поэму Баратынскаго, постараемся опредѣлить общій характеръ его поэзіи, и посмотримъ, какъ она выразилась въ его послѣднемъ произведеніи.

Музу Баратынскаго можно сравнить съ красавицею, одаренною душею глубокою и поэтическою, красавицею скромною, воспитанной и столь приличной въ своихъ поступкахъ, рѣчахъ, нарядахъ и движеніяхъ, что съ перваго взгляда она покажется обыкновенною; толпа можетъ пройти подлѣ нея, не замѣтивъ ея достоинства; ибо въ ней все просто, все соразмѣрено, и ничто не бросается въ глаза яркимъ отличіемъ; но человѣкъ съ душевною проницательностью будетъ пораженъ въ ней именно тѣми качествами, которыхъ не замѣчаетъ толпа.

Вотъ отъ чего нерѣдко случается намъ встрѣчать людей образованныхъ, которые не понимаютъ всей красоты поэзіи Баратынскаго и которые, вѣроятно, нашли бы его болѣе по сердцу, если бы въ его стихахъ было менѣе простоты и обдуманности, больше шуму, больше оперныхъ возгласовъ и балетныхъ движеній, точно также, какъ въ половинѣ прошедшаго вѣка Англійская публика не могла сочувствовать съ Заирою, видя, что при упрекахъ Орозмана она только плачетъ; и актриса, игравшая ея роль, желая произвести больше эфекта, должна была кричать и кататься по полу (*).

Но эта обдуманность и мѣрность, эта благородная простота и художественная докончанность, которыми отличаются произведенія Баратынскаго, не составляютъ случайнаго украшенія стиховъ его; онѣ происходятъ изъ самой сущности его поэзіи, которая, также какъ поэзія Батюшкова, дышетъ единственно любовью къ соразмѣрностямъ и къ гармоніи. Вся правда жизни представляется намъ въ картинахъ Баратынскаго въ перспективѣ поэтической и стройной; самыя разногласія являются въ ней не разстройствомъ, но музыкальнымъ диссонансомъ,

(*) Le sultan, говоритъ Вольтеръ, n'est point ému de la voir dans cette posture ridicule et de désespoir, et le moment après il est tout étonné que Zaïre pleure. Il lui dit cet hémistiche:

Zaïre, vous pleurez!

Il auroit dû lui dire auparavant:

Zaïre, vous vous roulez par terre!

который разрѣшается въ гармонію. Отъ того, чтобы дать просторъ сердцу, ему не нужно выдумывать себѣ небывалый міръ, волшебницъ, привидѣній и животнаго магнетизма; въ самой дѣйствительности открылъ онъ возможность поэзіи; ибо глубокимъ воззрѣніемъ на жизнь понялъ онъ необходимость и порядокъ тамъ, гдѣ другіе видятъ разногласіе и прозу. Оттуда утвержденіе его, что все истинное, вполнѣ представленное, не можетъ быть ненравственное; отъ того самыя обыкновенныя событія, самыя мѣлкія подробности жизни, являются поэтическими, когда мы смотримъ на нихъ сквозь гармоническія струны его лиры. Балъ, маскерадъ, непринятое письмо, пированье друзей, неодинокая прогулка, чтенье альбомныхъ стиховъ, поэтическое имя, однимъ словомъ, всѣ случайности и всѣ обыкновенности жизни, принимаютъ подъ его перомъ характеръ значительности поэтической,—ибо тѣсно связываются съ самыми рѣшительными опытами души, съ самыми возвышенными минутами бытія, и съ самыми глубокими, самыми свѣжими мечтами, мыслями и воспоминаньями о любви и дружбѣ, о жизни и смерти, о добрѣ и злѣ, о Богѣ и вѣчности, о счастьи и страданіяхъ, о ихъ цѣли, слѣдахъ и поэзіи.

Эти возвышенныя, сердечныя созерцанія, слитыя въ одну картину съ ежедневными случайностями жизни, принимаютъ отъ нихъ ясную форму, живую опредѣленность и граціозную ощутительность, между тѣмъ какъ самыя обыкновенныя событія жизни получаютъ отъ такого сліянія глубокость и музыкальность поэтическаго созданія. Такъ, часто не унося воображенія за тридевять земель, но оставляя его посреди обыкновеннаго быта, поэтъ умѣетъ согрѣть его такою сердечною поэзіею, такою идеальною грустію, что не отрываясь отъ гладкаго, вощенаго паркета, мы переносимся въ атмосферу музыкальную и мечтательно просторную.

Это направленіе поэзіи Баратынскаго яснѣе, чѣмъ въ другихъ поэмахъ, выразилось въ его Наложницѣ. Я не стану повторять здѣсь ея содержанія, давно уже извѣстнаго каждому изъ моихъ читателей. Замѣчу только, что въ этой поэмѣ нѣтъ ни одной сцены, которая бы не привела къ чувству поэтиче-

скому, и нѣтъ ни одного чувства, которое бы не сливалось неразрывно съ картиною изъ жизни дѣйствительной, — и эти картины говорятъ гораздо яснѣе всѣхъ возможныхъ толкованій. Вмѣсто того, чтобы описывать словами то тяжелое чувство смутной грусти, которое угнетало душу Елецкаго посреди безпорядочной, развратной его жизни; вмѣсто того, чтобы разсказывать, какъ эта грязная жизнь не могла наполнить его благороднаго сердца и должна была возбудить въ немъ необходимость любви чистой и возвышенной; какъ эта новая любовь, освѣжая его душу, должна была противорѣчить его обыкновенному быту; вмѣсто всѣхъ этихъ психологическихъ объясненій, поэтъ рисуетъ намъ сцены живыя, которыя говорятъ воображенію и взяты изъ вѣрнаго описанія дѣйствительности: картину ночнаго пированья; его безобразные слѣды въ комнатѣ Елецкаго; окно, отпрытое на златоглавый Кремль, поутру, при восхожденіи солнца; гулянье подъ Новинскимъ и встрѣчу съ Вѣрою, маскерадъ, разговоръ съ Сарою и пр. и пр. Иногда одинъ стихъ вмѣщаетъ цѣлую исторію внутренней жизни. Такъ, чтобы выразить любовь Елецкаго, поэтъ описываетъ наружность Вѣры, и прибавляетъ только:

Своими чистыми очами,
Своей спокойной красотой,
Столь благороднымъ выраженьемъ
Сей драгоцѣнной тишины,—
Она сходна была съ видѣніемъ
Его разборчивой весны.
. . . . . .

Онъ встрѣчается съ Вѣрою въ театрѣ:

Елецкій, сцену забывая,
Съ той ложи не сводилъ очей,
Въ которой Вѣра Волховская
Сидѣла, изрѣдка встрѣчая
Взоръ, остановленный на ней.—
Вкусивъ неполное свиданье,
Елецкій приходилъ домой
Исполненъ мукою двойной;

Но полюбивъ свое страданье,
Такой же встрѣчи съ новымъ днемъ
Искалъ въ безумiи своемъ.

Какъ нѣсколько словъ представляютъ весь характеръ Вѣры, и начало ея любви, и ея будущую участь

Природа Вѣру сотворила
Съ живою, нѣжною душой;
Она ей чувствовать судила
Съ опасной въ жизни полнотой.
Недавно дѣва молодая,
Красою свѣжею блистая,
Вступила въ вихорь городской.
Она еще не разсудила,
Не поняла души своей;
Но темною мечтою въ ней
Она уже проговорила.
Странна ей суетность была;
Она плѣниться не могла
Ея несвязною судьбиной;
Хотѣло бъ сердце у нее
Себѣ избрать кумиръ единой,
И тѣмъ осмыслить бытiе.
Тутъ романическiя встрѣчи
Съ героемъ повѣсти моей
. . . . . .

Но судьба обманула сердце бѣдной Вѣры: женихъ ея погибъ, всѣ мечты счастья разрушены навсегда, — и весь ужасный переворотъ въ душѣ ея поэтъ рисуетъ одною картиною, ощутительно ясною, глубоко обдуманною и вмѣстѣ поразительно простою и обыкновенною:

Въ тужъ зиму съ дядей старикомъ
Покинувъ городъ, возвратилась
Она лишь два года потомъ.
Лицомъ своимъ не измѣнилась;
Блистаетъ тою же красой;

Но строже смотритъ за собой.
Въ знакомство тѣсное не входитъ
Она ни съ кѣмъ. Всегда отводитъ
Чутъ-чуть короткій разговоръ.
Подчинены ея движенья
Холодной мѣрѣ. Вѣренъ взоръ,
Не измѣняя выраженья,
Не выражаетъ ничего.
Блестящій юноша его
Не оживитъ, и нетерпѣнья
Въ немъ не замѣтитъ старый шутъ.
Ее смѣшливыя подруги
Въ нескромный смѣхъ не вовлекутъ;
Раздѣлены ея досуги
Между роялемъ и канвой;
Въ раздумьи праздномъ не видали,
И никогда не заставали
Съ романомъ Вѣры Волховской;
Дѣвицей самой совершенной
Въ устахъ у всѣхъ она слыветъ.
Чтожъ эту скромность ей даетъ?
Увы! тоскою потаенной
Еще-ль душа ея полна?
Еще ли носитъ въ ней она
О прошломъ вѣрное мечтанье,
И равнодушна ко всему,
Что не относится къ нему, —
Что не его воспоминанье?
Или, созрѣвъ умомъ своимъ,
Уже теперь постигла имъ
Она безумство увлеченья?
Уразумѣла, какъ смѣшно
И легкомысленно оно,
Какъ правы принятыя мнѣнья
О романическихъ мечтахъ?
Или теперь въ ея глазахъ,
За общій очеркъ, въ мигъ забвенья
Полусвершенный ею шагъ,
Сталъ дѣтской шалостью одною,

И съ утонченностью такою,
Осмотру свѣтскому вѣрна,
Его сама передъ собою
Желаетъ искупить она?
Одно-ль, другое-ль въ ней виною
Страстей безвременной тиши:
Утраченъ Вѣрой молодою
Иль жизни цвѣтъ, иль цвѣтъ души.

Это описаніе Вѣры служитъ однимъ изъ лучшихъ примѣровъ того, какъ самыя обыкновенныя явленія въ жизни дѣйствительной получаютъ характеръ глубоко поэтическій подъ перомъ Баратынскаго. Я не говорю уже объ изображеніи Сары, лучшаго, можетъ быть, созданія въ цѣлой поэмѣ.

Однако, не смотря на всѣ достоинства Наложницы, нельзя не признаться, что въ этомъ родѣ поэмъ, какъ въ картинахъ Міериса, есть что-то безполезно стѣсняющее, что-то условно ненужное, что-то мѣлкое, не позволяющее художнику развить вполнѣ поэтическую мысль свою. Уже самый объёмъ поэмы противорѣчитъ возможности свободнаго изліянія души; и для наружной стройности, для гармоніи переходовъ, для соразмѣрности частей, поэтъ часто долженъ жертвовать другими, болѣе существенными качествами. Такъ, самая любовь къ прекрасной стройности и соразмѣрности вредитъ поэзіи, когда поэтъ дѣйствуетъ въ кругу, слишкомъ ограниченномъ. Паганини, играя концерты на одной струнѣ, имѣетъ по крайней мѣрѣ то самолюбивое утѣшеніе, что публика удивляется искусству, съ которымъ онъ побѣждаетъ заданныя себѣ трудности. Но многіе ли способны оцѣнить тѣ трудности, съ которыми долженъ бороться Баратынскій? —

Можетъ быть, я ошибаюсь, но мнѣ кажется, что публика наша до тѣхъ поръ не пойметъ всей глубокости и всей поэзіи оригинальнаго взгляда на жизнь, которымъ отличается Муза Баратынскаго, покуда онъ не представитъ его въ произведеніи, болѣе соотвѣтственномъ господствующему направленію его воображенія. Баратынскій, больше чѣмъ кто либо изъ нашихъ поэтовъ, могъ бы создать намъ поэтическую комедію, состоя-

щую не изъ холодныхъ каррикатуръ, не изъ печальныхъ остротъ и каламбуровъ, но изъ вѣрнаго и вмѣстѣ поэтическаго представленія жизни дѣйствительной, какъ она отражается въ ясномъ зеркалѣ поэтической души, какъ она представляется наблюдательности тонкой и проницательной, передъ судомъ вкуса разборчиваго, нѣжнаго и счастливо образованнаго.

РУССКІЕ АЛЬМАНАХИ

НА 1832 ГОДЪ.

До сихъ поръ вышло болѣе десяти альманаховъ на 1832 годъ. Между ними *Альціона*, изданная Барономъ Розеномъ, замѣчательна превосходными стихами Жуковскаго, стихами Пушкина, Кн. Вяземскаго и прозою Марлинскаго и Сомова. Но безъ сравненія отличаются отъ всѣхъ другихъ альманаховъ *Сѣверные Цвѣты*, блестящіе именами Дмитріева (И. И.), Жуковскаго, Пушкина, Кн. Вяземскаго, Баратынскаго, Языкова, и даже Батюшкова и покойнаго Дельвига. Вотъ уже годъ прошелъ съ тѣхъ поръ, какъ Дельвига на стало, съ тѣхъ поръ, какъ преждевременная смерть ненавистною рукою вырвала его изъ круга друзей и тихой, поэтической дѣятельности.

Онъ былъ Поэтъ: безпечными глазами (*)
Смотрѣлъ на міръ,—и міру былъ чужой;
Онъ сладостно бесѣдовалъ съ друзьями;
Онъ красоту боготворилъ душой;
Онъ воспѣвалъ счастливыми стихами
Харитъ, вино, и дружбу, и покой.
. . . . . .
Любовь онъ пѣлъ, его напѣвы (**)
Блистали стройностью живой,
Какъ рѣзвый станъ и перси дѣвы,
Олимпа чашницы младой.
Онъ пѣлъ вино: простой и ясной
Стихи восторгъ одушевлялъ;
Они звенѣли сладкогласно;

(*) Стихи сіи взяты изъ пѣсни Н. М. Языкова, напечатанной въ Сѣв. Цвѣтахъ 1832.

(**) Изъ Посланья Языкова къ Дельвигу, напечатаннаго тамъ же.

Какъ въ шумѣ вольницы прекрасной
Фіялъ, цѣлующій фіялъ.
И дѣвы Русскія пристрастно
Ихъ повторяютъ . . . . . .
. . . . . .
Таковъ онъ былъ, хранимый Фебомъ,
Душой и лирой древній Грекъ.
. . . . . .
Его ужъ нѣтъ. Главой безпечной
Отъ шума жизни скоротечной,
Изъ міра, гдѣ все прахъ и дымъ,
Въ міръ лучшій, въ лоно жизни вѣчной
Онъ перелегъ. Но лиры звонъ
Намъ навсегда оставилъ онъ.

Дельвигъ писалъ немного и печаталъ еще менѣе; но каждое произведеніе его дышетъ зрѣлостью поэтической мечты и доконченностью классической отдѣлки. Его подражанія древнимъ, болѣе чѣмъ всѣ Русскіе переводы и подражанія, проникнуты духомъ древней простоты, Греческою чувствительностью къ пластической красотѣ, и древнею, дѣтскою любовью къ чистымъ идеаламъ чувственнаго совершенства. Но та поэзія, которою исполнены Русскія пѣсни Дельвига, ближе къ Русскому сердцу; въ этихъ пѣсняхъ отзывается гармоническимъ отголоскомъ задумчивая грусть и поэтическая простота нашихъ Русскихъ мелодій. Выписываемъ, въ доказательство, одну изъ пѣсенъ Дельвига, напечатанныхъ въ послѣднихъ Сѣверныхъ Цвѣтахъ, которая принадлежитъ къ числу лучшихъ его пѣсенъ:

Какъ за рѣченькой слободушка стоитъ;
По слободкѣ той дороженька бѣжитъ;
Путь-дорожка широка, да не длинна;
Разбѣгается въ двѣ стороны она:
Какъ на лѣво — на кладбище къ мертвецамъ;
А на право — къ Закавказскимъ молодцамъ.
Грустно было провожать мнѣ, молодой,
Двухъ родимыхъ и по той и по другой!
Обручальника по лѣвой проводя,
Съ плачемъ матерью-землей покрыла я;

А налетный другъ уѣхалъ по другой,
На прощанье мнѣ кивнувши головой.

Оцѣнить безпристрастно и подробно стихотворенія Дельвига, — была бы не маловажная услуга Русской литературѣ, и эта одна изъ лучшихъ задачь, предстоящихъ нашимъ критикамъ.

Повѣсть Батюшкова, напечатанная въ Сѣверныхъ Цвѣтахъ, отличается его обыкновенною звучностью и чистотою языка. Стихи Дмитріева также напомнили намъ живо его прежнюю поэзію; прочтя ихъ, кто не повторитъ вмѣстѣ съ Жуковскимъ:

Нѣтъ, не прошла, пѣвецъ нашъ вѣчно юный,
Твоя пора: твой геній бодръ и свѣжъ;
Ты пробудилъ давно молчавши струны, —
И звуки насъ плѣнили тѣ-жъ.

Этотъ *Отвѣтъ* Жуковскаго исполненъ самыхъ свѣжихъ красотъ, самаго поэтическаго чувства и самаго трогательнаго воспоминанія.

Къ названному нами присовокупимъ еще: *Сраженіе съ Змѣемъ*, переводъ Жуковскаго изъ Шиллера; *А. А. Дельвигу*, Языкова; *Моцартъ и Сальери*, Пушкина; *До свиданія*, Кн. Вяземскаго; — и вотъ лучшія украшенія Сѣверныхъ Цвѣтовъ нынѣшняго года, богатыхъ еще многими прекрасными стихами и прозою. Вообще, появленіе ихъ можно поставить въ число самыхъ замѣчательныхъ событій текущей литературы.

—

ГОРЕ ОТЪ УМА — НА МОСКОВСКОМЪ ТЕАТРѢ.

Въ концѣ прошедшаго года поставлена на Московскій театръ извѣстная комедія покойнаго А. С. Грибоѣдова: Горе отъ ума, и не смотря на то, что актеры играли дурно и ни одинъ изъ нихъ, не исключая даже г. Щепкина, не понялъ своей роли; не смотря на то, что комедія была уже давно знакома большей части зрителей, ибо нѣтъ уѣзда въ Европейской Россіи, нѣтъ армейскаго полка, гдѣ бы ее не знали наизусть; не смотря на то, что она не имѣетъ собственно драматическихъ и театральныхъ достоинствъ, и лучше въ простомъ чтеніи, чѣмъ на сценѣ; не смотря на то, наконецъ, что Московская публика видѣла въ ней собственную свою каррикатуру, — театръ былъ почти полонъ въ продолженіе трехъ или четырехъ разъ ея представленія. Доказываетъ ли это безпристрастіе Московской публики? Или наша насмѣшливость сильнѣе нашего самолюбія? Или, можетъ быть, мы смотрѣли на сцену съ такимъ же добрымъ простодушіемъ, съ какимъ извѣстная обезьяна, глядясь въ зеркало, говорила медвѣдю:

Смотри-ка Мишенька:, что это тамъ за рожа?

Правда, оригиналы тѣхъ портретовъ, которые начерталъ Грибоѣдовъ, уже давно не составляютъ большинства Московскаго общества, и хотя они созданы и воспитаны Москвою, но уже сама Москва смотритъ на нихъ, какъ на рѣдкость, какъ на любопытныя развалины другаго міра. Но главный характеръ Московскаго общества вообще — не перемѣнился. Философія Фамусова и теперь еще кружитъ намъ головы (*); мы и теперь, также какъ въ его время, хлопочемъ и суетимся изъ ничего; кланяемся и унижаемся безкорыстно и только изъ удо-

(*) Пофилософствуй, умъ вскружится:
Ѣшь три часа, а въ три дни не сварится!

вольствія кланяться; ведемъ жизнь безъ цѣли, безъ смысла; сходимся съ людьми безъ участія, расходимся безъ сожалѣнія; ищемъ наслажденій минутныхъ, и не умѣемъ наслаждаться. И теперь, также какъ при Фамусовѣ, домы наши рано открыты для всѣхъ: для званыхъ и незваныхъ, для честныхъ и для подлецовъ. Связи наши составляются не сходствомъ мнѣній, не сообразностью характеровъ, не одинакою цѣлью въ жизни, и даже не сходствомъ нравственныхъ правилъ; ко всему этому мы совершенно равнодушны. Случай насъ сводитъ, случай разводитъ, и снова сближаетъ, безъ всякихъ послѣдствій, безъ всякаго значенія.

Эта пустота жизни, это равнодушіе ко всему нравственному, это отсутствіе всякаго мнѣнія и вмѣстѣ боязнь пересудовъ, эти ничтожныя отношенія, которыя истощаютъ человѣка по мѣлочамъ и дѣлаютъ его неспособнымъ ко всему стройно дѣльному, ко всему возвышенному и достойному труда: *жить*,— все это даетъ Московскому обществу совершенно особенный характеръ, составляющій середину между уѣзднымъ кумовствомъ и безвкусіемъ, и столичною искательностью и роскошью. Конечно, есть исключенія, и, можетъ быть, ихъ больше, чѣмъ сколько могутъ замѣтить проходящіе: есть общества счастливо отборныя, заботливо охраняющія себя отъ ихъ окружающей смѣшенности и душнаго ничтожества; есть люди, которые въ кругу тихихъ семейныхъ отношеній, посреди безкорыстныхъ гражданскихъ обязанностей, развиваютъ чувства возвышенныя вмѣстѣ съ правилами твердыми и благородными; есть люди, постигшіе возможность цѣли высокой посреди всеобщей пустоты и плоскости; люди, умѣющіе создавать себѣ наслажденія просвѣщенныя и роскошествовать съ утонченностью и вкусомъ; но эти люди, эти общества далеко не составляютъ большинства; и если бы они захотѣли принять на себя безполезную и молодо-странную откровенность *Чацкаго*, то, также какъ онъ, явились бы пугалищемъ собраній, существомъ несноснымъ, неприличнымъ и сумасшедшимъ.

Однако и самыя исключенія, находящіяся въ безпрестанной борьбѣ съ большинствомъ, не могутъ совершенно охраниться отъ его заразительности, и невольно, болѣе или менѣе, раздѣ-

ляютъ его недостатки. Такъ почти нѣтъ дома въ Москвѣ, который бы чѣмъ нибудь не обнаружилъ просвѣщенному иностранцу нашей недообразованности, и если не въ гостиной, не въ кабинетѣ, то хотя въ прихожей найдетъ онъ какое нибудь разногласіе съ Европейскимъ бытомъ и согласіе съ бытомъ Московскимъ.

Естественно, что это имѣетъ вліяніе и на самого хозяина; и потому совершенно справедливо, что

На всѣхъ Московскихъ есть особый отпечатокъ.

Вотъ въ чемъ состоитъ главная мысль комедіи Грибоѣдова, мысль, выраженная сильно, живо и съ прелестью поразительной истины. Каждое слово остается въ памяти неизгладимо; каждый портретъ приростаетъ къ лицу оригинала неотъемлемо; каждый стихъ носитъ клеймо правды и кипитъ огнемъ негодованія, знакомаго одному таланту.

Но есть въ той же комедіи другая мысль, которая, по моему мнѣнію, если не противорѣчитъ господствующей, то по крайней мѣрѣ доказываетъ, что авторъ судилъ о Москвѣ болѣе какъ *свидѣтель*, страстно взволнованный, нежели какъ *судья*, равнодушно мыслящій, и умѣющій, даже осуждая, отличать хорошее отъ дурнаго. Можетъ быть, это не вредитъ произведенію искусства, не вредитъ истинѣ художественной; но вредитъ истинѣ практической и нравственной. Мысль, о которой я говорю, заключается въ негодованіи автора на нашу любовь къ иностранному. Правда, эта любовь часто доходитъ до смѣшнаго и безсмысленнаго; дурно направленная, она часто мѣшаетъ нашему собственному развитію; но злоупотребленія вещи не уничтожаютъ ея достоинства. Правда, мы смѣшны, подражая иностранцамъ,—но только потому, что подражаемъ неловко и невполнѣ; что изъ-подъ Европейскаго фрака выглядываетъ остатокъ Русскаго кафтана, и что, обривши бороду, мы еще не умыли лица. Но странность нашей подражательности пройдетъ при большемъ распространеніи просвѣщенія; а просвѣщеніе у насъ распространиться не можетъ иначе, какъ вмѣстѣ съ распространеніемъ иностраннаго образа жизни, иностраннаго платья, иностранныхъ обычаевъ, которые сближаютъ насъ съ Европою

физически, и, слѣдовательно, способствуютъ и къ нашему нравственному и просвѣщенному сближенію. Ибо, кто не знаетъ, какое вліяніе имѣетъ наружное устройство жизни на характеръ образованности вообще? Намъ нечего бояться утратить своей національности: наша религія, наши историческія воспоминанія, наше географическое положеніе, вся совокупность нашего быта столь отличны отъ остальной Европы, что намъ физически невозможно сдѣлаться ни Французами, ни Англичанами, ни Нѣмцами. Но до сихъ поръ національность наша была національность необразованная, грубая, Китайски-неподвижная. Просвѣтить ее, возвысить, дать ей жизнь и силу развитія, — можетъ только вліяніе чужеземное; и какъ до сихъ поръ все просвѣщеніе наше заимствовано извнѣ, такъ только извнѣ можемъ мы заимствовать его и теперь, и до тѣхъ поръ, покуда поравняемся съ остальною Европою. Тамъ, гдѣ *обще-Европейское* совпадется съ нашею *особенностью*, тамъ родится просвѣщеніе истинно-Русское, образованно-національное, твердое, живое, глубокое и богатое благодѣтельными послѣдствіями. Вотъ отъ чего наша любовь къ иностранному можетъ иногда казаться смѣшною, но никогда не должна возбуждать негодованія; ибо, болѣе или менѣе, посредственно или непосредственно, она всегда ведетъ за собой просвѣщеніе и успѣхъ, и въ самыхъ заблужденіяхъ своихъ не столько вредна, сколько полезна.

Но любовь къ иностранному не должно смѣшивать съ пристрастіемъ къ иностранцамъ; если первая полезна, какъ дорога къ просвѣщенію, то послѣднее, безъ всякаго сомнѣнія, и вредно и смѣшно, и достойно нешуточнаго противодѣйствія. Ибо,—не говоря уже объ томъ, что изъ десяти иноземцевъ, промѣнявшихъ свое отечество на Россію, рѣдко найдется одинъ просвѣщенный,—большая часть такъ называемыхъ иностранцевъ не рознится съ нами даже и мѣстомъ своего рожденія; они родились въ Россіи, воспитаны въ полурусскихъ обычаяхъ, образованы также поверхностно, и отличаются отъ коренныхъ жителей только своимъ *незнаньемъ Русскаго языка* и иностраннымъ окончаніемъ фамилій. Это незнанье языка естественно дѣлаетъ ихъ чужими посреди Русскихъ, и образуетъ между ними и коренными жителями совершенно особенныя отношенія.

Отношенія сіи, всѣмъ имъ болѣе или менѣе общія, созидаютъ между ними общіе интересы, и потому заставляютъ ихъ сходиться между собою, помогать другъ другу и, не условливаясь, дѣйствовать заодно. Такъ самое *незнаніе языка* служитъ для нихъ *паролемъ*, по которому они узнаютъ другъ друга; а недостатокъ просвѣщенія нашего заставляетъ насъ смѣшивать иностранное съ иностранцами, какъ ребенокъ смѣшиваетъ учителя съ наукою, и въ умѣ своемъ не умѣетъ отдѣлить понятія объ учености отъ круглыхъ очковъ и неловкихъ движеній.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О СЛОГѢ ВИЛЬМЕНЯ.

Предыдущая статья объ Императорѣ Іуліанѣ (*) принадлежитъ къ тѣмъ немногимъ произведеніямъ Вильменя, гдѣ благородная простота слога не изукрашена кудреватою изысканностью выраженій и оборотовъ. Ибо, говоря вообще, языкъ Вильменя не столько отличается красотою правильною, строгою и классически спокойною, сколько живою, прихотливою грацiозностью, щеголеватою своеобразностью и часто изученною небрежностью. Это особенно замѣтно въ его импровизированныхъ лекціяхъ, гдѣ литераторъ не имѣетъ времени быть сочинителемъ и переработывать свои невольныя внушенія по законамъ отчетливаго вкуса, и гдѣ, слѣдовательно, природный талантъ является со всѣми особенностями своихъ красотъ и недостатковъ, какъ разбуженная красавица въ утреннемъ неприборѣ. По той же причинѣ, по которой Гизо на лекціяхъ говоритъ больше дѣла и меньше фразъ, чѣмъ въ сочиненіяхъ обдѣланныхъ на досугѣ, и по той же причинѣ въ импровизаціяхъ Вильменя больше фразъ и меньше дѣла, чѣмъ въ его твореніяхъ кабинетныхъ. За то фразы его, какъ удачный стихъ, какъ счастливая тема, остаются въ памяти даже и тогда, когда онѣ не выражаютъ мысли новой или необыкновенной, хотя общая система мыслей Вильменя и нова и необыкновенна для Франціи. Я говорю *система*, ибо не могу согласиться съ тѣми, которые не находятъ ее во мнѣніяхъ Вильменя. Да, не смотря на наружный безпо-

(*) Тотъ же литераторъ, которому мы обязаны переводомъ этой статьи, столько же правильно, изящно и близко передалъ на Русскій языкъ сочиненіе того же автора о Христіанскомъ Краснорѣчіи IV вѣка. Сочиненіе это будетъ напечатано вмѣсто предисловія къ новому переводу *Избранныхъ мѣстъ изъ Св. Іоанна Златоуста*, издаваемому г. Оболенскимъ (переводчикомъ Платона и Геродіана) въ пользу вдовъ и сиротъ духовнаго званія. См. 13 N. Телескопа.

рядокъ его мыслей, не смотря на небрежность его изложенія, не смотря на кажущуюся легкость и случайность его положеній, Вильмень имѣетъ свою систему, и систему зрѣло обдуманную, ибо утвержденія его нигдѣ не противорѣчатъ одно другому; систему глубокую, ибо его мысли наравнѣ съ вѣкомъ; систему твердо понятую и строго связанную, именно потому, что онъ можетъ выражать ее такъ легко, такъ удобопонятно и, по видимому, такъ поверхностно: ясность есть послѣдняя степень обдуманности.

На слогъ Вильменя болѣе другихъ Французскихъ писателей походитъ слогъ Бальзака, сочинителя Послѣдняго Шуана, Картинъ изъ частной жизни и пр. и пр. Бальзакъ, такжe какъ Вильмень, любитъ удивлять неожиданностью оборотовъ, необыкновенностью выраженій и небывалымъ сцѣпленіемъ разнозначительныхъ эпитетовъ; онъ, также какъ Вильмень, большую часть сравненій своихъ заимствуетъ изъ жизни дѣйствительной и настоящей; онъ также позволяетъ себѣ иногда неправильность и нововведеніе для того, чтобы нарисовать мысль въ ея живомъ цвѣтѣ, съ ея нѣжнѣйшими оттѣнками; — но не смотря на это сходство *манеры*, слогъ Бальзака, по моему мнѣнію, отличается отъ слога Вильменя тѣмъ, что послѣдній всегда почти вѣренъ чувству извѣстнаго приличія, между тѣмъ какъ первый, не смотря на весь талантъ свой, часто переступаетъ за предѣлы граціозности въ область неестественности. Вильмень скажетъ иногда фразу мишурную, но кстати; Бальзакъ повторитъ туже фразу и часто не къ мѣсту. Вильмень иногда неправиленъ какъ литераторъ, но въ самыхъ неправильностяхъ его вы видите человѣка со вкусомъ тонкимъ и воспитаннымъ посреди отборнаго общества; говоря мысль новую, для которой еще нѣтъ выраженія, онъ скорѣе выберетъ оборотъ капризно разговорный, чѣмъ тяжело ученый, по такому же чувству приличія, по какому наши дамы, не находя Русскихъ словъ, скорѣе рѣшаются на галлицизмъ, чѣмъ на выраженіе Славянское. Бальзакъ неправиленъ не меньше Вильменя; но неправильность его часто ни чѣмъ не оправдывается, и его изысканность иногда оскорбляетъ не только вкусъ литератора, но и хорошій вкусъ вообще, какъ слишкомъ высокій прыжокъ танцующаго не на театрѣ.

Особенно примѣчательно въ Вильменѣ то, что, не зная по-Нѣмецки, онъ въ своихъ основныхъ мысляхъ и особенно въ ихъ литературныхъ примѣненіяхъ, почти всегда сходится съ мыслями господствующими въ Германіи. По моему мнѣнію, это одно могло бы доказать намъ, что познаніе Нѣмецкой литературы значительно распространено между образованными Французами; что результаты Нѣмецкаго мышленія обращаются тамъ какъ монета, болѣе или менѣе знакомая каждому, хотя еще новая и не всѣми принимаемая, подобно нашимъ деньгамъ изъ платины.

О РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЬНИЦАХЪ.

(Письмо къ Аннѣ Петровнѣ Зонтагъ.)

На послѣдней почтѣ я не успѣлъ высказать вамъ, милостивая государыня, всѣхъ мыслей и чувствъ, которыя возбудило во мнѣ письмо ваше: позвольте договорить теперь. Для меня это дѣло самолюбія: я боюсь въ глазахъ вашихъ попасть къ числу тѣхъ, которые, видя прекрасное, понимаютъ его въ половину или цѣнятъ на вѣтеръ, — боюсь тѣмъ больше, что для меня, послѣ достоинства *хорошо дѣйствовать*, нѣтъ выше, какъ *умѣть понимать хорошее*.

Въ дѣйствіяхъ Одесскихъ дамъ я вижу не только доброе дѣло, но, — что по моему мнѣнію еще лучше, — дѣло истинно просвѣщенное. Оно замѣчательно не только въ нравственномъ отношеніи, но и въ общественномъ, какъ новое утѣшительное доказательство, что вообще образованность наша подвинулась впередъ. Здѣсь не одно внушеніе сердца, не одинъ случайный поступокъ, но добрая общественная мысль, раздѣленная многими; не просто состраданіе къ несчастію, безпокоющему насъ своимъ присутствіемъ, но просвѣщенно-сердечное участіе въ дѣлѣ общемъ, — не подложный признакъ того святаго просвѣщенія, которое одно истинное, и которое до сихъ поръ было у насъ еще довольно рѣдко.

Что женщины вообще имѣютъ сердце нѣжное, — это вещь давно извѣстная и такъ обыкновенная, что даже рѣдко вмѣняется въ достоинство, какъ все неизбѣжное, за что благодарятъ судьбу, а не человѣка. Что въ Россіи особенно есть женщины, созданныя съ душею возвышенною, способныя къ дѣламъ прекраснымъ, высокимъ, даже героическимъ, — это также вещь доказанная, и мы въ этомъ отношеніи уже имѣемъ право гордиться передъ многими народами, находя у себя примѣры не одного, не двухъ поступковъ такихъ, отъ которыхъ

на душѣ становится вмѣстѣ и тепло и свято. Но сочувствіе съ общественною жизнію у насъ еще ново, и отъ того женщины наши, не смотря на всѣ свои частныя добродѣтели, дѣлаютъ вообще меньше добра, чѣмъ въ государствахъ больше просвѣщенныхъ, и только потому, что тамъ общее чувство заставляетъ ихъ дѣйствовать *вмѣстѣ*, между тѣмъ какъ у насъ каждая можетъ дѣйствовать только за себя. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только обратить вниманіе на все добро, произведенное женскими благотворительными обществами въ Пруссіи, въ Баваріи, на Рейнѣ, во Франціи, и особенно въ Англіи и въ Соединенныхъ Штатахъ.

Не меньше хорошимъ знакомъ кажется мнѣ и то, что Одесскія дамы выбрали, какъ одно изъ средствъ — издать Альманахъ. Тому лѣтъ десять врядъ ли пришло бы кому-нибудь на мысль это средство. Впрочемъ, что я не слишкомъ далеко увлекся движеніемъ первой мысли, что ваши Одесскія дѣйствія въ самомъ дѣлѣ не случайность, не исключеніе, но признакъ большей зрѣлости нашей общественной образованности, — это, въ случаѣ нужды, я могъ бы доказать тысячью различныхъ примѣровъ, которые всѣ подтверждаютъ одно: что просвѣщеніе у насъ подвигается быстро, и что успѣхи его еще замѣтнѣе въ женщинахъ, чѣмъ въ мужчинахъ.

Возмите въ примѣръ наши гостиныя, нашу литературу, наше *первое* воспитаніе, которое всегда и вездѣ есть дѣло женщинъ, — какая разница съ тѣмъ, что было прежде! Далеко ли то время, когда мнѣніе общественное отдѣляло женщинъ образованныхъ въ особый классъ, отличая ихъ названіемъ *ученыхъ*? — Теперь женщина только образованная еще не выходитъ отъ того изъ круга обыкновенныхъ. — Давно ли любезность женщинъ заключалась въ искусствѣ играть словами, вертѣть понятіями, низать узорныя фразы, и тѣ часто заученыя? Давно ли разговоръ ихъ вертѣлся между тѣсными личностями и безконечнымъ калейдоскопомъ общихъ мѣстъ о добродѣтели и порокѣ, о любви и дружбѣ, о чувствительности и холодности, о превосходствѣ мужчинъ или женщинъ, или о томъ, слѣпой ли счастливѣе глухаго, или глухой слѣпаго? Теперь такія любезности уже рѣдки. Вообще репутація любезности теперь уже

не основывается на фразахъ; образованныя женщины уже не вертятъ понятіями куда попало; уже подъ маскою словъ не ищутъ однихъ только личныхъ отношеній;—и на то есть причина: онѣ начали *мыслить*, и большая часть изъ нихъ имѣетъ образъ мыслей уже не гостинный, не накладной, но свой, настоящій. Часто въ головкѣ, еще не получившей права на букли, уже хранятся мысли самобытныя, современныя, не памятью добытыя, но серьёзнымъ размышленіемъ, или чтеніемъ книгъ такихъ, которыя прежде были бы недоступны для самыхъ ученыхъ. Бывало, при звукѣ смычка, дамы наши всею душею уходили въ свои ножки, все въ нихъ оживлялось, все приходило въ движеніе; онѣ дѣйствовали на паркетѣ всѣмъ сердцемъ, всѣми силами, всѣмъ тѣломъ, всею душею,—и все это вертѣлось предъ вами, все это прыгало безъ памяти. А теперь! — въ самыхъ блестящихъ собраніяхъ есть что-то неполное; на лицахъ самыхъ веселыхъ замѣтите вы частыя минуты задумчивости. Откуда такая перемѣна? Многіе видятъ въ этомъ только новую причину скуки; я въ этой скукѣ вижу потребность чего-то лучшаго, — потребность жизни живѣе, умнѣе, дѣльнѣе, теплѣе, однимъ словомъ: *просвѣщенья*.

И то внутреннее, невыразимое страданіе, которое происходитъ отъ этой потребности живо ощущаемой, та болѣзнь души мыслящей, *болѣзнь образованности*, которая родилась въ наше время и до сихъ поръ еще не нашла себѣ имени, которая вмѣстѣ служитъ и причиною и признакомъ просвѣщенія, — какъ часто встрѣчаете вы ее даже въ такихъ женщинахъ, которыхъ, кажется, и природа и судьба нарочно для того только и создали на свѣтъ, чтобы узнать земное счастіе во всемъ его блескѣ. Это тяжело видѣть, но вмѣстѣ и отрадно; это страданіе, болѣзнь, — но болѣзнь къ росту, чистилище ума, переходъ въ міръ, вѣроятно, лучшій.

Впрочемъ не одно безотчетное чувство досталось въ удѣлъ нашимъ дамамъ отъ современнаго просвѣщенія. Часто подъ граціознымъ покрываломъ веселой шутки, подъ легкимъ, блестящимъ словомъ, скрывается не пролётная мысль, не слѣпое чувство, но цѣлое, настоящее *мнѣніе*, — мнѣніе, вещь почти неслыханная въ прежнія времена! Правда, и теперь это вещь

довольно рѣдкая; но все она встрѣчается и, можетъ быть, чаще, чѣмъ думаютъ многіе По крайней мѣрѣ, образованныя женщины *хотятъ* имѣть мнѣніе, чувствуютъ, что неукрашенныя сердечнымъ убѣжденіемъ въ нѣкоторыхъ истинахъ, онѣ теряютъ половину своей прелести. Частный опытъ не доказательство; но, сколько я могъ замѣтить, то въ этомъ отношеніи чуть ли прекрасный полъ не опередилъ другой, который приписываетъ себѣ право на разумъ по преимуществу.

Какая разница тому лѣтъ десять!

То же, что объ обществѣ, можно сказать и объ нашей литературѣ. Распространеніе просвѣщенія замѣтно въ ней вообще; но въ отношеніи къ женщинамъ оно замѣтно несравненно болѣе. Вотъ уже около десяти лѣтъ, какъ литература наша ростетъ только въ ширину, — и то слава Богу! — между тѣмъ писательницы наши становятся выше.

И давно ли, съ этимъ словомъ *писательница*, соединялись самыя непріятныя понятія : пальцы въ чернилахъ, педантство въ умѣ и типографія въ сердцѣ. Но теперь, съ тѣхъ поръ, какъ нѣкоторыя изъ лучшихъ украшеній нашего общества вступили въ ряды литераторовъ ; съ тѣхъ поръ, какъ нѣсколько истинно поэтическихъ минутъ изъ жизни нѣкоторыхъ женщинъ съ талантомъ отразились такъ граціозно, такъ плѣнительно въ ихъ зеркальныхъ стихахъ,—съ тѣхъ поръ названіе литератора стало уже не странностью, но украшеніемъ женщины; оно, во мнѣніи общественномъ, подымаетъ ее въ другую сферу, отличную отъ обыкновенной, такъ что воображеніе наше создаетъ вокругъ нея другое небо, другой воздухъ, и ярче и теплѣе, чѣмъ вашъ Одесскій.

Впрочемъ, я говорю здѣсь только о новомъ поколѣніи и частію о среднемъ; въ старомъ поколѣніи, которое привыкло видѣть въ женщинѣ полуигрушку, — предразсудокъ противъ писательницъ еще во всей силѣ. Онъ задавилъ, можетъ быть, не одинъ талантъ, обѣщавшій новую красоту нашей литературѣ и, можетъ быть, новую славу, — кто знаетъ?

Вслѣдствіе этого предразсудка, бо́льшая часть нашихъ дамъ-поэтовъ пишетъ мало, и либо со всѣмъ не печатаетъ, либо печатаетъ безъ имени. Исключеній не много.

Такъ, безъ сомнѣнія, вы слыхали объ одномъ изъ самыхъ блестящихъ украшеній нашего общества, о поэтѣ, которой имя, не смотря на ея рѣшительный талантъ, еще неизвѣстно въ нашей литературѣ. Не многимъ счастливымъ доступны ея *счастливые* стихи; для другихъ они остаются тайною. Талантъ ея скрытъ для свѣта, который осужденъ видѣть въ ней одно вседневное, одно невыходящее изъ круга жизни обыкновенной, и развѣ только по необыкновенному блеску ея глазъ, по увлекательной поэзіи ея разговора, или по граціи ея движеній, можетъ онъ узнавать въ ней поэта, отгадывать въ ней тотъ талисманъ, который такъ изящно волнуетъ мечты.

Но если предразсудокъ противъ писательницъ еще не совсѣмъ уничтожился, то другой предразсудокъ противъ Русскаго языка, кажется, уже рѣшительно начинаетъ проходить. Не говорить по-Французски еще нельзя: такъ еще образованно наше общество; такъ еще необразованъ нашъ языкъ. Но, по крайней мѣрѣ, кто теперь начинаетъ писать, тотъ, конечно, начинаетъ писать по-Русски, и, вѣроятно, уже невозможенъ болѣе тотъ примѣръ Русскаго таланта, отнятаго у Россіи Французскою литературою, который возбуждаетъ въ насъ тѣмъ больше сожалѣнія, чѣмъ больше мы могли бы ожидать отъ него для нашей словесности. Не нужно договаривать, что я разумѣю здѣсь ту писательницу, которая передаетъ Французской литературѣ поэтическую сторону жизни нашихъ древнихъ Славянъ. И въ самомъ дѣлѣ,—скажите: кому дала судьба больше средствъ дѣйствовать на успѣхи изящныхъ искусствъ въ Россіи?—Рожденная съ душею поэтическою, открытою для всего прекраснаго, одаренная талантами самыми рѣдкими, воспитанная посреди роскоши самаго утонченнаго просвѣщенія, съ самаго дѣтства окруженная всѣмъ блескомъ искусствъ, всею славою художественныхъ созданій, — она казалась сама однимъ изъ самыхъ счастливыхъ изящныхъ произведеній судьбы. О чемъ другіе мечтаютъ издали, что другіе разгадываютъ по слуху, то являлось передъ нею живо и близко. Всѣ рѣдкости Европейской образованности, всѣ чудеса просвѣщенныхъ земель, и великія художества, и великіе художники, и знаменитые писатели, и лица, принадлежащія исторіи, и лица, принадлежащія минутѣ,

— все это быстро и ярко пронеслось передъ ея глазами, все это должно было оставить слѣды драгоцѣнные на молодомъ ея воображеніи, — всѣмъ этимъ она могла дѣлиться съ своими соотечественниками, ставши прекрасною посредницею между ими и тѣмъ, что просвѣщенный міръ имѣетъ самаго замѣчательнаго.... Но это не обылоеь...

Италія, кажется, сдѣлалась ея вторымъ отечествомъ, и, впрочемъ, — кто знаетъ? можетъ быть, *необходимость Италіи* есть общая неизбѣжная судьба всѣхъ, имѣвшихъ участь, ей подобную? Кто изъ первыхъ впечатлѣній узналъ лучшій міръ на землѣ, міръ прекраснаго; чья душа, отъ перваго пробужденія въ жизнь, была, такъ сказать, взлелѣяна на цвѣтахъ искусствъ и образованности, въ теплой Итальянской атмосферѣ изящнаго; можетъ быть, для того уже нѣтъ жизни безъ Италіи, и синее Итальянское небо, и воздухъ Итальянскій, исполненный солнца и музыки, и Итальянскій языкъ, проникнутый вездѣ прелестью нѣги и граціи, и земля Итальянская, усѣянная великими воспоминаніями, покрытая, зачарованная созданьями геніальнаго творчества, — можетъ быть, все это становится уже не прихотью ума, но сердечною необходимостью, единственнымъ неудушающимъ воздухомъ для души, избалованной роскошью искусствъ и просвѣщенія....

Недавно Россійская Академія,—и это дѣлаетъ честь Россійской Академіи,—издала стихотворенія одной Русской писательницы, которой труды займутъ одно изъ первыхъ мѣстъ между произведеніями нашихъ дамъ-поэтовъ, и которая до сихъ поръ оставалась въ совершенной неизвѣстности. Судьба, кажется, отдѣлила ее отъ людей какою-то странною бездною, такъ что, живя посреди ихъ, посреди столицы, ни она ихъ не знала, ни они ее. Они оставили ее, не знаю для чего,—она оставила ихъ для своей Греціи,—для Греціи, которая, кажется, одна наполняла всѣ ея мечты и чувства: по крайней мѣрѣ о ней одной говоритъ каждый стихъ изъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ, написанныхъ ею. Странно: семнадцати лѣтъ, въ Россіи, дѣвушка бѣдная, бѣдная со всею своею ученостію!—Знать восемь языковъ; съ талантомъ поэзіи соединять талантъ живописи,

музыки, танцованья; учиться самымъ разнороднымъ наукамъ; учиться безпрестанно; работать все дѣтство, работать всю первую молодость, работать начиная день, работать отдыхая; написать три большихъ тома стиховъ по-Русски, можетъ быть, столько же на другихъ языкахъ; въ *свободное время* переводить трагедіи, Русскія трагедіи,—и все для того, чтобы умереть въ семнадцать лѣтъ, въ бѣдности, въ крайности, въ неизвѣстности!

Жалко видѣть, какъ она, бывши еще четырнадцати лѣтъ, перевела лучшія пѣсни Анакреона на *пять языковъ*, приложила къ нимъ подробный грамматическій разборъ Греческаго подлинника и поднесла покойной Императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ, прося ея вниманія

Къ плодамъ трудовъ упорныхъ,
Въ дни дѣтства предпріятыхъ.

Покойная Императрица прислала ей фермуаръ съ брилліантами. Неизвѣстно, на долго ли стало ей это пособіе: семейство ея осталось въ крайности, она умерла въ чахоткѣ. Черезъ два года уже послѣ ея смерти, Ея Высочество Великая Княгиня Елена Павловна пожаловала одному изъ ея учителей за ея же переводы кольцо съ брилліантами. Публика съ своей стороны, быть можетъ, не прочтетъ ея сочиненій: и въ самомъ дѣлѣ, въ нихъ еще больше труда, чѣмъ таланта, и слишкомъ много учености;—помните Чернаго Доктора въ Стелло?

Въ этомъ же году вышло еще собраніе стихотвореній другой писательницы, также молодой, но уже давно извѣстной по многимъ сочиненіямъ, разбросаннымъ въ журналахъ и альманахахъ. Въ легкихъ, свѣтлыхъ, граціозно волнующихся стихахъ, отразились здѣсь самыя яркія, *звѣздныя* минуты изъ весенней, чистой, сердечно-глубокой жизни поэтической дѣвушки. ***Мечта о любви,—Сонъ,—Стихи къ чародѣю,—Разочарованіе,—Воспоминанье дѣтства, —Деревня,—Звѣздочка,—Минута безнадежности,—Смерть дѣвушки-друга,—Стихи къ любимому поэту,—Къ ней,—Къ нему,—Тоска по лучшемъ мірѣ,***—однимъ словомъ: всѣ струны молодаго, поэтическаго сердца отозвались здѣсь въ одной идеальной гармоніи. Кажется, здѣсь все правда,

все отъ сердца, ни одно чувство не выдумано, — и въ этомъ отношеніи особенно замѣчательна эта музыкальная исповѣдь дѣвушки-поэта. Языкъ ея чистый, гармоническій, иногда мужественно силенъ, часто необыкновенно граціозенъ. Не смотря однако на красивость каждой піэсы, въ общемъ ихъ впечатлѣніи есть что-то грустное. Все слишкомъ идеальное, даже при свѣтлой наружности, рождаетъ въ душѣ печаль какимъ-то магнетическимъ сочувствіемъ;—такова одинокая, чистая пѣснь, прослышанная сквозь нестройный, ее заглушающій шумъ; такова жизнь дѣвушки съ душею пламенною, мечтательною, для которой изъ міра событій существуютъ еще одни внутреннія.

Другая писательница, извѣстная въ литературѣ нашей подъ тѣмъ же именемъ, уже нѣсколько лѣтъ, кажется, забыла свою лиру. Это тѣмъ больше жаль, что и ей также природа дала дарованіе неподложное. На минуту только блеснула она на горизонтѣ нашей поэзіи,—и уже одинъ изъ первоклассныхъ поэтовъ нашихъ говорилъ ей:

Вы знаете, какъ въ хоры сладкогласны
Созвучныя сливаются слова,
И чѣмъ они могучи и прекрасны
И чѣмъ поэзія жива;

Умѣете вы мыслію своею
Чужую мысль далеко увлекать,
И, праведно господствуя надъ нею,
Ее смирять и возвышать....

Такъ какъ я уже началъ говорить о нашихъ сочинительницахъ, то мнѣ хотѣлось бы еще поговорить съ вами о той писательницѣ, которая особенно замѣчательна въ литературѣ своею остроумною перепискою съ остроумнѣйшимъ изъ нашихъ поэтовъ, и которая, можетъ быть, не меньше замѣчательна внѣ литературы непринужденною любезностью своего разговора;— о другой писательницѣ, которой таинственное посланье къ Пушкину должно было такъ мучительно и вмѣстѣ такъ пріятно волновать самолюбивое любопытство поэта; о блестящей пере-

водчицѣ одного изъ нашихъ извѣстныхъ, религіозно-печальныхъ поэтовъ, которая знаменита красотою именно того, чего недостаткомъ знаменитъ поэтъ, ею переводимый; — о любопытной, необыкновенной перепискѣ, которая началась было въ одномъ изъ нашихъ литературныхъ листковъ между однимъ литераторомъ и неизвѣстною, безъименною писательницею, обѣщающею талантъ, если можно судить о талантѣ по нѣсколькимъ стихамъ; — о сочинительницѣ *Сновидѣнія*, которой стихи замѣчательны какою-то молодою безъискуственностью, благородствомъ чувствъ, и еще тѣмъ, что внушили другой писательницѣ нѣсколько мило-граціозныхъ стиховъ;—обо всемъ этомъ хотѣлъ бы я поговорить съ вами подробно, если бы не боялся продолжить письма до безконечности.

Талантъ почти красота. Гдѣ бы онъ ни являлся намъ, въ мужчинѣ или въ женщинѣ, въ образованномъ или въ невѣждѣ, и какой бы онъ ни былъ,—даже самый безполезный,—талантъ всегда заключаетъ въ себѣ что-то магнетическое. Мнѣ всегда хочется поклониться вездѣ, гдѣ я встрѣчаю талантъ. Но женщина съ талантомъ имѣетъ въ себѣ что-то особенно привлекательное. Живописецъ ли она, или музыкантъ, или поэтъ,— все равно; если только природа дала ей дарованіе неподложное, если занятіе искусствомъ раскрыло ей душу къ изящному, настроило ея воображеніе поэтически и воспитало въ ея сердцѣ другую, лучшую жизнь, то вокругъ всего существа ея разливается какая-то невыразимая прелесть. Поэтъ-мужчина принадлежитъ міру изящнаго однимъ воображеніемъ; поэтъ-женщина принадлежитъ ему всѣмъ существомъ своимъ. Отъ того часто, смотря на нее, кажется, будто голова ея окружена чѣмъ-то блестящимъ, похожимъ на сіяніе; посмотришь ближе: это сіяніе — мечта, воздушная діадима изъ словъ и звуковъ, возбужденныхъ ею и на нее же отражающихся.

Вотъ почему я съ такимъ наслажденіемъ говорю о нашихъ писательницахъ, и вотъ почему я не могу объяснить себѣ, отъ чего до сихъ поръ онѣ такъ мало оцѣнены въ нашей литературѣ. Больно видѣть, какъ мудрено обходятся съ ними наши записные критики, которые либо совсѣмъ молчатъ объ нихъ, либо говорятъ такъ, что лучше бы молчали. Какой-то

дамѣ удалось однажды написать: *Два червячка*,—и вотъ нашлись люди, которые удивляются: какъ дама, такое нѣжное, слабое созданіе, могла написать *два червячка*! — Другая дама начала переводить какіе-то извѣстные стихи такъ, какъ переводятъ мышей,—и вотъ журналы наши наполнились ей похвалами, восторгами, рукоплесканіями, тогда какъ истинный поэтическій талантъ, какова, напримѣръ, г-жа Лисицына, остается почти неузнаннымъ. Одинъ, кажется, Телеграфъ говорилъ о ней, и то уже давно; между тѣмъ какъ въ стихахъ ея столько души, столько поэзіи, столько драгоцѣнной, сердечной правды, сколько врядъ ли найдется у большей части нашихъ журнальныхъ поэтовъ, вмѣстѣ взятыхъ. Какія высокія минуты восторга должна была испытать она, какія мучительныя, свѣтлыя, невыносимыя минуты вдохновенія она должна была вынести, чтобы вырвать изъ сердца своего такіе глубокіе, такіе пронзительные звуки! Признаюсь вамъ: большая часть столько хваленыхъ Французскихъ дамъ-стихотворцевъ не производитъ на меня и половины того дѣйствія, какое стихи г-жи Лисицыной, которые, конечно, имѣютъ право на почетное мѣсто не въ одной дамской литературѣ. —

На дняхъ пришли сюда, только что отпечатанные въ Германіи, переводы съ Русскаго, подъ названіемъ: *Сѣверное Сіяніе*, das Nordlicht, переводы, сдѣланные одною знакомою вамъ дѣвушкою, одаренною самыми разнообразными и самыми необыкновенными талантами. Сколько я могу судить, то переводы эти превосходятъ всѣ извѣстные до сихъ поръ съ Русскаго на какіе бы то ни было языки, не исключая ни Боуринга, столько превознесеннаго, ни фонъ-деръ-Борга, оцѣненнаго такъ мало: Впрочемъ я не знаю, что могъ бы я сказать о талантѣ молодой переводчицы лучше и больше того, что сказалъ ей Языковъ, котораго нѣкоторые стихи, переведенные ею, находятся также въ этомъ собраніи:

Вы силою волшебной думъ своихъ
Прекрасную торжественность мнѣ дали,
Вы на златыхъ струнахъ переиграли
Простые звуки струнъ моихъ.

И снова мнѣ, и ярче возсіяла
Минувшихъ дней счастливая звѣзда,
И жаждою священною труда
Живѣе грудь затрепетала.

Я чувствую: завиденъ жребій мой!
Есть и во мнѣ благословенье Бога,
И праведна житейская дорога,
Безпечно выбранная мной.

Не кланяюсь пустому блеску міра,
Не слушаю слѣпой его молвы:
Я выше ихъ.... Да здравствуете-жъ вы
И ваша творческая лира!

Такъ говорилъ Языковъ; а я, признаюсь вамъ, смотрю на эти переводы съ предубѣжденіемъ: мнѣ досадно видѣть, что Русская дѣвушка такъ хорошо владѣетъ стихомъ Нѣмецкимъ; еще досаднѣе знать, что она также хорошо, и можетъ быть еще лучше, владѣетъ стихомъ Французскимъ, и только на своемъ отечественномъ языкѣ не хочетъ испытать своихъ силъ!— Въ концѣ книги приложено нѣсколько оригинальныхъ піэсъ, исполненныхъ поэзіи и замѣчательныхъ особенно тѣмъ, что всего рѣже встрѣчается въ нашихъ дѣвушкахъ: оригинальностью и силою фантазіи. Читая ихъ, понимаешь, почему поэтъ говорилъ сочинительницѣ:

И два вѣнка, одинъ другаго краше,
На головѣ свилися молодой:
Зеленый лавръ поэзіи чужой,
И брилліанты Музы вашей!...

Менцель уже объявилъ въ литературныхъ листахъ о выходѣ *Сѣвернаго Сіянія*, и я жду его разбора съ нетерпѣніемъ: любопытно видѣть, что самый остроумный изъ Нѣмецкихъ критиковъ скажетъ о нашей литературѣ, которая теперь въ первый разъ явилась ему въ настоящемъ видѣ.—

Перечитывая письмо мое, я нахожу, что оно слишкомъ длинно, и не смотря на то, слишкомъ неполно. Но въ этомъ

виноватъ не я. Говоря о писательницахъ нашихъ, первая мысль моя была о той, которой труды—добро; которая въ сочиненіяхъ своихъ ищетъ не блеска, но пользы, дѣйствуя для цѣли прекрасной, возвышенной, такъ, какъ другіе не умѣютъ дѣйствовать для корыстныхъ наслажденій самолюбія. Но эта писательница.... говоря съ вами, я не смѣлъ упоминать объ ней.

10 Декабря 1833 г.
Москва.

О СТИХОТВОРЕНІЯХЪ Г. ЯЗЫКОВА.

Тому два года, Французскій журналъ Преній торжественно объявилъ Европѣ, что въ Россіи скончался одинъ изъ первоклассныхъ ея поэтовъ, г. Державинъ. Въ концѣ прошедшаго года издано во Франціи Собраніе Русскихъ повѣстей, выбранныхъ изъ Булгарина, Карамзина и другихъ (Le Conteur Russe, par Bulgarine, Karamsin et autres...)

Скажите, что страннѣе: говорить о Русской литературѣ, не зная Державина, или ставить вмѣстѣ имена Булгарина, Карамзина и другихъ? Который изъ двухъ примѣровъ доказываетъ бо́льшее незнаніе нашей словесности?

Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, надобно имѣть особенно тонкую проницательность, которою я не смѣю гордиться, и потому предоставляю это дѣло моимъ читателямъ. Но во всякомъ случаѣ кажется мнѣ несомнѣннымъ одно, что Русская литература извѣстна во Франціи почти столько-жъ, сколько Персидская или Татарская.

И мысль, что ни одна тѣнь нашей мысли, ни одинъ звукъ нашего голоса, не дойдутъ до народовъ образованныхъ, — это тяжелая мысль; и кромѣ грусти, она должна имѣть еще другое вредное вліяніе на нашихъ писателей. Литераторъ нашъ невольно стѣсняетъ кругъ своей умственной дѣятельности, думая о своихъ читателяхъ, между тѣмъ какъ писатель Французскій, при мысли о печатаніи, расширяетъ свои понятія; ибо при каждомъ счастливомъ движеніи ума, при каждомъ чувствѣ поэтически-самобытномъ, при каждомъ словѣ удачно сказанномъ, является ему надежда, вдохновительная надежда на сочувствіе со всѣмъ, что въ мірѣ есть просвѣщеннаго и славнаго.

Вотъ почему каждое покушеніе познакомить образованныхъ иностранцевъ съ нашею словесностью должно встрѣчать въ насъ отзывъ благодарности и возможно вѣрную оцѣнку.

Но между всѣми переводчиками съ Русскаго языка три особенно замѣчательны удачею своихъ переводовъ. Бауринг, который одинъ изъ трехъ былъ оцѣненъ и, можетъ быть, даже перецѣненъ иностранными и Русскими критиками; Карлъ фонъ-деръ-Боргъ, котораго переводы имѣютъ безъ сравненія большее достоинство, но который не смотря на то извѣстенъ весьма не многимъ и еще ни въ одномъ журналѣ не нашелъ себѣ справедливаго суда; и, наконецъ, Каролина фонъ-Янишъ, которой замѣчательная книга явилась на послѣдней Лейпцигской ярмаркѣ и обнаруживаетъ, кажется, талантъ еще превосходнѣйшій (*).

Но, какъ ни утѣшительно это начало дружескаго сближенія нашей словесности съ литературою Нѣмецкою, признаюсь, однако, что мнѣ было больше досадно, чѣмъ пріятно видѣть, какъ одного изъ первоклассныхъ поэтовъ нашихъ лучше всѣхъ Русскихъ понялъ и оцѣнилъ — писатель Нѣмецкій!

Г. ф.-д.-Боргъ, въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ Дерптскихъ лѣтописей (**) въ нѣсколькихъ строчкахъ сказалъ больше справедливаго о сочиненіяхъ Языкова, нежели сколько было сказано о нихъ во всѣхъ нашихъ періодическихъ и непериодическихъ изданіяхъ. Впрочемъ и то правда, что до сихъ поръ у насъ еще не говорили объ Языковѣ, а только вскрикивали. Одинъ Телеграфъ высказалъ свое мнѣніе, и тотъ, судя о Языковѣ, не былъ, кажется, свободенъ отъ такихъ предубѣжденій, съ которыми истина не всегда уживается.

При началѣ статьи своей г. ф.-д.-Боргъ жалуется на тяжелое чувство, которое возбуждаютъ въ немъ новѣйшія поэтическія произведенія Европы, и при этомъ случаѣ говоритъ о томъ утѣшеніи, которое доставляетъ ему созерцаніе литературы свѣжей, юношеской, которая еще не достигла времени своего полнаго процвѣтанія, но уже даетъ его предчувствовать.

Кто не раздѣлитъ съ г. Боргомъ того ощущенія, которое возбуждаетъ въ немъ современная поэзія Европы? Но что

(*) Das Nordlicht, Proben der neueren russischen Literatur, von Caroline von Jaenisch.

(**) Dorpater Jahrbücher für Literatur, Statistik und Kunst, besonders Russland's, herausgegeben von Profess. Dr. Blum, Dr. Bunge, Dr. Goedel, Dr. Neue, Dr. Struve, v. d. Borg, Dr. Fridlaender, Dr. Kruse, Dr. Rathke, Dr. Walter.

касается до особеннаго утѣшенія, которое доставляетъ ему литература Русская, то въ этомъ случаѣ — почему намъ не повѣрить г. Боргу на слово? Можетъ быть, со стороны такъ и должно казаться.

«Это утѣшительное чувство,—продолжаетъ г. Боргъ,—похоже «на то, которое возбуждаетъ въ насъ весна, когда надежда «еще рисуетъ намъ будущее въ лучшемъ свѣтѣ, — между тѣмъ «какъ самые прекрасные дни осени внушаютъ невольную «грусть... Когда же поэтъ, принадлежащій юношеской литера«турѣ, самъ еще находится въ порѣ юности и надежды, тогда «изъ созданій его навѣваетъ намъ двойною весною, такъ что «ея дѣйствіе на душу становится уже неотразимымъ.

«Такое дыханіе весны встрѣтилъ я въ сочиненіяхъ Языкова, «которыя для Дерптскихъ Лѣтописей имѣютъ еще тотъ особен«ный интересъ, что молодой поэтъ нѣсколько лѣтъ принадле«жалъ Дерптскому университету и ему обязанъ своимъ выс«шимъ образованіемъ. Къ тому же и стихотворенія его напи«саны большею частію во время его жизни въ Дерптѣ, или «наполнены воспоминаньями объ этой жизни. Они принадле«жатъ почти исключительно лирическому роду и большею ча«стію сложены въ тонѣ элегическомъ... Впрочемъ и застоль«ныя и эротическія пѣсни не исключены изъ собранія и мно«гія изъ нихъ особенно счастливы. Отечество, любовь, дружба «и братское житье веселыхъ юношей-товарищей — вотъ лю«бимые предметы поэта. Вообще стихи его плѣняютъ какою«то свѣжестью и простодушіемъ, и врядъ ли есть одно стихо«твореніе, которое бы можно было назвать неудавшимся. Но «особенная прелесть заключена въ его языкѣ, отличающемся «силою, новостью и часто дерзостью выраженій, между тѣмъ «какъ стихъ его исполненъ самой рѣдкой благозвучности. Если «же мы прибавимъ къ сказанному еще то, что въ этихъ гар«моническихъ стихахъ выражается чувство всегда благородное, «душа вся проникнутая любовью къ прекрасному и великому, «то конечно возбудимъ любопытство всѣхъ, принимающихъ «участіе въ успѣхахъ Русской словесности.» (*).

(*) Въ подтвержденіе своихъ словъ г. ф.-д.-Боргъ приводитъ нѣсколько стихотвореній Языкова вмѣстѣ съ своимъ переводомъ. Переписываемъ одно изъ

Таково мнѣніе г. Борга. Оно показалось намъ особенно замѣчательнымъ въ томъ отношеніи, что изо всѣхъ рецензентовъ Языкова до сихъ поръ, одинъ онъ постигнулъ поэтическую и нравственную сторону тѣхъ изъ стихотвореній поэта, которыя у насъ навлекли ему столько странныхъ упрековъ.

Слыша безпрестанные упреки Языкову, я всегда вспоминаю одного Русскаго барина, который ѣздилъ отдавать своего сына въ какой-то Нѣмецкій университетъ; но встрѣтивъ на улицѣ студента безъ галстука и съ длинными волосами, тотчасъ же понялъ изъ этого всю безнравственность Нѣмецкихъ университетовъ, и возвратился домой воспитывать своего сына въ Саратовѣ.

Вообще многіе изъ насъ еще сохранили несчастную старообрядческую привычку: судить о нравственности болѣе по наружному благочинію, чѣмъ по внутреннему достоинству поступка и мысли. Мы часто считаемъ людьми нравственными тѣхъ, которые не нарушаютъ приличій, хотя бы впрочемъ жизнь ихъ была самая ничтожная, хотя бы душа ихъ была лишена всякаго стремленія къ добру и красотѣ. Если вамъ случалось встрѣчать человѣка, согрѣтаго чувствами возвышенными, но одареннаго при томъ сильными страстями, то вспомните и сочтите: сколько нашлось людей, которые поняли въ немъ красоту души, и сколько такихъ, которые замѣтили одни заблужденія! Странно, но правда, что для хорошей репутаціи у насъ лучше со всѣмъ не дѣйствовать, чѣмъ иногда ошибаться, между тѣмъ какъ, въ самомъ дѣлѣ, скажите: есть ли на свѣтѣ что-нибудь безнравственнѣе равнодушія?

Конечно, я повторяю здѣсь мысли старыя, всѣмъ извѣстныя; но почему не повторять иногда старой истины? Есть мысли, которыя всякій знаетъ, но только въ теоріи; чтобы понимать ихъ въ ежедневномъ примѣненіи, для этого, кромѣ просвѣще-

нихъ, *) чтобы тѣ изъ нашихъ читателей, которые не знаютъ переводовъ г. Борга, могли судить о его талантѣ въ самомъ трудномъ испытаніи, которое когда-либо предстояло переводчику; ибо изо всѣхъ новѣйшихъ поэтовъ Языковъ можетъ быть самый непереводимый.

*) Это стихотвореніе Языкова: *Чужбина*, Die Fremde, которое здѣсь опущено. *Изд.*

нія умственнаго, нужна еще просвѣщенная жизнь, устроенная посреди просвѣщеннаго общества, гдѣ мысли изъ отвлеченнаго умозаключенія обратились въ непримѣтную привычку: до тѣхъ поръ истина еще не пошлость.

Вотъ почему Нѣмецкій ученый, отличающійся самою щекотливою чопорностью, скорѣе пойметъ нравственность стиховъ Языкова, чѣмъ многіе изъ самыхъ снисходительныхъ его Русскихъ читателей.

А между тѣмъ, если мы безпристрастно вникнемъ въ его поэзію, то не только найдемъ ее не безнравственною, но врядъ ли даже насчитаемъ у насъ многихъ поэтовъ, которые могли бы похвалиться большею чистотою и возвышенностью. Правда, онъ воспѣваетъ вино и безъименныхъ красавицъ; но упрекать ли его за то, что тѣ предметы, которые дѣйствуютъ на другихъ нестройно, внушаютъ ему гимны поэтическіе? — Правда, пьянство есть вещь унизительная и гадкая; но если найдется человѣкъ, на котораго вино дѣйствуетъ иначе, то вмѣсто безнравственности, не будетъ ли это напротивъ доказательствомъ особенной чистоты и гармоніи его души? — Положимъ, что на васъ производятъ дѣйствіе чистое и поэтическое только весна, цвѣты и музыка, а все другое, что возбуждаетъ ваши нервы, внушаетъ вамъ мысли нечистыя, — въ этомъ случаѣ вы хорошо дѣлаете, воздерживаясь отъ всего возбудительнаго. Однако это не должно мѣшать вамъ быть справедливыми къ другимъ. И виноватъ ли Языковъ, что тѣ предметы, которые на душѣ другихъ оставляютъ слѣды грязи, на его душѣ оставляютъ перлы поэзіи, перлы драгоцѣнные, огнистые, круглые?

Изберите самыя предосудительныя, по вашему мнѣнію, изъ напечатанныхъ стихотвореній Языкова (ибо о ненапечатанныхъ, какъ о непризнанныхъ, мы не имѣемъ права судить), и скажите откровенно: производятъ ли они на васъ вліяніе нечистое?

Когда Анакреонъ воспѣваетъ вино и красавицъ, я вижу въ немъ веселаго сластолюбца; когда Державинъ славитъ сладострастіе, я вижу въ немъ минуту нравственной слабости; но, признаюсь, въ Языковѣ я не вижу ни слабости, ни собственно сластолюбія; ибо гдѣ у другихъ минута безсилія, тамъ у

него избытокъ силъ; гдѣ у другихъ простое влеченіе, тамъ у Языкова восторгъ, а гдѣ истинный восторгъ, и музыка, и вдохновеніе — тамъ пусть другіе ищутъ низкаго и грязнаго; для меня восторгъ и грязь кажутся такимъ же противорѣчіемъ, какимъ огонь и холодъ, красота и безобразіе, поэзія и вялый эгоизмъ.

Впрочемъ судить такимъ образомъ о сочиненіяхъ Языкова могли бы мы только въ такомъ случаѣ, когда бы изо всѣхъ стихотвореній его мы знали одни застольныя и эротическія. Но если, при всемъ сказанномъ, мы сообразимъ еще то, что, можетъ быть, нѣтъ поэта, глубже и сильнѣе проникнутаго любовью къ отечеству, къ славѣ и поэзіи; что, можетъ быть, нѣтъ художника, который бы ощущалъ болѣе святое благоговѣніе передъ красотою и вдохновеніемъ, то тогда всѣ упреки въ безнравственности покажутся намъ странными до комическаго, и намъ даже трудно будетъ отвѣчать на нихъ, ибо мудрено будетъ понять ихъ возможность.

Но довольно. Уже слишкомъ много останавливались мы на предметѣ и безъ того слишкомъ ясномъ. Есть предубѣжденія, которыя не признаютъ и очевидности; есть близорукость, которой не поможетъ никакой телескопъ. Мы пишемъ для людей зрячихъ и безпристрастныхъ.

Стихотворенія Языкова внушаютъ намъ другой вопросъ, болѣе дѣльный и болѣе любопытный, и въ этомъ случаѣ особенно желалъ бы я найти сочувствіе моихъ читателей.

Благословенны тѣ мгновенья,
Когда въ виду грядущихъ лѣтъ,
Предъ ѳиміамомъ вдохновенья
Священнодѣйствуетъ поэтъ.

Дѣло критики, при разборѣ стихотворцевъ, заключается обыкновенно въ томъ, чтобы опредѣлить степень и особенность ихъ таланта, оцѣнить ихъ вкусъ и направленіе, и показать, сколько можно, красоты и недостатки ихъ произведеній. — Дѣло трудное, иногда любопытное, часто безполезное, и почти всегда неудовлетворительное, хотя и основано на законахъ положительныхъ.

Но когда является поэтъ оригинальный, открывающій новую область въ мірѣ прекраснаго и прибавляющій такимъ образомъ новый элементъ къ поэтической жизни своего народа, — тогда обязанность критики измѣняется. Вопросъ о достоинствѣ художественномъ становится уже вопросомъ второстепеннымъ; даже вопросъ о талантѣ является неглавнымъ; но мысль, одушевлявшая поэта, получаетъ интересъ самобытный, философическій; и лицо его становится идеею, и его созданія становятся прозрачными, такъ что мы не столько смотримъ *на нихъ*, сколько *сквозь нихъ*, какъ сквозь открытое окно; стараемся разсмотрѣть самую внутренность новаго храма и въ немъ божество, его освящающее.

Отъ того, входя въ мастерскую живописца обыкновеннаго, мы можемъ удивляться его искусству; но предъ картиною художника творческаго забываемъ искусство, стараясь понять мысль, въ ней выраженную, постигнуть чувство, зародившее эту мысль, и прожить въ воображеніи то состояніе души, при которомъ она исполнена. Впрочемъ и это послѣднее сочувствіе съ художникомъ свойственно однимъ художникамъ же; но вообще люди сочувствуютъ съ нимъ только въ томъ, что въ немъ чисто человѣческаго: съ его любовію, съ его тоской, съ его восторгами, съ его мечтою - утѣшительницею, однимъ словомъ, съ тѣмъ, что происходитъ внутри его сердца, не заботясь о событіяхъ его мастерской.

Такимъ образомъ на нѣкоторой степени совершенства искусство само себя уничтожаетъ, обращаясь въ мысль, превращаясь въ душу.

Но эта душа изящныхъ созданій, — душа нѣжная, музыкальная, которая трепещетъ въ звукахъ и дышетъ въ краскахъ,— неуловима для разума. Понять ее можетъ только другая душа, ею проникнутая. Вотъ почему критика произведеній образцовыхъ должна быть не столько судомъ, сколько простымъ свидѣтельствомъ; ибо зависитъ отъ личности, и потому можетъ быть произвольною, и основана на сочувствіи, и потому должна быть пристрастною.

Что же дѣлать критикамъ систематическимъ, которые хотятъ доказывать красоту и заставляютъ васъ наслаждаться по

правиламъ, указывая на то, что̀ хорошо, и на то, что̀ дурно? — Имъ въ утѣшеніе остаются произведенія обыкновенныя, для которыхъ есть законы положительные, ясные, не подлежащіе произвольному толкованію, — и надобно признаться, что это утѣшеніе огромное; ибо въ литературѣ каждаго народа встрѣчаете вы немногихъ поэтовъ-двигателей, тогда какъ всѣ другіе только слѣдуютъ данному ими направленію, подлежа критикѣ однимъ искусствомъ исполненія, но не душею созданія.

Нѣсколько свѣтильниковъ, окруженныхъ тысячью разбитыхъ зеркальныхъ кусковъ, гдѣ тысячу разъ повторяется одно и тоже, — вотъ образъ литературы самыхъ просвѣщенныхъ народовъ. Сколько же пріятныхъ занятій для того, кто захочетъ исчислять всѣ углы отраженій свѣта на этихъ зеркальныхъ обломкахъ!

Но если вообще то, что̀ мы называемъ *душею искусства*, не можетъ быть доказано посредствомъ математическихъ доводовъ, но должно быть прямо понято сердцемъ, либо просто принято на вѣру, — то еще менѣе можно требовать доказательствъ строго-математическихъ тамъ, гдѣ дѣло идетъ о поэтѣ молодомъ, котораго произведенія хотя и носятъ на себѣ признаки поэзіи оригинальной, но далеко еще не представляютъ ея полнаго развитія.

Вотъ почему, стараясь разрѣшить вопросъ о томъ: что̀ составляетъ характеръ поэзіи Языкова, мнѣ особенно необходимо сочувствіе моихъ читателей; ибо оно одно можетъ служить оправданіемъ для мыслей, основанныхъ единственно на внушеніяхъ сердца, и частію даже на его догадкахъ.

Мнѣ кажется, — и я повторяю, что мое мнѣніе происходитъ изъ одного индивидуальнаго впечатлѣнія, — мнѣ кажется, что средоточіемъ поэзіи Языкова служитъ то чувство, которое я не умѣю опредѣлить иначе, какъ назвавъ его *стремленіемъ къ душевному простору*. Это стремленіе замѣтно почти во всѣхъ мечтахъ поэта, отражается почти на всѣхъ его чувствахъ, и можетъ быть даже, что изъ него могутъ быть выведены всѣ особенности и пристрастія его поэтическихъ вдохновеній.

Если мы вникнемъ въ то впечатлѣніе, которое производитъ

на насъ его поэзія, то увидимъ, что она дѣйствуетъ на душу какъ вино, имъ воспѣваемое, какъ какое-то волшебное вино, отъ котораго жизнь двоится въ глазахъ нашихъ: одна жизнь является намъ тѣсною, мелкою, вседневною; другая—праздничною, поэтическою, просторною. Первая угнетаетъ душу; вторая освобождаетъ ее, возвышаетъ и наполняетъ восторгомъ. И между сими двумя существованіями лежитъ явная, бездонная пропасть; но черезъ эту пропасть судьба бросила нѣсколько живыхъ мостовъ, по которымъ душа переходитъ изъ одной жизни въ другую: это любовь, это слава, дружба, вино, мысль объ отечествѣ, мысль о поэзіи и, наконецъ, тѣ минуты безотчетнаго, разгульнаго веселья, когда собственные звуки сердца заглушаютъ ему голосъ окружающаго міра, — звуки, которыми сердце обязано собственной молодости болѣе, чѣмъ случайному предмету, ихъ возбудившему.

Но не одна жизнь, и сама поэзія съ этой точки зрѣнія является намъ вдвойнѣ: сначала какъ пророчество, какъ сердечная догадка, потомъ какъ исторія, какъ сердечное воспоминаніе о лучшихъ минутахъ души. Въ первомъ случаѣ, она увлекаетъ въ міръ неземной; во второмъ,—она изъ дѣйствительной жизни извлекаетъ тѣ мгновенія, когда два міра прикасались другъ друга, и передаетъ сіи мгновенія какъ вѣрное, чистое зеркало. Но и та и другая имѣютъ одно начало, одинъ источникъ,—и вотъ почему намъ не странно въ сочиненіяхъ Языкова встрѣтить веселую застольную пѣснь подлѣ святой молитвы, и отблескъ разгульной жизни студента подлѣ высокаго псалма. Напротивъ, при самыхъ разнородныхъ предметахъ лира Языкова всегда остается вѣрною своему главному тону, такъ что всѣ стихи его, вмѣстѣ взятые, кажутся искрами одного огня, блестящими отрывками одной поэмы, недосказанной, разорванной, но которой цѣлость и стройность понятны изъ частей. Такъ иногда въ немногихъ поступкахъ человѣка съ характеромъ открывается намъ вся исторія его жизни.

Но именно потому, что господствующій идеалъ Языкова есть праздникъ сердца, просторъ души и жизни, потому господствующее чувство его поэзіи есть какой-то электрическій

восторгъ; и господствующій тонъ его стиховъ—какая-то звучная торжественность.

Эта звучная торжественность, соединенная съ мужественною силою, эта роскошь, этотъ блескъ и раздолье, эта кипучесть и звонкость, эта пышность и великолѣпіе языка, украшенныя, проникнутыя изяществомъ вкуса и граціи — вотъ отличительная прелесть и вмѣстѣ особенное клеймо стиха Языкова. Даже тамъ, гдѣ всего менѣе выражается господствующій духъ его поэзіи, нельзя не узнать его стиховъ по особенной гармоніи и яркости звуковъ, принадлежащихъ его лирѣ исключительно.

Но эта особенность, такъ рѣзко отличающая его стихъ отъ другихъ Русскихъ стиховъ, становится еще замѣтнѣе, когда мы сличаемъ его съ поэтами иностранными. И въ этомъ случаѣ особенно счастливъ Языковъ тѣмъ, что главное отличіе его слова есть вмѣстѣ и главное отличіе Русскаго языка. Ибо, если языкъ Итальянскій можетъ спорить съ нашимъ въ гармоніи вообще, то, конечно, уступитъ ему въ мужественной звучности, въ великолѣпіи и торжественности, — и слѣдовательно поэтъ, котораго стихъ превосходитъ всѣ Русскіе стихи, именно тѣмъ, чѣмъ языкъ Русскій превосходитъ другіе языки, — становится въ этомъ отношеніи поэтомъ-образцомъ не для одной Россіи.

Но сія наружная особенность стиховъ Языкова потому только и могла развиться до такой степени совершенства, что она, какъ мы уже замѣтили, служитъ необходимымъ выраженіемъ внутренней особенности его поэзіи. Это не просто тѣло, въ которое вдохнули душу, но душа, которая приняла очевидность тѣла.

Любопытно наблюдать, читая Языкова, какъ господствующее направленіе его поэзіи оставляетъ слѣды свои на каждомъ чувствѣ поэта, и какъ всѣ предметы, его окружающіе, отзываются ему тѣмъ же отголоскомъ. Я не представляю примѣровъ потому, что для этого надобно бы было переписать все собраніе его стихотвореній; напомню только выраженіе того чувства, которое всего чаще воспѣвается поэтами, и потому всего яснѣе можетъ показать ихъ особенность:

А вы, пѣвца внимательные други,
Товарищи, — какъ думаете вы?
Для васъ я пѣлъ Нѣмецкіе досуги,
Спѣсивый хмѣль ученой головы,
И праздникъ тотъ, шумящій ежегодно,
Тамъ у пруда, на бархатѣ луговъ,
Гдѣ обогнулъ заливъ голубоводный
Зеленый скатъ лѣсистыхъ береговъ? —
Луна взошла, древа благоухали,
Зефиръ весны струилъ ночную тѣнь,
Костеръ пылалъ — мы долго пировали
И, бурные, привѣтствовали день!
Товарищи! не правда ли? на пирѣ
Не розникъ вамъ лирическій поэтъ?
А этотъ пиръ не на обумъ воспѣтъ,
И вы моей порадовались лирѣ! . . .
Нѣтъ, не для васъ! — Она меня хвалила,
Ей нравились разгульный мой вѣпокъ,
И младости заносчивая сила,
И пламенныхъ восторговъ кипятокъ.
Когда она игривыми мечтами,
Радушная, преслѣдовала ихъ;
Когда она, веселыми устами,
Мой счастливый произносила стихъ —
Торжественна, полна очарованья,
Свѣжа, и гдѣ была душа моя!
О, прочь мои грядущія созданья,
О, горе мнѣ, когда забуду я
Огонь ея привѣтливаго взора,
И на челѣ избытокъ стройныхъ думъ,
И сладкій звукъ рѣчей, и свѣтлый умъ
Въ лющемся кристаллѣ разговора.

Ее ужъ нѣтъ! Все было въ ней прекрасно!
И тайна въ ней великая жила,
Что юношу стремило самовластно
На видный путь и чистыя дѣла;
Онъ чувствовалъ: возвышенныя блага
Есть на землѣ! — Есть цѣлый міръ труда
И въ немъ — надеждъ и помысловъ отвага,
И бытіе привольное всегда!

Блаженъ, кого любовь ея ласкала,
Кто пѣлъ ее подъ небомъ лучшихъ лѣтъ . . . .
Она всего поэта понимала —
И гордъ, и тихъ, и трепетенъ поэтъ
Ей приносилъ свое боготворенье;
И радостно, во имя божества,
Сбирались въ хоръ созвучныя слова!
Какъ eниміамъ, горѣло вдохновенье!

Не знаю, успѣлъ ли я выразить ясно мои мысли, говоря о господствующемъ направленіи Языкова; но если я былъ столько счастливъ, что читатели мои раздѣлили мое мнѣніе, то мнѣ не нужно продолжать болѣе. Опредѣливъ характеръ поэзіи, мы опредѣлили все; ибо въ немъ заключаются и ея особенныя красоты, и ея особенные недостатки. Но пусть, кто хочетъ, пріискиваетъ для нихъ соотвѣтственные разряды и названія, — я умѣю только наслаждаться и, признаюсь, слишкомъ лѣнивъ для того, чтобы играть словами безъ цѣли, и столько ожидаю отъ Языкова въ будущемъ, что не могу въ настоящихъ недостаткахъ его видѣть что-либо существенное.

Теперь, судя по нѣкоторымъ стихотвореніямъ его собранія, кажется, что для поэзіи его уже занялась заря новой эпохи. Вѣроятно, поэтъ, проникнувъ глубже въ жизнь и дѣйствительность, разовьетъ идеалъ свой до большей существенности. По крайней мѣрѣ, надежда принадлежитъ къ числу тѣхъ чувствъ, которыя всего сильнѣе возбуждаются его стихотвореніями, — и если бы поэзіи его суждено было остаться навсегда въ томъ кругу мечтательности, въ какомъ она заключалась до сихъ поръ, то мы бы упрекнули въ этомъ судьбу, которая, даровавъ намъ поэта, послала его въ міръ слишкомъ рано или слишкомъ поздно для полнаго могучаго дѣйствованія; ибо въ наше время всѣ важнѣйшіе вопросы бытія и успѣха таятся въ опытахъ дѣйствительности и въ сочувствіи съ жизнію обще-человѣческою; а потому поэзія, не проникнутая существенностью, не можетъ имѣть вліянія довольно обширнаго на людей, ни довольно глубокаго на человѣка.

Впрочемъ, если мы желаемъ бо́льшаго развитія для поэзіи Языкова, то это никакъ не значитъ, чтобы мы желали ей

измѣниться; напротивъ, мы повторяемъ за нимъ, —и въ этомъ присоединятся къ намъ всѣ, кто понимаютъ поэта и сочувствуютъ ему, — мы повторяемъ отъ сердца за него его молитву къ Провидѣнію:

Пусть неизмѣненъ, жизни новой
Придетъ къ таинственнымъ вратамъ,
Какъ Волги валъ бѣлоголовый
Доходитъ цѣлый къ берегамъ!

—

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ РОМАНА: ДВѢ ЖИЗНИ.

ГЛАВА I.

Изящнымъ называютъ прекрасное, прекрасно выраженное. И если это справедливо, то искусство хорошо одѣваться должно принадлежать къ числу изящныхъ искусствъ, по крайней мѣрѣ столько же, сколько танцованье.

Вотъ почему на женщину, одѣтую со вкусомъ, я смотрю съ удовольствіемъ эстетическимъ, какъ на артиста, котораго мы съ наслажденіемъ разгадываемъ въ его созданіяхъ. И одѣваться хорошо не такъ легко, какъ думаютъ обыкновенно. Для этого нужно много, много условій, и я думаю даже, что это также трудно, какъ быть великимъ музыкантомъ, или великимъ живописцемъ, и, можетъ быть, даже великимъ человѣкомъ. Правда, на свѣтѣ чаще встрѣчаются женщины хорошо одѣтыя, чѣмъ Наполеоны и Байроны; но это потому только, что природа сама женщина и отъ того въ дарахъ своихъ щедрѣе къ своему прекрасному полу, чѣмъ къ нашему. А въ доказательство, что я говорю безъ преувеличенія, постараемся исчислить всѣ тѣ качества, которыя необходимо имѣть женщинѣ, чтобъ одѣваться хорошо, въ истинномъ смыслѣ этого слова.

Для этого нужно:

1. Красота, по крайней мѣрѣ нѣкоторая степень красоты; — безъ того не можетъ быть и рѣчи объ изящномъ.

2. Вкусъ, то есть, качество, котораго нельзя ни купить, ни выучить, которое дается немногимъ, и которое даже тогда, когда дано природою, еще имѣетъ нужду въ счастливомъ и правильномъ развитіи. Слѣдовательно:

3. Воспитаніе и образованность. Здѣсь, вѣроятно, многіе будутъ со мною противнаго мнѣнія. — «Кому не случалось,—скажутъ они,—встрѣчать женщину прекрасно одѣтую, безъ образованности и воспитанія?» Но разсуждать объ одеждѣ такимъ образомъ, значитъ не понимать ея глубокаго значенія. Конечно,

женщина необразованная можетъ быть одѣта по модѣ и даже къ лицу; но развѣ это все? — Красота одежды заключается не въ модѣ и даже не въ красивости, она не въ шелкахъ и не въ блондахъ, не въ страусахъ и не въ бриллiантахъ. Одежда, какъ слово, кромѣ наружной гармонiи, имѣетъ еще свой внутренній смыслъ, понятный для понимающаго. Этотъ смыслъ долженъ быть въ ладу не только съ лицомъ и модою, но съ цѣлымъ существомъ женщины. Та, которой одежда не имѣетъ смысла, одѣта дурно. Женщина, которой манеры противорѣчатъ ожиданiямъ, возбужденнымъ ея одеждою, одѣта дурно. Женщина, которой наружность несогласна съ оборотомъ ея ума и съ характеромъ ея любезности, одѣта дурно. Однимъ словомъ, все то, что̀ нарушаетъ внутреннюю и внѣшнюю гармонiю, все то дурно, все то неприлично или не къ лицу, все безсмысленно и не изящно. Потому для прекрасной, гармонической одежды необходима еще

4. Грацiя манеровъ. Но это качество, безъ котораго нѣтъ ни платья хорошо сшитаго, ни платья хорошо надѣтаго, эта грацiя манеровъ, которая разливаетъ такую обворожительную атмосферу вокругъ женщины, дѣйствуетъ какъ обманъ, только на первую минуту, если не соединена съ другою, съ душевною граціею. И потому, чтобы нарядъ женщины былъ прекрасенъ больше одной первой минуты, должна она имѣть еще

5. Внутреннюю грацію, грацію ума и душевныхъ движенiй, которая предполагаетъ внутреннюю жизнь стройную, гармоническую, прекрасную, т. е.,

6. Поэзію сердца.

Но для того, чтобы чувствовать красоту и постигать ее во всей глубинѣ и во всѣхъ утонченностяхъ, кромѣ поэзiи сердца, надобно имѣть еще

7. Познанiе человѣческаго сердца, которое (замѣтимъ между прочимъ) есть основанiе всей житейской мудрости и котораго нельзя имѣть безъ

8. Познанiя самихъ себя, которое есть, ни больше ни меньше, какъ основанiе всякой мудрости и всякой добродѣтели.

Но всего этого еще мало для того, чтобы хорошо одѣваться. — Чтобы красивый нарядъ женщины былъ вмѣстѣ и пре-

краснымъ выраженіемъ ея внутренней красоты, мало имѣть красоту, понимать красоту и любить красоту; кромѣ красоты она должна имѣть еще

9. Постоянную возвышенность ума и характера. Ибо безъ того нѣтъ силы человѣческой, которая бы могла отвлечь женщину отъ суетности; а гдѣ суетность, тамъ желаніе нравиться сильнѣе необходимости внутренней гармоніи; тамъ желанье нравиться на счетъ истины; тамъ можетъ быть блескъ, можетъ быть даже минутное очарованіе, но не можетъ быть прелести глубокой, поэтической жизни, гармонически выражающейся въ прекрасной наружности. Безъ особенной, врожденной и тщательно воспитанной возвышенности ума и характера, всякая женщина будетъ больше или меньше тщеславною, и предпочтетъ одобреніе многихъ немногимъ, и количество поклонниковъ будетъ ей дороже ихъ качества. Она захочетъ блестѣть предъ всякимъ, кружить головы слабыя, и одѣнется прекрасно для людей обыкновенныхъ, но безсмысленно для мыслящаго. Толпа будетъ отъ нея безъ ума, т. е., въ натуральномъ своемъ положеніи; человѣкъ мыслящій пройдетъ мимо ея равнодушно: человѣкъ съ душей не замѣтитъ ее.

Такимъ образомъ одежда имѣетъ свою физіономію, предполагаетъ своихъ Лафатеровъ и, такъ же какъ лицо, можетъ служить зеркаломъ души. Но для того, чтобы одежда служила зеркаломъ души, не мѣшаетъ женщинѣ имѣть, между прочимъ, еще одно качество—

10. Душу.

Вы видите изо всего сказаннаго, что одѣваться со вкусомъ, со смысломъ, изящно, поэтически, гармонически, и пр. и пр., однимъ словомъ: одѣваться хорошо, — не можетъ быть общею принадлежностью женщинъ нигдѣ, ни въ какомъ государствѣ. Потому я надѣюсь, что Московскія красавицы не примутъ себѣ въ особенную обиду, когда я скажу имъ, что Бронскій, герой моей повѣсти, въ цѣлый вечеръ не могъ найти на Тверскомъ бульварѣ ни одной дамы хорошо одѣтой, хотя дамъ было много, потому что это былъ день гулянья.

Впрочемъ я думаю, что безъ оскорбленія Московской чести можно признаться, что дамы здѣсь одѣваются особенно дурно.

Это живо чувствовалъ Бронскій, который недавно возвратился изъ чужихъ краевъ, съ еще свѣжими воспоминаньями и съ несчастною охотою сравнивать.

Онъ находилъ больше изысканности, чѣмъ вкуса, больше небрежности, чѣмъ простоты, и вообще въ нарядахъ больше противорѣчій, чѣмъ украшеній. Подъ модною шляпкой неразглаженное платье. Тамъ платье стройное, но поясъ на одинъ бокъ и нескладный башмакъ. Тамъ въ одной одеждѣ смѣшенье десятилѣтнихъ уборовъ, и едва раждающаяся мода на развалинахъ давно забытаго наряда. Тамъ нѣтъ анахронизмовъ, но за то нѣтъ и простоты. Тамъ простота, но нѣтъ опрятности: либо букли не на мѣстѣ, либо смяты, либо перчатки нечистыя, либо башмаки изношенные, а иногда даже стоптанные на одну сторону!—Тамъ шелкъ, и блонда, и брилліанты, и перья, и блескъ и мода, и все вмѣстѣ нестройно и безвкусно. Тамъ и вкусъ и простота, но корсетъ такъ стянутъ, что мѣшаетъ естественности движеній, такъ что, не смотря на всю красивость наряда красавицы, желаешь ей нарядиться хуже, чтобы казаться лучше.—Всего рѣже встрѣчалъ Бронскій хорошо обутую ножку, и съ грустнымъ чувствомъ замѣтилъ онъ, что если Московскія барыни вообще одѣваться не умѣютъ, то обуваются, Боже мой! обуваются еще хуже. Изрѣдка, правда, случалось ему встрѣтить обувь красивую и стройную; но башмакъ, складный снаружи, почти всегда былъ такъ узокъ, что мѣшалъ ходить, или платье такъ коротко, что ножка изъ-подъ него казалась будто на выставкѣ; и по тонкимъ прозрачнымъ чулкамъ толстыми нитками была вышита вывѣска:

ЗДѢСЬ ПОКАЗЫВАЮТСЯ КРАСИВЫЯ НОЖКИ.

Иногда, рѣдко, находилъ Бронскій весь нарядъ прекраснымъ,—но только при другомъ лицѣ; иногда онъ былъ и къ лицу, но такъ строго по модѣ, такъ рабски новъ, что женщина въ немъ казалась тою куклою, которую всякій день посылаютъ съ модами изъ Парижа въ Лондонъ. И это рабство, эта кукольность, давали личику хорошенькому, часто не глупому, оттѣнокъ какой-то машинальности, ни сколько не плѣнительной для глазъ, и еще меньше привлекательной для воображенія.

Вообще, чѣмъ больше Бронскій разсматривалъ наряды гуляющихъ, тѣмъ меньше находилъ ихъ по сердцу, и уже въ досадѣ готовъ онъ былъ оставить бульваръ, когда вдругъ передъ его глазами мелькнули двѣ ножки, которыя сильно взволновали его любопытство; — ножки невыразимо стройныя и обутыя со всею красивостью самаго утонченнаго вкуса. Онъ поднялъ глаза выше, дама между тѣмъ прошла мимо, опираясь на руку кавалера, такъ что Бронскій уже не могъ разсмотрѣть лица ея, но за то видѣлъ ея талію, ея стройную талію, аристократически граціозную и тонко обхваченную широкимъ, голубымъ и свободнымъ поясомъ. Невольное чувство заставило Бронскаго идти за нею.

Нѣтъ ничего легче, какъ описать ея нарядъ: бѣлое платье безъ прихотливыхъ затѣй, соломенная шляпка безъ перьевъ, безъ цвѣтовъ, безъ бантовъ, безо всякихъ украшеній; турецкая шаль, накинутая небрежно, — и вотъ все, что можно разсказать объ ея нарядѣ. Но какъ выразить эту гармонію и стройность, эту благородную простоту, эту музыкальную красивость, которыми, казалось, проникнуто все существо ея, такъ, что ея одежда, ея гибкій станъ, ея стройныя движенія и грація ея поступи, все казалось однимъ изящнымъ созданіемъ, одною прекрасною мыслію, однимъ счастливымъ сномъ.

Въ покроѣ ея платья и въ живописности ея прически, всѣ требованія моды были какою-то удачею, или правильнѣе, какимъ-то волшебствомъ соглашены съ требованіями самаго разборчиваго, самаго художественнаго вкуса. Не было ничего въ ея нарядѣ, гдѣ бы можно было замѣтить границу между модою и вкусомъ, между искусствомъ и природою, и смотря на нее, свѣтскій наблюдатель, конечно, задумался бы о томъ: лицо ли красавицы такъ счастливо пришлось къ сегоднишней модѣ, или нарядъ былъ съ умѣньемъ и вкусомъ принаровленъ къ прекрасному ея лицу.

Лицо ея, когда Бронскій разсмотрѣлъ его, возбудило въ немъ такое чувство, въ которомъ соединялись два обыкновенно различныя движенья души: удовольствіе и грусть; — удовольствіе эстетическое, которое внушаетъ намъ все свѣтлое въ

природѣ, все правильное въ искусствахъ; грусть музыкальная и еще неназванная, которую возбуждаетъ въ насъ тоже явленіе искусствъ или природы, только тогда, когда посреди прекрасныхъ формъ его мы открываемъ такое чувство, которое можемъ понять только одинокимъ движеніемъ сердца, но не въ силахъ ни передать его, ни даже назвать другому; ибо для рѣдкаго, для избраннаго, часто нѣтъ у людей ни общаго понятія, ни готоваго имени.

Черты лица ея, тонкія, благородныя, правильныя, казались прозрачными: такъ чисто и явственно выражались сквозь нихъ ея музыкальныя, веселыя, фантастическія движенія души.

Она могла бы напомнить Магдалину Кановы, если бы Магдалину кающуюся можно было вообразить веселою и смѣющеюся.

Мужчина, который велъ ее подъ руку, казался между пятидесятью и шестидесятью лѣтъ. Онъ былъ одѣтъ просто, но не безъ щеголеватости.

Вообще и онъ и она были явленіе необыкновенное на Тверскомъ бульварѣ. Но замѣчательнѣе всего было въ нихъ именно то, что̀ всего меньше могло быть замѣчено: они прошли посреди гуляющихъ, не обративъ на себя почти ни чьего вниманія, и Бронскому не легко было узнать кто они, потому, что никто не понималъ, о комъ онъ говоритъ. Наконецъ, однако нашелся одинъ старый отставной генералъ, который могъ дать ему объ нихъ нѣкоторое понятіе.

«Теперь я знаю, о комъ вы говорите,»—сказалъ онъ Бронскому, послѣ многихъ неудачныхъ догадокъ. «Человѣкъ пожилой съ молодою дамою? высокій ростомъ? шея прямо? спина не гнётся? словомъ сказать, иностранная фигура, то есть, не Русская — или — какъ бы сказать?.... иностранная?—Это Вельскій съ дочерью; я его знавалъ прежде. Онъ былъ лѣтъ пять за границей и недавно возвратился; ужасный чудакъ; англоманъ; а впрочемъ человѣкъ пріятный, человѣкъ образованный, и, можно сказать, умный человѣкъ.»

Генералъ, который разсуждалъ такимъ образомъ, принадлежалъ къ числу тѣхъ людей въ Москвѣ, которые сами отличаются и невѣжествомъ, и глупостью, и особенно какою-то

непонятною тяжестію пустоты, но за то составляютъ другимъ репутацію образованности, ума и любезности.—Странная Москва! Но и эта странность имѣетъ свой смыслъ; и для нея можно найти достаточную причину; и она даже даетъ надежды на будущее, надежды, которыя рождаются не изъ прямаго дѣйствія обстоятельствъ, но рикошетомъ, какъ ядро, которымъ на водѣ стрѣляютъ ниже, чтобы оно отскочило выше.

ГЛАВА II.

Я надѣюсь, что читатели изъ словъ генерала не станутъ еще заключать объ Вельскомъ. Правда, онъ имѣлъ нѣкоторыя особенности; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы онъ былъ ужаснымъ чудакомъ. Англоманомъ же назвалъ его генералъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ Русскіе купцы продаютъ Нѣмецкое шампанское.

Вельскій имѣлъ много привычекъ не-Московскихъ и вообще любилъ создавать себѣ образъ жизни самъ, тогда только слѣдуя принятымъ обычаямъ, когда они совпадались съ его мыслями. Не смотря на древность своего дворянства, привычки жизни своей составилъ онъ себѣ по образцу средняго сословія образованной Европы, перенимая иное у Англичанъ, другое у Нѣмцевъ, иное у Французовъ, не пренебрегая впрочемъ и Русскаго, когда оно не мѣшало его вкусамъ и входило въ тотъ смыслъ, который онъ старался дать своей жизни. Къ его крыльцу, вмѣсто швейцара, былъ придѣланъ колокольчикъ. Вмѣсто стаи лакеевъ, имѣлъ онъ самую не многочисленную прислугу, и ту вольную. Въ комнатахъ его не было ничего лишняго, но все нужное, все удобное. Мебели отличались роскошью изящества, покоя и чистоты, а не золота. На столѣ его всегда лежала послѣдняя иностранная газета и нѣсколько литературныхъ журналовъ. Въ кабинетѣ его были всѣ замѣчательныя новости наукъ и словесностей. Кухня его была Русская, то есть, не древне-Русская, не множество блюдъ безъ конца и безъ вкуса, но Русская новая, эклектически-Европейская, то есть, такая, какимъ со временемъ должно быть Русское просвѣщеніе. Маленькую карету его возили двѣ лошади

и почти всегда безъ лакея. Щеголеватость его платья замѣчали не многіе, — такъ оно было просто и однообразно. Вообще опрятность, покой, вкусъ, простота и Англійское удобство были отличительнымъ характеромъ всѣхъ его роскошей.

Воспитанная посреди такихъ привычекъ, подъ надзоромъ отца умнаго и просвѣщеннаго, проведя пять лѣтъ въ чужихъ краяхъ, въ кругу самыхъ отборныхъ обществъ, въ атмосферѣ изящныхъ искусствъ и умственной аристократіи; одаренная самыми счастливыми способностями и красотою не общею, — Софья Вельская, семнадцати лѣтъ, была бы одною изъ замѣчательныхъ дѣвушекъ въ самыхъ образованныхъ земляхъ, а тѣмъ больше въ Россіи. Не смотря на то, однако, она въ Москвѣ не понравилась сначала. И въ самомъ дѣлѣ, между нею и большинствомъ Московскихъ дамъ было не много общаго. Что занимало ее, не занимало ихъ; а ихъ разговоры были ей не по сердцу. Важное для нихъ, казалось ей неважнымъ; а любопытное для нея, заставляло ихъ зѣвать. Она не могла смѣяться, когда другія смѣялись, и, бѣдная, смѣялась почти всегда одна. Она не вертѣла фразъ, не искала сентенцій, говорила просто, какъ думала, и только то, что думала,—и потому прослыла ограниченною. Она слушала, когда ей говорили, и не могла говорить, когда ее не слушали или не понимали, — и потому прослыла странною. Не находя людей по сердцу, она молчала сколько могла, — и потому прослыла гордою. Поведенія своего она не разсчитывала на эффектѣ,—и потому прослыла вмѣстѣ и сентиментальною и холодною. Она не восхищалась любезностями Московскихъ кавалеровъ, — и потому прослыла пустою. Она невольно скучала посреди несходныхъ съ нею обществъ, и потому прослыла скучною.

Къ этому еще надобно прибавить, что Софья была застѣнчива.

—

ОСТРОВЪ.

(Недоконченная повѣсть.)

ГЛАВА I.

На Средиземномъ морѣ, между острововъ, окружающихъ Грецію, давно уже извѣстна мореходцамъ одна скала, уединенно возвышающаяся посреди моря.

Эта скала замѣчательна мореплавателямъ особенно потому, что она служитъ для нихъ спасительнымъ предостереженіемъ отъ опасныхъ подводныхъ камней и совершенно непроходимой мели, которая окружаетъ ее со всѣхъ сторонъ на нѣсколько верстъ. Потому, кормчій, какъ скоро завидитъ ее вдалекѣ, уже спѣшитъ повернуть корабль въ ту или другую сторону, чтобы миновать опасное мѣсто.

И не одни большія суда, даже мѣлкія лодки рыбаковъ, иногда занесенныя бурею отъ ближнихъ острововъ въ сосѣдство опасной скалы, всегда погибали тамъ безъ возврата, застрявая въ вязкомъ песку или разбиваясь объ острые камни, такъ что ни одинъ, вѣроятно, живой человѣкъ не приближался къ подошвѣ неприступнаго утеса,—а вершина его была знакома только хищнымъ птицамъ, которыя прилетали туда съѣдать свою добычу.

Но достигнуть до скалы людямъ было не только невозможно, но и не нужно, и даже не любопытно. Она не представляла ничего, кромѣ голаго, безплоднаго камня, впрочемъ довольно живописно исковерканнаго, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ орошеннаго гремящими, дробящимися потоками, вытекавшими, вѣроятно, изъ средины самой скалы.

Но для чего же природа образовала это безполезное явленіе? Или нужно человѣку, на всѣхъ дорогахъ земли и моря, на всѣхъ путяхъ жизни и мышленія, встрѣчать безпрестанныя затрудненія и опасности, чтобы не заснуть прежде ночлега въ разслабляющей душу безпечности?

Въ ту ночь, когда въ Греціи случилось извѣстное землетрясеніе, отъ котораго многіе города уничтожились, многія горы измѣнили свой видъ, рѣки—теченіе, и особенно потерпѣли острова, а на сѣверъ отъ Кандіи, около Санторино, даже явился на свѣтъ новый, небывалый островокъ, тогда—кажется, это было въ 1573 году—и въ каменной скалѣ произошло нѣкоторое измѣненіе. Мѣль вокругъ нея распространилась еще болѣе; самъ утесъ еще выросъ изъ моря и много расширился въ своемъ объемѣ.

Послѣ того, лѣтъ черезъ тридцать, два Греческіе монаха, занимаясь рыбною ловлею, въ тихую погоду, на легкой плоскодонной лодочкѣ, плавали около береговъ Анатоліи. Утро было ясное; море, какъ зеленое стекло, лежало недвижимо; рыба играла на поверхности воды, и они, преслѣдуя ея движенія, мало по малу удалились отъ берега. Но неожиданно поднялся вѣтеръ, и сила волненія увлекла ихъ еще далѣе въ море. Видя опасность, они начали прилежно работать веслами; но буря увеличивалась; земля исчезла изъ виду; лодочка ихъ, прыгая по волнамъ, уносилась все далѣе. Воздухъ сталъ теменъ отъ тучъ; вокругъ не было ничего, кромѣ разорвавшаго моря, которое, казалось, за каждою волною раскрывается до самаго дна. Страхъ, ужасъ и холодъ проникали ихъ до самыхъ костей. Но скоро они почувствовали, что продолжать долѣе споръ свой съ бурею было бы имъ и безполезно, и невозможно. Сберегая силы на всякій случай, они сложили весла въ лодку и отдались на волю Божію.

Между тѣмъ, успѣли они принять другъ отъ друга исповѣдь, получили разрѣшеніе, обнялись, и тихимъ, но согласнымъ голосомъ запѣли псалмы, глядя, уже почти равнодушно, на свою безпрестанно раскрывающуюся могилу.

Долго легкая лодочка носилась съ пѣньемъ по ревущему морю, увлекаясь то въ ту, то въ другую сторону.

Наконецъ, сквозь тучи проглянуло солнце; потомъ скоро все небо очистилось, вѣтеръ утихъ, и только одно раскачавшееся море не переставало еще волноваться.

Сами не вѣря безопасности своего долгаго плаванія, они начали уже надѣяться на спасеніе; но надежда ихъ скоро

исчезла, когда, осматриваясь вокругъ себя, они замѣтили, что находятся далеко отъ земли, и прямо въ виду той опасной скалы, которая, какъ имъ было извѣстно, со всѣхъ сторонъ окружена мѣлью и камнями, и куда неодолимо стремило ихъ морское волненіе. Въ срединѣ моря еще была имъ возможность случайно наплыть на островъ или встрѣтить корабль. Здѣсь не было и этой надежды; они неслись на скалу и уже видимо плавали надъ самою мѣлью. Но вотъ другое удивленіе: между желтаго песку, едва покрытаго водою, показалось темное углубленіе, какъ бы тропинка для лодки посреди непроходимаго моря. Снова взялись они за весла, стараясь удержаться на этой узкой полоскѣ, которая своимъ темнымъ цвѣтомъ ясно отличалась отъ окружающей равнины. Мало по малу морская тропинка привела ихъ къ самой подошвѣ скалы,— они спасены.

Между тѣмъ день склонялся къ вечеру. Море успокоилось. Но возвращаться уже было поздно. Они рѣшились вытащить лодку на камни и, взойдя на скалу, дожидаться тамъ до слѣдующаго утра.

По неровнымъ уступамъ огромныхъ, разбитыхъ камней, кое-какъ взобрались они на верхъ утеса: но тамъ нашли они зрѣлище неожиданное.

Скала, казавшаяся безплоднымъ камнемъ, въ самомъ дѣлѣ была цвѣтущій, плодоносный островъ. Голые кремни, которые окружали его со всѣхъ сторонъ, составляли только высокую ограду, внутри которой, въ таинственномъ углубленіи, скрывалась пространная, зеленая равнина, усѣянная живописными пригорками, перерѣзанная живыми потоками, густыми и разнообразными перелѣсками. Высокіе кедры не достигали, однако же, до вершины ограды. Лѣса лавровые и финиковые мѣшались съ оливковыми и лимонными деревьями, осыпанными плодами, съ апельсинами и персиками, съ орѣховыми рощами, съ миртовыми кустами и виноградными лозами, вокругъ нихъ обвивающимися. Невыразимое чувство овладѣло спасенными спутниками посреди этой роскошной природы. Молча стали они на колѣни и долго не могли найти голоса для

словъ, смотря на свѣтлый востокъ, озаренный заходящимъ солнцемъ.

Окончивъ молитву и утоливъ голодъ древесными плодами, они пошли осматривать островъ.

Нигдѣ не замѣтно было слѣдовъ человѣка. Все было дико, но все прекрасно; садъ, устроенный безъ трудовъ и работы; все ярко и стройно, все наполнено красоты и благоуханія. Особенно вниманіе ихъ остановилось на теченіи одного красиваго потока, который бѣжалъ съ вершины небольшой горы и, живописно извиваясь по ней, безпрестанно падалъ съ камня на камень громкими порогами. Въ одномъ мѣстѣ, гдѣ паденіе его было значительнѣе другихъ, сгибаясь въ широкую дугу, подъ которой, какъ подъ прозрачнымъ покрываломъ, зеленѣлись кусты и растенія, они замѣтили, что подъ этимъ радужнымъ сводомъ образовалась круглая пещера, у входа заросшая гибкими розгами винограда. Природа, казалось имъ, нарочно создала, въ этой жаркой странѣ, это отрадное убѣжище, и занавѣсила его прохладною струею отъ солнца, и убрала его стѣны разноцвѣтными кристаллами, и устлала его подъ мягкимъ мохомъ и густою травою. Но что-то звонкое попалось имъ подъ ноги. Это былъ женскій браслетъ, украшенный драгоцѣнными каменьями. Какъ зашелъ онъ сюда? Птица ли занесла его? или былъ здѣсь человѣкъ? Но вотъ явный признакъ человѣка: прямой Греческій мечъ, весь покрытый ржавчиною. Не далеко отъ него яшмовая курильница, обвитая искусственными рельефами, съ остатками благовонной смолы и нѣсколькихъ недогорѣвшихъ углей. Вотъ и еще шлемъ и мужскія латы. Подлѣ нихъ блестѣли въ травѣ женскія ожерелья и кованный поясъ, а въ темномъ углу пещеры два бѣлые человѣческіе остова лежали обнявшись. Но истлѣвшія кости, при первомъ прикосновеніи, разлетѣлись въ пыль, такъ что отъ нихъ остались только два маленькіе крестика, изъ чистаго золота, и два кольца, на которыхъ вырѣзаны были двѣ Греческія буквы, на одномъ *I.*, на другомъ *H.* Больше не было никакой надписи.

На другой день, когда солнце выкатилось на небо, малень-

кая лодочка уже плыла вдоль отъ острова, по той же темной тропинкѣ.

Легко было путникамъ, вчера замѣтивши дорогу, отыскать ее опять. Скоро выбрались они въ открытое море и, держась все прямо, достигли одного изъ острововъ Архипелага. Тамъ сѣли они на корабль и благополучно прибыли въ свой монастырь, во все продолженіе пути храня крѣпкую тайну о своемъ странномъ открытіи. Но въ монастырѣ они обо всемъ разсказали настоятелю, который, чувствуя, при бѣдственномъ состояніи Востока, всю важность независимаго убѣжища, также втайнѣ сообщилъ объ немъ патріарху. Такимъ образомъ, извѣстіе о новомъ островѣ сберегалось между избраннымъ духовенствомъ Востока, и только не многимъ, мужамъ испытанной жизни и характера, передавалось оно вмѣстѣ съ другими важными преданіями, которыя всегда хранились и теперь еще хранятся въ цѣлости, у извѣстной части Восточнаго монашества.

Между тѣмъ, многіе пустынники удалились на тайный островъ, навсегда скрываясь тамъ отъ свѣта и людей. Вскорѣ, подлѣ таинственнаго грота, въ тѣни кипарисовой рощи, основанъ Греческій монастырь и возвысилась церковь во имя Св. Георгія, отъ чего и весь островъ получилъ то же названіе между знавшими о его существованіи.

Въ теченіе времени, переселялись туда многіе изъ ученѣйшихъ людей Греціи и Палестины, такъ что, наконецъ, монастырь Св. Георгія, хотя извѣстный не многимъ, сдѣлался, однако же, однимъ изъ первыхъ на Востокѣ и по духовной замѣчательности людей, его составляющихъ, и по богатству своей библіотеки, и по своему счастливому мѣстоположенію, и болѣе всего—по тому особенному духу глубины, который долженъ былъ возникнуть въ отдѣленномъ и сомкнутомъ кругу людей необыкновенныхъ.

Впрочемъ, не одни монахи населяли таинственную скалу; многія и свѣтскія семейства, преслѣдуемыя невѣрными, уходили туда, желая лучше сокрыться въ вѣчномъ уединеніи, чѣмъ промѣнять на Латинскую чужбину свою Православную родину.

Часто, на Греческихъ островахъ или въ Константинополѣ, когда отъ паши или отъ султана угрожала опасность какому-нибудь важному фанаріоту, за его подозрительную приверженность къ христіанамъ, или богатому купцу, за его завидныя сокровища,—то прежде, чѣмъ бѣда настигнетъ несчастнаго, у порога его жилища являлся какой-нибудь неизвѣстный прохожій, въ разорванномъ рубищѣ, и просилъ гостепріимства. И получивъ его, за чашей меду, онъ разсказывалъ хозяину про свои далекія странствія, про Святую землю, угнетенную варварами; про Аѳонскую гору, свѣтильникъ христіанскаго просвѣщенія на Востокѣ; про нѣкоторыхъ Святыхъ мужей, скрывавшихся въ пустыняхъ Азіи и Африки,—а между тѣмъ, тайно передавалъ ему извѣстіе объ опасности и приготовленныхъ средствахъ къ спасенію. Но нѣкоторымъ, особенно испытаннымъ, открывалось также о существованіи неизвѣстнаго острова.

По этой причинѣ, островъ раздѣленъ былъ на двѣ части: въ одной стоялъ монастырь, и жили монахи; въ другой—семейства изгнанныхъ.

На этой послѣдней части острова образъ жизни былъ со всѣмъ необыкновенный. Земля была общая, труды совмѣстные, деньги безъ обращенія, роскошь неизвѣстна; а между тѣмъ, вся образованность древней и новой Греціи хранилась между жителями во всей глубинѣ своей особенности, неизвѣстной Западу и забытой на Востокѣ. Въ ихъ занятіяхъ работа тѣлесная смѣнялась умственною дѣятельностію. Въ собраніяхъ правдивость, доброжелательство и стремленіе къ возвышеннымъ наслажденіямъ духа. Въ семейномъ кругу глубокій миръ и чистота. Въ воспитаніи дѣтей развитіе душевныхъ силъ безъ насильственныхъ напряженій,—ненависть къ притворству и презрѣніе къ нелюбовному чувству соперничества. Высоко цѣнили они всякое достоинство, всякую способность; но для дѣтей своихъ скорѣе бы предпочли ихъ совершенное отсутствіе, чѣмъ, при нѣкоторомъ достоинствѣ, еще большее лукавое его выказываніе. И они росли весело, юноши крѣпкіе духомъ и тѣломъ, дѣвы стыдливыя, глубоколюбящія и во всей прелести неизнѣженнаго здоровья и Греческой красоты.

Не рѣдко, однако же, получали островитяне извѣстія объ остальномъ мірѣ, и часто туда, гдѣ нужна была помощь, тайно посылали деньги изъ своихъ сокровищъ, имъ не нужныхъ и только хранимыхъ для добрыхъ дѣлъ и нѣкоторыхъ далекихъ предположеній. Не тревожила ихъ наружная мишура Европейской образованности, ни газетныя знаменитости, ни чужедворныя сплетни; но моремъ отдѣленные отъ міра, любовью къ человѣчеству съ нимъ соединенные, всегда съ любопытствомъ сердечнаго участія слѣдили они за судьбами просвѣщенія и народовъ, и съ трепетомъ ожидали, не воскреснетъ ли Грецiя, и не блеснетъ ли гдѣ-нибудь лучь надежды къ избавленію Христiанства.

Такъ было на неизвѣстномъ островѣ, посреди невѣжественныхъ земель, угнетенныхъ варварами. Между тѣмъ, въ просвѣщенной странѣ человѣчества, въ образованной Европѣ, все, казалось, идетъ своимъ установленнымъ, твердымъ порядкомъ. Люди живутъ какъ обыкновенно, одинъ не заботясь о другомъ; каждый думаетъ, считаетъ, страдаетъ и утѣшается за себя. Тѣ не многіе, на которыхъ лежитъ бремя общей заботы, также слѣдуютъ обыкновеннымъ правиламъ: въ прошедшемъ ищутъ уроковъ для будущаго, судятъ о завтра по вчера; смотря на заходящее солнце, разсчитываютъ о грядущемъ утрѣ. И въ самомъ дѣлѣ, разсчеты ихъ вѣрны: по извѣстнымъ законамъ, извѣстныя силы играютъ и равновѣсятся, какъ играетъ въ парусахъ постоянный и попутный вѣтеръ.

Но вдругъ на Западѣ переломился порядокъ: взволновался народъ, разыгралися страсти, рухнулъ престолъ, полилась кровь, падаетъ Церковь, законы ломаются, все устройство вещей ниспровергнуто, новое устройство возникаетъ и снова рушится, уставы смѣняются другими, все зыблется, все падаетъ, все подымается и снова падаетъ; топоръ работаетъ день и ночь, кровь льется рѣками, народъ пляшетъ, страсти не знаютъ границъ, клики восторга мѣшаются съ крикомъ отчаянія, съ громомъ пушекъ и барабановъ, съ отзывомъ славы и побѣдъ, съ воплями кровожаднаго звѣрства, съ глубокими воздыханіями глубокой любви къ человѣчеству, съ хохотомъ распутства и самозабвенія.

Вся Европа дрожитъ отъ волнующагося народа; всѣ царства соединились противъ него войною и не могутъ одолѣть его напряженныхъ силъ. Что-то будетъ съ просвѣщеннымъ человѣчествомъ?

На уединенномъ островѣ слухъ о переворотахъ Европейскихъ особенно занималъ одного изъ потомковъ древнихъ Греческихъ императоровъ, фанаріота Палеолога, прежде служившаго драгоманомъ при Портѣ и отъ того болѣе другихъ опытнаго въ дѣлахъ Запада. Но эти извѣстія ни сколько не измѣняли его мирныхъ занятій и стройной, дѣятельной жизни, раздѣленной между ихъ дружескимъ обществомъ и его небольшою семьею, которую составляли: его молодая жена, маленькій сынъ и маленькая дѣвочка, у нихъ воспитывавшаяся.

Олимпіада Палеологъ была одною изъ тѣхъ женъ, любимыхъ Небомъ, которыя видимо приводятъ благословеніе Божіе на душу ими любимаго. Чистая правильная красота была только свѣтлою тѣнью свѣтлаго, внутренняго существа ея. Со всею теплотою полнаго, не засыпающаго сердца, раздѣляла она съ мужемъ опредѣленныя заботы дня, и произвольныя мысли отдыха, и далекія надежды будущаго, и едва замѣтныя сердечныя думы, — и все въ его жизни, въ сердцѣ и въ мысляхъ, получало новый, заманчивый видъ отъ ея гармоническаго прикосновенія. Неистощимая глубина ихъ душевнаго согласія могла только сравниться съ глубокою синевою теплаго неба надъ ихъ тихимъ островомъ.

Общими силами, общими радостными заботами, занимались они воспитаніемъ своего маленькаго Александра, — и это чувство наполняло въ ихъ сердцѣ тоже отдѣленное мѣсто, на которомъ лежала и мысль о будущемъ избавленіи ихъ народа.

Дѣвочка, которая у нихъ воспитывалась, была дочь фанаріота Наттарры, искренняго друга Палеолога и погибшаго въ Константинополѣ насильственною смертію, вмѣстѣ со всѣмъ своимъ семействомъ. Маленькая Елена, спасенная человѣколюбіемъ варваровъ, въ маленькой колыбели, забрызганной кровью ея родныхъ, тайно перенесена была въ другой городъ къ одной бѣдной христіанкѣ. Скоро потомъ какой-то монахъ, зная прежнюю связь ея отца съ Палеологомъ, въ одну темную ночь,

поставилъ люльку въ узкую лодочку и съ тихою молитвою надъ прекраснымъ младенцемъ, по спокойному морю между мѣлей и камней, привезъ ее спящую на островъ Св. Георгія. —

Но на Западѣ долго еще не рѣшался вопросъ о судьбѣ взволнованнаго народа. Поколеблетъ ли онъ другія царства, или сгоритъ въ собственномъ огнѣ? Чѣмъ кончится этотъ взрывъ? Чего надѣяться? Чего бояться?

И для чего Провидѣніе послало или, по крайней мѣрѣ, допустило это страшное явленіе? Какая польза произойдетъ изъ него для человѣчества? Или даромъ пролито столько крови, легло столько жертвъ, и между жертвами столько чистыхъ?

Изъ броженія безпорядка выйдетъ ли лучшій порядокъ? Изъ дорогихъ опытовъ устройствъ и законовъ родится ли лучшее устройство, лучшіе законы? Или все это волненіе окончится одною горячею страницею въ исторіи, однимъ холоднымъ урокомъ для человѣчества?

Или, можетъ быть, эта кровь, эти жертвы — только страшное наказаніе просвѣщенному человѣчеству за ложь въ его просвѣщеніи, — очистительное наказаніе человѣку за разслабленіе его сердечныхъ силъ, за вялость и ограниченность его стремленій, за притворство въ вѣрѣ, за корыстное искаженіе святыни, за несочувствіе къ угнетеннымъ, за презрѣніе правъ безсильныхъ, за легкомысліе, за коварство, за изнѣженность, за забытіе меньшей братіи Сына Человѣческаго, за оскудѣніе любви?...

Отдыхая на дерновой скамейкѣ, въ тѣни лавровой рощи, однажды Палеологъ, въ минуту душевнаго волненія, говорилъ женѣ своей: «За твою чистую душу, другъ мой сердечный, посылаетъ намъ Небо то небывалое счастіе, которое другіе знаютъ только во снѣ. Когда твоя стройная рука меня обнимаетъ, и я гляжу въ твои глубокіе, блестящіе глаза, тогда мнѣ кажется, что внутри моего сердца раскрывается другое зрѣніе, и я вижу насквозь все безтѣлесное существо твое, и вижу еще тѣмъ же чувствомъ сердца, какъ будто вокругъ насъ струится что-то прекрасное, что-то охранительное, родное и непонятное. Какъ будто небо въ эту минуту раскрывается надъ нами. А съ нѣкотораго времени еще новая радость прибави-

лась къ моему счастью. Одна мысль тревожила меня за маленькую Елену, когда ее привезли къ намъ. Я зналъ всегда, что ты будешь любить ее, что со всею заботливостью матери ты окружишь ея дѣтство самыми нѣжными попеченіями; но я боялся, чтобы любовь къ нашему сыну не увлекла тебя невольно хотя къ какому-нибудь различію въ чувствахъ къ двумъ дѣтямъ. И мнѣ грустно было предвидѣть послѣдствія этого для маленькой сироты, зная, какъ прозорливо несчастіе и, еще больше, какъ оно подозрительно. Но теперь я спокоенъ совершенно. Я снова убѣдился, что для тебя чувство добродѣтели тоже, что чувство природы. Я вижу ясно, какъ ты внутри сердца не раздѣляешь обоихъ дѣтей, какъ ты равно и полно любишь ихъ одною материнскою любовью. Трудно выразить, какое сладкое ощущеніе даетъ мнѣ эта увѣренность. Часто я думаю, что если изъ-за могилы можно видѣть нашу землю, то вѣрно съ благодарностію, вѣрно съ радостными благословеніями молится за тебя ея бѣдный отецъ.»

— «Я видѣла твое сомнѣніе,—отвѣчала Олимпіада — и молчала, ожидая, покуда время тебя успокоитъ. Могла ли я не любить дочь твоего друга? И, впрочемъ, кто бы она ни была, можно ли не чувствовать особенной привязанности къ этому прекрасному ребенку? Посмотри, какая кротость, какой умъ въ этихъ черныхъ, задумчивыхъ глазкахъ! Посмотри, какъ въ эти лѣта на ея миломъ личикѣ уже обозначилась вся будущая красота! Какая стройность, какія тихія, легкія движенія, и какое любящее сердце! Однако, я не скрою отъ тебя, что, можетъ быть, начало моего чувства было не совсѣмъ безкорыстное. Когда привезли ее къ намъ, и я взяла ее на руки еще спящую, и потомъ она открыла свои большіе глаза съ длинными, черными рѣсницами, и потянулась маленькими ручками, и улыбнулась мнѣ прекрасною улыбкою, тогда мнѣ живо пришло на сердце, что этотъ ребенокъ нарочно посланъ намъ для того, чтобы со временемъ составить счастье нашего Александра. Съ тѣхъ поръ эта мысль лежитъ неотвязно у меня на умѣ, и я невольно смотрю на Елену, какъ на свою дочь, посланную мнѣ Богомъ для радости всей нашей семьи.»

«Ты говоришь мнѣ мою же мысль,—отвѣчалъ Палеологъ,—

и, кажется, надежда насъ не обманетъ. Смотри, какъ сильно ростетъ между ними ихъ дѣтская дружба, основаніе будущаго согласія и залогъ неминутной, разумной любви.»

Между тѣмъ, какъ они говорили, дѣти ихъ, кудрявыя, веселыя, бѣгали вокругъ нихъ, играя между цвѣтущими лаврами. Солнце садилось; въ монастырѣ раздался тихій благовѣстъ; и взоры ихъ, устремившись на небо, были полны счастія и благодарности.

Впрочемъ, это счастіе, эта тихая жизнь возможна была только для нихъ, отдѣленныхъ отъ міра. Но для человѣка, окруженнаго безпрестаннымъ волненіемъ интересовъ, страховъ, заботъ, удовольствій и страданій другихъ людей,—нѣтъ отдѣльной судьбы и, слѣдовательно, нѣтъ безмятежнаго счастія. Когда умъ его, встревоженный любопытствомъ, хотя разъ пришелъ въ живое соприкосновеніе съ движеніями человѣчества, то уже насильно и навсегда обреченъ онъ раздѣлять его общую судьбу, если не дѣломъ руки, то по крайней мѣрѣ колебаніемъ сердечнымъ, волненіемъ мыслей, сочувствіемъ, пристрастіями, ошибками и вообще всѣми страданіями человѣческаго рода. Тогда ему счастье одно: если жизнь его, для него потерянная, будетъ не совсѣмъ потеряна для другихъ!—

Все больше разгорался кровавый пожаръ на Западѣ. Страшно смотрѣть, какъ Небо караетъ народъ. Но кто знаетъ? Можетъ быть, какъ буря очищаетъ воздухъ, такъ волненіе народное должно очистить жизненную атмосферу человѣчества? Можетъ быть, бѣдствія царствъ и людей посылаются имъ для того, чтобы разбудить заснувшія силы ума, настроить въ гармонію разстроенные звуки души и натянуть новыя струны на ослабѣвшее сердце человѣка?

Или, можетъ быть, эти судороги народной жизни предсказываютъ только смерть прошедшему, безъ надежды для будущаго? Можетъ быть, этими страшными движеніями отжившіе народы роютъ себѣ могилу, приготовляя мѣсто для колыбели новыхъ?

Но вотъ рѣшается задача Европы.

Пришелъ человѣкъ, задумчивый и упрямый; въ глазахъ—презрѣнье къ людямъ, въ сердцѣ—болѣзнь и желчь; пришелъ

одинъ, безъ имени, безъ богатства, безъ покровительства, безъ друзей, безъ тайныхъ заговоровъ, безъ всякой видимой опоры, безъ всякой силы, кромѣ собственной воли и холоднаго разсчета, и — разсчетомъ и волею — остановилъ колесо переворотовъ, и нагнулъ передъ собою вольнолюбивыя головы — и, кланяясь ему, народъ утихъ. И онъ заковалъ его въ цѣпи, и поставилъ предъ собою въ послушные ряды, и повернулъ ихъ красиво при звукѣ барабановъ, и повелъ ихъ за собою далеко изъ отечества, и приказалъ имъ умирать за его имя, за его прихоти, за богатство его низкой родни; и народъ шелъ стройно, подъ звуки его барабановъ, и умиралъ отважно за его прихоти, и, умирая, посылалъ дѣтей своихъ ему на службу, и благословлялъ его имя, и восторженнымъ кликамъ не было конца!

И не было границъ его силѣ. Царства падали предъ нимъ, —онъ создавалъ новыя; троны рушились,—онъ ставилъ другіе; чужимъ народамъ давалъ онъ свои законы; сильныхъ властителей сгибалъ въ своей прихожей. Вся Европа страдала подъ его могуществомъ и съ ужасомъ называла его Великимъ!

И онъ былъ одинъ.

Безъ правъ на власть — самодержецъ; вчера — затерянный въ толпѣ простолюдинъ, нынче—судьба всего просвѣщеннаго міра. Какимъ волшебствомъ совершилъ онъ чудеса свои?

Когда другіе жили, онъ считалъ; когда другіе развлекались въ наслажденіяхъ, онъ смотрѣлъ все на одну цѣль и считалъ; другіе отдыхали послѣ трудовъ, онъ складывалъ руки на груди своей и считалъ; другой, въ упоеніи счастія, спѣшилъ бы воспользоваться своими успѣхами насладиться своею силою, забыться, хотя минуту, на лаврахъ своихъ, — онъ помнилъ все одинъ разсчетъ и смотрѣлъ все на одну цѣль. Ни любовь, ни вино, ни поэзія, ни дружеская бесѣда, ни состраданіе, ни блескъ величія, ни даже слава,—ничто не развлекало его: онъ все считалъ, все шелъ впередъ, все шелъ одною дорогой и все смотрѣлъ на одну цѣль.

Вся жизнь его была одна математическая выкладка, такъ что одна ошибка въ разсчетѣ могла уничтожить все гигантское построеніе его жизни. —

Между тѣмъ, на островѣ Св. Георгія случилось происшествіе, новое посреди его однообразной жизни. Въ морѣ показалась маленькая лодка, плывшая къ острову; въ лодкѣ сидѣли два человѣка: одинъ монахъ, другой въ Европейской одеждѣ, еще никогда невиданный на островѣ. Монахъ давно былъ знакомъ островитянамъ, часто для ихъ потребностей переѣзжая со скалы на землю; но кто же другой? Черты лица его ясно обнаруживали Грека; круглая шляпа надвинута на глаза; станъ замѣтно высокій, хотя весь обвитый длиннымъ плащемъ. Съ любопытствомъ и недоумѣніемъ ожидали они его приближенія. Но когда лодка подъѣхала къ утесу, прежде Европейца монахъ одинъ взошелъ на островъ, прося собравшихся жителей, чтобы они, изъ осторожности, скрылись отъ минутнаго гостя, хотя въ ближній лѣсъ. Жители тотчасъ же исполнили совѣтъ старца; но многіе, спрятавшись въ кустахъ, съ дѣтскимъ любопытствомъ смотрѣли оттуда, ожидая, что будетъ? а нѣкоторыя дѣти легли въ густую траву недалеко отъ самой дороги. Въ томъ числѣ былъ и двѣнадцатилѣтній Александръ.

Посреди шумной Европейской жизни, кипящей разнообразіемъ перемѣнъ, мудрено понять, какъ сильно въ уединеніи зажигается любопытство человѣка самыми бездѣльными обстоятельствами, которыя сколько-нибудь нарушаютъ обыкновенный порядокъ тишины. Въ этомъ положеніи находились жители острова. Съ мужественною крѣпостію ума обнимали они самыя глубокія соображенія отвлеченнаго мышленія; но самому ничтожному явленію изъ живой дѣйствительности поддавались со всею воспріимчивостію ребенка. Отъ того, напрягая вниманіе, глядѣли они изъ-за кустовъ своихъ, какъ незнакомецъ вышелъ на островъ, какъ онъ, вмѣстѣ съ монахомъ, пошелъ по дорогѣ въ монастырь, и какъ они, улыбаясь, переглянулись между собою, когда лежавшій въ травѣ Александръ выставилъ изъ нея свою кудрявую голову, чтобы лучше разсмотрѣть пріѣзжаго, проходившаго мимо.

Подойдя къ монастырю, Европеецъ снялъ шляпу, перекрестился, но, не останавливаясь, пробѣжалъ путь свой. «Куда?» думали они.

Любопытство ихъ еще увеличилось, когда они замѣтили, что

путники избрали дорогу къ той отдаленной кипарисовой рощѣ, гдѣ таилась въ глуши кедровъ и деревьевъ небольшая пещера одного пустынника, который уже многіе годы скрывался тамъ отъ взоровъ людей, ни для кого не отворяя дверей своего подземелья.

Но когда путники подошли къ нему, и незнакомецъ постучался у входа, произнеся нѣсколько неслышныхъ имъ словъ, тогда, къ удивленію жителей, загремѣлъ внутри желѣзный затворъ, и дверь растворилась. Незнакомецъ взошелъ туда одинъ; провожавшій монахъ остановился у входа; дверь снова заперлась изнутри.

Долго оставался незнакомецъ въ подземельѣ; но жители не уставали смотрѣть туда, ожидая его появленія.

Наконецъ, показался онъ изъ пещеры, а вмѣстѣ съ нимъ и самъ отшельникъ, столько времени невидѣнный ни кѣмъ.

Старецъ былъ низкаго роста, и еще болѣе согнутый постомъ и годами; черную рясу опоясывалъ ременный поясъ, на головѣ низкій Греческій клобукъ, лицо почти заросло сѣдыми волосами; но въ свѣтлыхъ глазахъ его сіяла свѣжесть молодости, печать строгой жизни и чистоты душевной.

Отъ непривычки, можетъ быть, или отъ лѣтъ, онъ съ трудомъ, казалось, передвигалъ свои ноги; однако, опираясь на посохъ, безъ отдыха шелъ съ незнакомцемъ, провожая его до самаго берега, и что-то во всю дорогу говорилъ ему съ видимымъ жаромъ. Европеецъ молчалъ, изрѣдка отвѣчая.

Никто не слыхалъ ихъ любопытнаго разговора. Иногда только отдѣльныя слова старца долетали до тѣхъ, кто былъ ближе къ дорогѣ. Эти слова были: «Греція... Божья помощь... война... избранный человѣкъ... еще не готово... великое дѣло... тебѣ...», и тому подобныя. Иногда слышались и цѣлыя рченія, какъ напримѣръ: «государственныя дѣла мнѣ чужды, только сердце болитъ за братію.» Или же: «велика опасность отъ невѣрныхъ, не меньше отъ иновѣрныхъ, а больше отъ своихъ.» Или еще: «великое дѣло готовится; только начать его безвременно, все тоже, что стать за противниковъ.» Но самая длинная рѣчь изъ его разговора, которую удалось поймать нѣкоторымъ, была слѣдующая: «Остановись не много: посмотри

на этотъ прекрасный островъ! Еще Богъ бережетъ его; жизнь на немъ не похожа на вашу грязную; люди не знаютъ его; но если бы узнали, какъ бы удивились они! А, кажется, чему бы? Что тутъ новаго? Въ душѣ каждаго человѣка есть такой же незамѣтный, такой же потерянный островокъ, снаружи камень, внутри рай! Только ищи его. Только душа часто сама не знаетъ объ немъ. А еще хуже, если...» Тутъ старецъ повернулъ въ другую сторону, продолжая путь свой, и больше не слышно было его словъ.

Когда же дошелъ онъ до края скалы, то провожавшій монахъ былъ уже внизу и сидѣлъ въ лодкѣ, приготовляя весла. Старецъ остановился на самомъ утесѣ, и видно было, что онъ съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ поднялъ къ небу глаза, блестящіе слезами, и потомъ указалъ рукою на ту сторону, гдѣ далеко на небосклонѣ, на подобіе неясныхъ облаковъ, едва виднѣлись горы Греціи. Незнакомецъ сталъ на колѣни и поднялъ руки къ небу, какъ бы произнося какую-то клятву. Потомъ, получивъ благословеніе отъ старца, онъ скорыми шагами сошелъ къ морю, сѣлъ въ лодку и, еще разъ поклонившись отшельнику, отплылъ отъ берега.

Согбенный старецъ долго стоялъ на скалѣ, облокотившись на свой посохъ и не сводя взоровъ отъ удаляющейся лодки. Но когда она совсѣмъ скрылась изъ виду, онъ посмотрѣлъ на небо, отеръ глаза и тихими шагами пошелъ въ подземелье, гдѣ снова затворился отъ людей.

Тогда на островѣ начались разспросы и догадки; но вѣрнаго жители могли узнать только то, что незнакомецъ былъ Грекъ, который еще въ дѣтствѣ зналъ старца, жившаго прежде на Аѳонской горѣ. —

Прошло нѣсколько лѣтъ; уже на островѣ давно перестали говорить объ этомъ происшествіи; но на воображеніе молодаго Александра оно положило неизгладимое впечатлѣніе.

Все, что слыхалъ онъ прежде отъ своего отца о землѣ за моремъ, все, что читалъ онъ въ его книгахъ о жизни людей и народовъ, все разомъ проснулось въ его умѣ, все заиграло новою жизнью и скипѣлось въ одну пеструю, блестящую, волшебную картину, при одномъ взглядѣ на странную заморскую

одежду, на стройную походку чужеземца, на его Европейскія движенія.

«Кто былъ этотъ Грекъ?» — думалъ онъ. — «За чѣмъ пріѣзжалъ онъ сюда? Кто открылъ ему нашу тайну? Какъ пустилъ его къ себѣ старецъ-отшельникъ? Что значитъ ихъ таинственный разговоръ? О какомъ *великомъ дѣлѣ* они говорили?... О, много плѣнительнаго, тайнаго и заманчиваго должно скрываться въ разнообразной жизни людей, отдѣленныхъ отъ насъ этимъ грустнымъ моремъ! Что наша бѣдная жизнь въ сравненіи съ ихъ блестящею жизнію? Вялый, болѣзненный сонъ. Нѣтъ, хуже сна! Мои сны живѣе моей жизни. Они уносятъ меня въ тѣ далекія мѣста, о которыхъ читалъ я въ книгахъ моего отца; тамъ одна минута богатѣе для сердца, чѣмъ годы здѣсь. И не уже ли не должно жить вмѣстѣ со всѣмъ созданнымъ человѣчествомъ, дѣлить его труды и радости, помогать ему, погибать съ нимъ въ бѣдахъ, утопать въ наслажденіяхъ? Боже мой! Удастся ли мнѣ когда-нибудь исполнить желанія моего сердца?»

Это стремленіе въ другой міръ за моремъ безпрестанно увеличивалось въ душѣ молодаго человѣка, усиливалось чтеніемъ, разговорами съ отцомъ, уединенными мечтаніями, препятствіями и всѣми даже равнодушными обстоятельствами жизни, которыя обыкновенно поджигаютъ воображеніе больное, зараженное невозможностью. Шли годы; но это чувство выростало въ немъ еще сильнѣе и, наконецъ, сдѣлалось его господствующимъ состояніемъ духа.

Такъ достигъ онъ *своего* двадцатилѣтняго возраста. —

А между тѣмъ просвѣщенный міръ, которому завидовалъ Александръ, лежалъ еще скованный подъ желѣзною пятою своего властелина. Необъятно было его могущество и (удивительно!) все оно было явнымъ созданіемъ его головы.

Но въ головѣ его, еще отъ рожденія, одна мысль задавила всѣ другія: мысль блестящая и тяжелая, какъ царскій вѣнецъ; удивительная, какъ Египетская пирамида; но сухая и безплодная, какъ голый утесъ посреди океана, и холодная, какъ глубокій снѣгъ сѣвера, и страшно-разрушительная, какъ бы пожаръ огромной столицы, и безцвѣтная, какъ музыка барабановъ. И

справедливое Провидѣніе послало ему *судьбу* его, по *мысли* его.

«За чѣмъ, — думалъ Александръ, смотря на далекія горы Греціи: — за чѣмъ радовался отецъ мой, когда я изучалъ чужеземные языки? За чѣмъ давалъ онъ мнѣ свои ядовитыя книги? Онѣ отравили мнѣ душу соблазнительнымъ представленіемъ невозможной для меня жизни; онѣ нашептали мнѣ мысли плѣнительныя и неотвязныя; онѣ, какъ волшебный коверъ, уносятъ меня въ страны далекія, кипящія новостью и опасностями, заманчивыя счастьемъ разнообразія, бурею душевныхъ волненій и блескомъ художественныхъ хитростей. Все прекрасно, все мнѣ нравится, все плѣняетъ меня въ этихъ недоступныхъ земляхъ; даже пороки ихъ наполняютъ меня любопытствомъ: ихъ неразумныя слабости вмѣстѣ съ гигантскими созданьями ума; ихъ необузданныя страсти посреди усильнаго стремленія къ устройству; ихъ легкомысліе, ихъ яркія искусства, ихъ внутреннія противорѣчія, пестрое просвѣщеніе, ломкія связи, быстрые перевороты, ежеминутная дѣятельность для близкаго настоящаго и вмѣстѣ странная безпечность о будущемъ, — все это мнѣ ново, все мудрено и заманчиво.»

«Я чувствую, я понимаю, что наша жизнь на островѣ и лучше, и чище, и разумнѣе ихъ, и должна бы, кажется, быть счастливѣе; но самъ не знаю отъ чего: только въ ихъ жизни я вижу счастіе, а здѣсь все безцвѣтно и пусто.»

«Не нахожу я отрады въ кругу семьи моей, ни въ дружескихъ собраніяхъ нашего общества, ни въ опредѣленныхъ занятіяхъ дня, ни даже въ свободныхъ сновидѣніяхъ ночи. Всюду преслѣдуетъ меня безпокойство невозможнаго желанія, вездѣ однѣ, неотвязныя мысли, вездѣ тоска и скука, и мечта все объ одномъ!»

«Нѣтъ! не могу я больше выносить это мучительное состояніе! Во что бы то ни стало, переплыву я это зеленое море, отыщу тамъ земли невиданныя, но давно знакомыя, брошусь въ объятья ихъ бурной жизни, утону въ ихъ отрадныхъ волненіяхъ!»

«Жаль мнѣ тебя, добрый отецъ мой! Много надеждъ положилъ ты на сына своего! Жаль тебя, бѣдная мать! Все твое

счастье во мнѣ! Перенесешь ли ты тяжелую разлуку? И ты, прекрасная Елена. . которую они готовили мнѣ въ подруги счастія... за чѣмъ открыла ты невинное сердце безвременнымъ внушеніямъ? Что будетъ съ тобою?»

«Милыя, дорогія сердцу созданія! Душа разрывается при мысли объ васъ. За чѣмъ судьба поставила мое сердце въ это несносное противорѣчіе?»

«Самъ не знаю, что во мнѣ дѣлается; я не властенъ надъ моими чувствами, не властенъ болѣе надъ поступками; чужая сила влечетъ меня неодолимо, можетъ быть на погибель: будь, что будетъ!»

«Кто это пробирается между миртами? Сквозь темную зелень блеснуло бѣлое покрывало. Это ты, Елена? Пойди ко мнѣ, милая сестра моя; скажи мнѣ слово утѣшенія изъ тихой души твоей. Безпокойныя мысли встревожили меня.»

— «Не въ первый разъ замѣчаю я, милый братъ, — сказала Елена, — что какое-то скрытое горе лежитъ у тебя на сердцѣ. Давно собиралась я просить тебя, чтобы ты раздѣлилъ его со мною. Только страхъ меня удерживалъ, чтобы словами дружбы еще больше не растревожить твоей непонятной тоски. Теперь, благодарю тебя! теперь я счастлива, что ты самъ ищешь моего участія.» —

«Елена! Посмотри туда, на край неба: видишь ты эти далекія, чуть замѣтныя облака? Знаешь ли, что значатъ эти облака?»

— «Знаю: это горы.» —

«Да, Елена! это горы Греціи! Знаешь ты, что тамъ живутъ люди?»

— «Могу ли я не знать этого! Они убили моего отца!» —

«Убили отца! Не всѣ были убійцы. Тамъ были и друзья отца твоего, съ кѣмъ онъ жилъ вмѣстѣ, дѣлилъ радость и горе, заботы и опасности, съ кѣмъ вмѣстѣ готовилъ надежды къ избавленію христіанъ, вмѣстѣ думалъ дѣйствовать, понимаешь ты? *дѣйствовать!*»...

— «Твой отецъ былъ ему лучшимъ другомъ.» —

«Елена! тамъ жизнь другая. Тамъ все кипитъ, тамъ все ярко, все живо. Тамъ день не похожъ на другой. Тамъ есть

опасность, есть и надежда. Тамъ впереди жизни — неизвѣстное; сзади—воспоминаніе. Тамъ жизнь не машина, напередъ разсчитанная. Елена! Не уже ли ни во снѣ, ни въ мечтахъ тебѣ никогда не хотѣлось *туда*?»

— «Братъ мой! Тамъ зарѣзана моя мать. Тамъ погибли мои родные. Здѣсь твоя семья окружила меня любовью и счастьемъ. Могу ли я понять это желаніе? Братъ мой, другъ мой! Оставь свои далекія мысли. Возврати твою прекрасную душу на этотъ счастливый островъ, въ тихій кругъ твоей семьи, также счастливой прежде! Посмотри, какъ твоя черная задумчивость убиваетъ твоего прекраснаго отца. Давно ужь онъ лишился своего свѣтлаго спокойствія, глядя на твою тоску. А мать твоя, всякій разъ, когда ты уйдешь на этотъ берегъ, она не осушаетъ глазъ своихъ. Смотри, какъ горько они измѣнились оба въ это тяжелое время. Братъ милый! Сжалься надъ нами!» —

Много еще сердечныхъ словъ и дружескихъ убѣжденій нашла Елена въ душѣ своей, уговаривая его возвратиться къ прежней, спокойной жизни. Но, наконецъ, она замолчала, замѣтивъ, что онъ уже давно ея не слушаетъ. Тогда на лицѣ ея выразилась живая, глубокая скорбь, — скорбь дружбы, теряющей друга, тоска любви, нераздѣленной и презрѣнной. Неподвижно устремились на него ея большіе, черные глаза; но въ нихъ не было слезъ; они сверкали тѣмъ сухимъ блескомъ страданія, которыі является во взорахъ человѣка при послѣдней судорогѣ сердца когда или жизнь отходитъ, или счастье жизни гибнетъ навѣки.

Между тѣмъ онъ стоялъ задумавшись, смотря на далекія горы Греціи.

Но въ этотъ день совершилось важное событіе въ домѣ Палеологовъ.

Давно уже замѣтили они задумчивость, тоску и, наконецъ, совершенное уныніе своего сына. Не трудно было имъ узнать причину его страданія. Само собою разумѣется, что они употребили всѣ средства къ его излѣченію. Увѣщанія, совѣты, прямые и косвенные разговоры, всякаго рода убѣжденія, приведены были въ дѣйствіе; но все безъ успѣха. Непонятная

страсть его только увеличивалась и особенно развилась въ это послѣднее время. Наконецъ, убѣдившись, что всѣ старанія ихъ безполезны, что для него уже невозможно счастіе въ тихомъ, семейномъ кругу, по крайней мѣрѣ прежде, чѣмъ онъ насытитъ свое болѣзненное любопытство, Палеологъ рѣшился самъ помогать ему. Уже нѣсколько разъ въ собраніяхъ народныхъ, тайно отъ самого Александра, просилъ онъ ихъ общество позволить ему отправиться въ другія земли. Общество не соглашалось, полагая, и не безъ основанія, что страстное любопытство молодаго человѣка не стоитъ опасности цѣлаго острова, могущаго погибнуть отъ одной его неосторожности, отъ одного необдуманнаго слова. Но неотступныя просьбы Палеолога, его ручательства и, наконецъ, его клятвы за сына, поколебали твердость его друзей. Они начали склоняться, хотя съ неудовольствіемъ, на отправленіе Александра, и въ этотъ день назначили быть послѣднему собранію, чтобы положить окончательное рѣшеніе этого дѣла.

Олимпіада Палеологъ раздѣляла мысли и намѣренія своего мужа; но сердце ея, противъ убѣжденій мужа, все еще не могло оторваться отъ утѣшительныхъ ожиданій. Она думала, что сынъ ея еще можетъ возвратиться отъ своей страсти; что онъ не рѣшится оставить ихъ, разорвать ихъ счастіе, на немъ основанное; что его удержитъ благоразуміе, привязанность къ нимъ и, можетъ быть, любовь къ Еленѣ, любовь, которую она предполагала въ немъ больше по собственному желанію, нежели по какимъ-нибудь особеннымъ замѣчаніямъ. Потому, въ то время, когда отецъ пошелъ на послѣднее совѣщаніе островитянъ, мать, еще не теряя надежды, послала Елену на берегъ острова, поручивъ ей употребить послѣднія увѣщанія дружбы надъ больнымъ сердцемъ ея сына.

Она тѣмъ больше ожидала отъ разговора Елены, что послѣдняя до сихъ поръ еще никогда не говорила съ Александромъ объ этомъ предметѣ.

Долго Олимпіада Палеологъ оставалась одна, въ робкомъ ожиданіи. То выходила она на крыльцо смотрѣть, не йдетъ ли мужъ съ тяжелою вѣстію, или Елена съ радостію. То, возвращаясь внутрь дома, она спѣшила заняться какимъ-

нибудь хозяйственнымъ устройствомъ, стараясь заглушить въ себѣ безполезное волненіе. То вдругъ, обливаясь горькими слезами, она бросалась передъ Распятіемъ, произнося самыя пламенныя молитвы. То опять выходила слушать, не йдутъ ли съ вѣстію. Безпокойство ея все больше усиливалось. Она поперемѣнно придумывала себѣ то отчаянныя, то радостныя мысли. Наконецъ, утомившись внутренними усиліями, она сѣла на кресла подъ раскрытымъ окномъ и неподвижно осталась въ этомъ положеніи, не замѣчая теченія времени. Вдругъ кто-то стукнулъ въ двери. Дрожь пробѣжала по ея членамъ. «Это Елена! — думала она — вѣрно добрая вѣсть, вѣрно радость ! И какъ могла я мучиться такъ напрасно! Какъ могла я сомнѣваться въ немъ ! Елена, другъ мой, иди!» Эти мысли разомъ и съ быстротою молніи пробѣжали въ ея сердцѣ. И по какому-то закону предустановленнаго разногласія души съ жизнію, закону, который чаще повторяется, чѣмъ обыкновено думаютъ, она всего больше предавалась надеждѣ, отворяя дверь печальному извѣстію.

Такъ въ изнурительной болѣзни, въ самую послѣднюю минуту жизни, является неожиданная увѣренность въ выздоровленіи.

Но недолго оставалась она въ заблужденіи. Въ двери взошелъ не отецъ,—взошла Елена; но мертвая блѣдность ея лица, но ея сильно открытые глаза и какая-то странная окаменѣлость во всѣхъ чертахъ, слишкомъ ясно высказывали истину. Бѣдная мать не сказала, не спросила ничего; но опустила голову и возвратилась на прежнее мѣсто. Елена также не нарушала молчанія.

Возвратился Александръ; но и тогда никто не начиналъ разговора.

Между тѣмъ солнце сѣло.

Наконецъ, пришелъ и отецъ: «рѣшено, —сказалъ онъ женѣ своей—ему позволено ѣхать.»

«Александръ! мнѣ удалось, наконецъ, получить согласіе нашего общества. Завтра ты отправишься отсюда. Здѣсь, я вижу, ты счастливъ быть не могъ. Но смотри теперь, смотри на твою матъ, смотри на Елену; видишь ты, чего намъ

стоитъ эта разлука? Горе тебѣ, если когда-нибудь забудешь ты это чувство, или сдѣлаешься его недостойнымъ! Богъ съ тобой! Надъ тобою будетъ всегда мое благословеніе и моя молитва.»

«Александръ! Я далъ клятву за тебя, что тайна наша умретъ въ твоемъ сердцѣ. Ты, я знаю твердо, предателемъ не будешь. Только помни, что малѣйшая неосторожность здѣсь будетъ предательство.»

«Помни нашу вѣру, наши правила, нашу любовь.... но къ чему говорить? Теперь слова безполезны. Одно не забудь; что твоя перемѣна насъ убьетъ; доброе извѣстіе о тебѣ еще можетъ утѣшать. Теперь пойдемъ со мной!»

Въ волненіи неожиданнаго чувства смотрѣлъ Александръ на отца, на мать, на Елену, и, съ недоумѣніемъ повинуясь, пошелъ за Палеологомъ.

Они вышли изъ дому; уже стало темно; они пошли по дорогѣ къ померанцевой рощѣ; взошли въ глубину ея; тамъ, у одного замѣтно изогнутаго дерева, стояли уже приготовленныя двѣ лопаты: одну взялъ Палеологъ, другую Александръ, и начали рыть землю; скоро подъ лопатой зазвенѣлъ металлъ; они вынули желѣзный сундукъ; Палеологъ раскрылъ его и сказалъ:

«Здѣсь хранятся всѣ мои сокровища, привезенныя изъ Греціи. Вотъ золото; вотъ камни драгоцѣнные. Я берегъ ихъ для другой цѣли... Богу не угодно было... Возми ото всего половину. Знай, у тебя будетъ большое богатство, рѣдкое между людей. Но знай также, что каждая деньга, которую ты бросишь безъ нужды, отнимется отъ святаго дѣла. Нѣтъ,—не отговаривайся! Ты не знаешь еще, что такое деньги, не понимаешь цѣны твоего отреченія. Я хочу, чтобы ты взялъ. Останется, привезешь назадъ.»

Опять зарыли сундукъ; заровняли землю; наложили дернъ; взяли лопаты и возвратились домой.

На другой день, рано поутру, всѣ вмѣстѣ пошли они въ церковь молиться объ отъѣзжающемъ. Весь народъ собрался туда участвовать въ молитвахъ за измѣняющаго имъ юношу. Но провожать его съ берега не пошелъ никто.

Молча шла грустная семья отъ церкви къ мѣсту отплытія. Тамъ въ лодкѣ уже ждалъ ихъ монахъ, который долженъ былъ перевезти Александра.

Тяжело было его прощанье съ матерью; словами этого чувства выразить нельзя. Когда же онъ сталъ прощаться съ отцомъ, то, обнявшись крѣпко, они громко зарыдали оба и долго не могли оторваться. Наконецъ Палеологъ благословилъ его въ послѣдній разъ, и потомъ отвернулся въ сторону, стараясь остановить излишество сердечныхъ движеній.

Но когда онъ подошелъ проститься съ Еленой, на лицѣ его выражалось столько страданія, что бѣдная мать его не могла вынести этого виду и закрыла руками глаза свои.

«Прощай! — сказала ему Елена, — прощай, братъ мой, другъ мой! Можетъ быть, навсегда! Будь счастливъ! Цѣлую жизнь я стану молить Бога объ этомъ. Все, что мнѣ дорого на землѣ, всѣ мои надежды на счастье, увозишь ты съ собою. Теперь моя жизнь, разорванная, блѣдная, будетъ согрѣта только мыслію о тебѣ. Да! для чего мнѣ скрывать долѣе то, что такъ сильно, такъ вѣчно живетъ въ душѣ моей? Можетъ быть, въ послѣдній разъ смотрю я на тебя.... Мой милый! Прими-жь на разлуку мое первое признанье въ любви, пожизненной и замогильной! Прими мою клятву, передъ лицомъ Неба, въ вѣчности этого святаго чувства!... Ради Бога, не говори мнѣ ничего!... Я не хочу связать тебя словомъ, которое, можетъ быть, вырветъ у тебя состраданіе! Одну только просьбу, прошу я, исполни, изъ дружбы къ той, кого ты называешь сестрою.»

«Ты знаешь этотъ рубинъ на моей золотой цѣпочкѣ? Я съ дѣтства не разставалась съ нимъ. Его нашли въ моей колыбели, когда меня, одну изъ всей семьи, Богъ знаетъ для чего, спасли отъ убійства. Этотъ рубинъ, я это знаю сердцемъ, мнѣ положила подъ подушку моя мать въ день смерти, и положила не безъ молитвы, не безъ желанія.... Можетъ быть, суевѣріе, можетъ быть, обманъ сердца, но я думаю, я чувствую, я увѣрена, что въ немъ есть особенная хранительная сила; возми-жь его! Если сколько-нибудь дорога тебѣ память обо мнѣ, то обѣщай мнѣ, другъ мой, не снимать его съ груди твоей никогда!»

И между тѣмъ, какъ она говорила, слезы ея остановились, грудь сильно волновалась, глаза блестѣли, недавняя блѣдность исчеала, и все лицо загорѣлось яркимъ румянцемъ.

Еще разъ обнялъ Александръ отца и мать. Всѣ вмѣстѣ сошли внизъ со скалы, чтобы проводить его до самой лодки. Онъ сѣлъ; монахъ отчалилъ отъ берега; море заплескалось подъ веслами; лодка плыла все далѣе и далѣе отъ острова. Когда же, наконецъ, она стала едва замѣтною, черною точкою на небосклонѣ, тогда трое оставшіеся бросились въ объятія другъ къ другу и долго плакали.

ГЛАВА II.

Монахъ, который везъ Александра, во всю дорогу не говорилъ ни слова. На другой день лодка ихъ пристала къ одному маленькому острову Архипелага. Тамъ также стоялъ монастырь, но вмѣсто всего населенія жили нѣсколько монаховъ, занимавшихся рыбною ловлею. На всей поверхности земнаго шара это была единственная точка, имѣвшая прямое сообщеніе съ скалою Св. Георгія.

Молчаливый монахъ вышелъ на берегъ вмѣстѣ съ Александромъ, привелъ его къ настоятелю, которому вручилъ какое-то письмо, и отправился назадъ въ своей маленькой лодочкѣ.

Пробывъ нѣсколько дней на новомъ мѣстѣ, Александръ отправился оттуда, уже въ большой и безопасной шлюпкѣ, на другой островъ, потомъ на третій, и, наконецъ, достигъ твердой земли Греціи.

Но, осматривая родину своихъ предковъ, онъ пораженъ былъ тяжелымъ унынiемъ. «Гдѣ же — думалъ онъ, — гдѣ мой народъ, просвѣтитель всеѣленной, хранитель Православія, образецъ образованности?» Напрасно искалъ онъ. Вокругъ него были рабы невѣрныхъ. Но плоды рабскаго униженія были гнуснѣе самаго рабства: обманъ, коварство, разбой, измѣна, спѣсь, подлость, алчность въ корысти, невѣжество, предательство, лукавство, душевная грязь и вонь. И эти варвары—были Греки!

Ни для кого, можетъ быть, такое разногласіе низкой дѣйствительности съ великимъ именемъ не могло быть такъ ощутительно, какъ для него, новаго юноши, который пришелъ на землю прямо изъ чистаго острова. Не одно настоящее видѣлъ онъ въ странахъ и людяхъ; ему все прошедшее казалось присутственнымъ; въ его книгахъ, въ его мечтаньяхъ, древнее и новое было равно близко, равно живо, сливаясь въ одну нераздѣльную картину міра, въ одну недослушанную сказку о Царѣ земли и его приключеніяхъ.

Однако, не всѣ слѣды прошедшаго изгладились съ лица нѣкогда славной земли. То же небо, тѣ же рѣки, тѣ же горы, кой-гдѣ живыя развалины, и самая почва земли, составленная изъ праха героевъ. Языкъ измѣнился, но звуки родные, близость сына съ отцомъ. Даже въ самомъ народѣ, не смотря на мерзость его униженія, еще сохранились нѣкоторые признаки прежняго достоинства. Часто неожиданно, посреди невѣжества, вспыхивала чистая любовь къ прекрасному; изъ глубины варварства вдругъ блестѣло какое-то врожденное сочувствіе съ высокимъ, а въ трудную минуту неустрашимость и рѣшительность. Нѣтъ! несовсѣмъ еще погибъ народъ; въ немъ живо еще зерно воскресенія: его святая глубокая привязанность къ вѣрѣ. Это чувство, для понимающаго, имѣетъ значеніе богатое: вѣрный залогъ неисчислимыхъ силъ, ожидающихъ пробужденія, силъ неодолимыхъ, только прикрытыхъ цѣпями, зарытыхъ въ невѣжествѣ, забытыхъ равнодушными, посторонними зрителями, безсмысленными клеветниками погибающаго.

Но въ это время въ Греческомъ народѣ особенно замѣтно было еще новое, необыкновенное напряженіе, ожиданіе чего-то неопредѣленнаго, небывалое нетерпѣніе противъ своихъ повелителей, между собою странное, неусловленное согласіе, мгновенная догадливость безъ объясненія. Часто на площади или на улицѣ, собравшись въ толпу передъ окнами своихъ господъ, они пѣли какія-то новыя пѣсни про запрещенную любовь къ отечеству, про сладость мщенія, про торжество креста, про счастіе независимости, и все это вмѣстѣ съ прямыми, восторженными проклятіями невѣрныхъ. А невѣрные властители ихъ равнодушно слушали музыкальные звуки, не

понимая словъ, и безпечно курили табакъ, любуясь согласнымъ пѣньемъ своихъ рабовъ.

Тогда Александръ началъ догадываться, о какомъ *великомъ дѣлѣ* говорилъ старецъ на островѣ.

Но странное устройство человѣческаго сердца! На островѣ Александръ страдалъ желаніемъ отъѣзда; уѣхавъ, онъ мучился мыслію объ островѣ. Какъ будто далекое ближе къ душѣ, чѣмъ близкое; какъ будто мысль сильнѣе привлекается отсутствующимъ, чѣмъ окружающимъ настоящимъ.

Но чувства его къ Еленѣ были еще непонятнѣе. Вмѣстѣ съ нею провелъ онъ всю жизнь отъ самаго дѣтства, и съ перваго дѣтства до послѣдняго часа разлуки онъ любилъ ее одинакою тихою любовью, тѣмъ свѣтлымъ стремленьемъ сердца, которымъ любятъ сестру, друга, прекрасное созданіе Творца. Но въ минуту прощанья, мысль: «можетъ быть навсегда!» вдругъ раскрыла передъ нимъ незамѣченныя прежде сокровища ея существа. Какъ будто повязка снялась съ его зрѣнія. Тутъ въ первый разъ испыталъ онъ новое чувство; въ первый разъ понялъ, что въ любви прекраснаго созданія есть счастіе невыразимое; что есть другая краска для жизни; что въ согласіи душъ есть существенность теплая, полная для души; что, можетъ быть, вся жизнь на землѣ не стоитъ одной минуты этого согласія; что *для одной* души, *для одного* любящаго созданія, между всѣми милліонами другихъ существъ, есть только *одна* другая душа, *одно* другое созданіе, ему вполнѣ отвѣчающее; что эта единственная — теперь передъ нимъ, теперь подаетъ ему руку и, можетъ быть, въ послѣдній разъ, и онъ самъ легкомысленною прихотью разрываетъ это прекрасное, теперь близкое, неуловимое послѣ, это таинственное счастье, Самимъ Богомъ для нихъ приготовленное.... Всѣ эти думы, не раздѣляясь на мысли, но вмѣстѣ, какъ одно чувство, легли ему на сердце тяжело и сладко. И онъ прощался съ Еленой, самъ не понимая для чего. Еще одно мгновенье, онъ готовъ былъ остаться. Но новость чувства смутила его. Безъ мысли продолжалъ онъ начатое. Шелъ къ лодкѣ, какъ будто къ мѣсту казни; голова его кружилась, память замерла, сердце упало, но не меньше того онъ уѣхалъ.

Есть глубокая, еще неизслѣдованная тайна въ нѣкоторыхъ минутахъ человѣческой жизни. Отъ чего, напримѣръ, минута перваго свиданья кладетъ иногда рѣзкое, неизгладимое клеймо на всѣ будущія отношенія двухъ людей? Отъ чего въ минуту смерти человѣкъ видитъ въ протекшей жизни своей то, чего никогда не видалъ въ ней прежде? Отъ чего иногда въ минуту душевной пустоты и разсѣянности, вдругъ, ни откуда, является человѣку желанная мысль, которую прежде онъ долго и напрасно искалъ въ постоянныхъ трудахъ размышленія? Отъ чего въ минуту сильнаго горя, вдругъ иногда мысль отрывается отъ своего предмета, разбѣгаясь, увлекаясь самыми мѣлочными явленіями, забавляясь игрою свѣта на зелени, шумомъ вѣтра, переливами тѣней, узорами мороза на стеклахъ, стукомъ колесъ по мостовой, жужжаньемъ мухи?

Но минута прощанья особенно богата сердечными откровеньями. Часто не подозрѣваетъ человѣкъ, какія блага хранятся вокругъ него, и съ удивленіемъ узнаетъ объ нихъ только въ тотъ часъ, когда долженъ сказать имъ: *прости!* Сколькихъ чувствъ, сколькихъ понятій, сколькихъ радостей лишился бы онъ, еслибъ не зналъ утратъ, или не боялся ихъ! Можетъ быть, для того въ здѣшнемъ мірѣ все такъ перемѣнчиво, такъ не твердо, такъ неуловимо-минутно, что сердце человѣческое не умѣетъ цѣнить вѣчнаго, наслаждаться неизмѣннымъ и вѣчнымъ, какъ только больной чувствуетъ цѣну здоровья, и, только выздоравливая, наслаждается этимъ чувствомъ, и забываетъ здоровый. Опять законъ *предустановленнаго разногласія души съ жизнію*....

Объѣхавъ всю Грецію (такъ называлъ Александръ Европейскую Турцію, по старой памяти), осмотрѣвъ все замѣчательное на землѣ и на островахъ, онъ особенно старался вникнуть въ жизнь посѣщаемыхъ имъ людей, принять участіе въ ихъ занятіяхъ, оцѣнить причины ихъ дѣятельности, смыслъ и характеръ трудовъ, цѣли ихъ стремленій, и больше всего: понять то *основное чувство*, которое каждый носитъ въ глубинѣ души, какъ *общее слѣдствіе* его борьбы съ жизнію, какъ *итогъ бытія*. Но здѣсь всѣ ожиданія его были обмануты. Вмѣсто сочувствія съ жизнію людей, въ сердцѣ своемъ нашелъ онъ:

къ нимъ только чувство сожалѣнія. Поступки ихъ казались ему безпричинными, мысли недодуманными, намѣренія смѣшанными, чувства невѣрными, жизнь изорванною, взаимныя отношенія то жалко безразсудными, то страшно предательскими.

Но не всѣ же люди въ этомъ искаженномъ положеніи (думалъ онъ), и съ этою мыслію отправился въ Константинополь, чтобы тамъ сѣсть на корабль и плыть на Западъ. Но въ Константинополѣ прежде всего пошелъ онъ къ патріарху получить отъ него благословеніе.

Къ удивленію Александра, патріархъ уже былъ предувѣдомленъ объ немъ. Впрочемъ, Александръ не меньше удивленъ былъ и его необыкновенною простотою обращенія, посреди всеобщей напыщенности Грековъ. Онъ принялъ его въ особой комнатѣ, съ большимъ участіемъ разспрашивалъ объ островѣ, говорилъ о Греціи, о Европѣ, далъ нѣсколько полезныхъ совѣтовъ, и между прочимъ сказалъ: «По несчастію, твоя правда, сынъ мой! Человѣкъ искаженъ въ нашемъ бѣдномъ отечествѣ; но въ просвѣщенныхъ земляхъ онъ не лучше. Такихъ людей, такой жизни, какъ у васъ на островѣ, не найти нигдѣ! Впрочемъ, посмотри самъ; опытъ убѣдительнѣе. Да! и въ другомъ замѣчаніи ты не ошибся: только, кажется, въ народѣ нашемъ готовится что-то новое, есть какое-то броженіе, которое предвѣщаетъ перемѣну... Но я не знаю, радоваться ли этому, или бояться? Если что будетъ, то будетъ не безъ крови; а кто знаетъ, на пользу ли? Прежде всѣхъ наружныхъ перемѣнъ, я желалъ бы видѣть перемѣну внутреннюю, которая возможна при всѣхъ обстоятельствахъ и, можетъ быть, даже и легче при тяжелыхъ. Но, авось, Богъ не оставитъ Своего народа, который и безъ того много, много страдалъ! Видишь ли: вся бѣда отъ того, что просвѣщеніе теперешнее выросло подъ вліяніемъ ереси. Отъ того заронилась въ него ложь, а ложь привела къ невѣрію. Что-жь вышло? Истина и умъ стали врагами. Чего тутъ ждать? Но самъ увидишь! Ахъ! не то бы было, если бы нашу православную Грецію не задавили невѣрные! Все воля Божія: Онъ знаетъ лучше, куда и какъ вести человѣка и человѣчество! Наше дѣло только молиться, чтобы Онъ смягчилъ праведный гнѣвъ Свой и помиловалъ Свой бѣдный народъ.

Впрочемъ, мы страдаемъ, мы убиты; но святое дѣло, но святая Церковь—она жива и будетъ жить. Не одни мы православные: подлѣ насъ есть братья наши, которые составляютъ великое государство, богатое надеждами. Прежде и они задавлены были невѣрными; но теперь проснулись, отдохнули, и для человѣчества готовится у нихъ новая судьба. Правда, и къ нимъ уже нашли дорогу ослѣпленіе, ереси и заблужденія невѣрія, и у нихъ уже святая правда и умное просвѣщеніе начинаютъ приходить въ разногласіе; но Провидѣніе не обманетъ: придетъ время, Оно пошлетъ имъ людей, которые поймутъ истину, и тогда все перемѣнится. Тогда, можетъ быть, и намъ можно будетъ надѣяться воскреснуть для жизни.... Если же у насъ случится что-нибудь прежде.... тогда я прошу Бога объ одномъ: чтобъ далъ мнѣ умереть, исполняя долгъ мой, и умереть съ надеждою, не видавъ обмана и новой гибели моего народа!»

«Впрочемъ, это еще не скоро. Покуда прощай! Да благословитъ тебя Богъ. Мы не забудемъ тебя въ молитвахъ нашихъ, а ты вспомни иногда обо мнѣ. Вотъ тебѣ паспортъ: онъ будетъ тебѣ нуженъ; я нарочно приготовилъ его для тебя прежде. Вотъ еще письма отъ многихъ здѣшнихъ фанаріотовъ и банкировъ ко многимъ важнымъ лицамъ въ Европѣ. Они тебѣ пригодятся. Чѣмъ скорѣе ты узнаешь, что тебѣ любопытно знать, тѣмъ скорѣе излѣчишься отъ любопытства. Оставайся здѣсь какъ можно меньше; долго жить здѣсь тебѣ не безопасно: лучше сядь-ка на первый корабль—и съ Богомъ! Когда же воротишься на родину,—а ты вѣрно воротишься,—можетъ быть, меня уже не будетъ на свѣтѣ; ты не забудь, однако, что былъ старикъ, который предсказывалъ тебѣ разувѣреніе въ мысляхъ и возвращеніе назадъ, и который отпустилъ тебя съ благословеніями и съ любовью.»

Но сѣсть на корабль въ эту минуту было не совсѣмъ легко. Случилось такъ, что кораблей въ Константинополѣ стояло не много, а попутчиковъ явилось вдругъ такое множество, что некуда было помѣстить ихъ. Это необыкновенное стремленіе въ Европу произведено было перемѣною политическихъ обстоятельствъ на Западѣ. Съ трудомъ и за дорогую цѣну могъ

Александръ отыскать себѣ мѣсто на одномъ купеческомъ кораблѣ, который хотя шелъ въ Италію, однако на пути своемъ долженъ былъ сдѣлать еще многія уклоненія.

На кораблѣ было много народу всякихъ націй и сословій. Были Турки, Греки, Итальянцы, Нѣмцы, Французы и Поляки. Были также и женщины — между прочимъ, двѣ дамы, принадлежавшія къ одному изъ Европейскихъ посольствъ въ Константинополѣ. Онѣ возвращались въ свое отечество, соскучивъ жизнію на Востокѣ: одна была баронесса *Вес....*, другая ея племянница, графиня *Эльм....* Одна молодая, прекрасная; обѣ знатнаго рода и сильныхъ связей. Онѣ скоро замѣтили Александра. Его молодость, его прекрасная наружность, живой умъ, непринужденный разговоръ, явная неопытность жизни и чистота воображенія понравились имъ. Но его рѣдкія познанія, пріобрѣтенныя посредствомъ уединенія, книгъ и страсти, заставляли предполагать въ немъ необыкновенное, тщательное воспитаніе, и, слѣдовательно, обнаруживали еще и знатность происхожденія, и богатство, и всѣ тѣ преимущества, которыя образованный міръ привыкъ почитать высшими достоинствами, называя ихъ пустою случайностью.

Обѣ дамы показывали ему живое участіе, и скоро онъ сдѣлался почти неразлучнымъ ихъ собесѣдникомъ на кораблѣ. Онѣ разсказывали ему о чудесахъ своего отечества, о жизни образованныхъ народовъ, о удовольствіяхъ избраннаго общества, о блескѣ баловъ, о волшебствѣ театра, о свободѣ и достоинствѣ, о законахъ чести, о правилахъ поединка, о преимуществахъ красоты и пола женщинъ, о слабостяхъ нѣкоторыхъ, о замѣчательныхъ происшествіяхъ, о нѣкоторыхъ смѣшныхъ и странныхъ приключеніяхъ, о Римѣ, о вѣрѣ, о своей значительности при Дворѣ, о своемъ знаменитомъ родствѣ, богатыхъ владѣніяхъ и загородномъ замкѣ, и великомъ Наполеонѣ, о кофеѣ съ сахаромъ и молокомъ — однимъ словомъ, обо всемъ, что, по ихъ мнѣнію, должно было ему казаться новымъ и любопытнымъ, или могло дать ему высокое мнѣніе объ нихъ. Онъ слушалъ, спрашивалъ, дѣлалъ свои замѣчанія,—и время проходило непримѣтно.

Путешествіе ихъ продолжалось довольно долго: корабль, для нѣкоторыхъ торговыхъ оборотовъ, долженъ былъ приставать къ островамъ, гдѣ оставался по нѣскольку дней; а къ тому же и противный вѣтеръ дѣлалъ плаваніе весьма медленнымъ.

Графиня обладала такого рода красотою, которую обыкновенно называютъ величественною, но которую скорѣе можно назвать чувственною красотою. Высокій ростъ, полнота и стройность, голубые глаза, полузакрытые черными рѣсницами, маленькое лицо, выраженіе котораго безпрестанно измѣнялось, маленькій ротикъ, носъ, немножко поднятый къ верху съ видомъ беззаботности и легкомыслія, въ движеніяхъ гордое выраженіе достоинства, вмѣстѣ съ какою-то роскошною мягкостью, голосъ чистый и бархатный, во всемъ существѣ сліяніе нѣжности и силы, величія и слабости. Однимъ словомъ, графиня принадлежала къ числу тѣхъ женщинъ, которыхъ можно и любить и ненавидѣть, которыхъ одно присутствіе дѣйствуетъ электрически даже на равнодушныхъ, о которыхъ воспоминаніе хранится въ отдѣльномъ ряду воображенія, и которыхъ ласки, какъ говорилъ N..., могутъ задушить живаго и одушевить мертваго.

Знакомство ея съ Александромъ становилось всякій день ближе и дружественнѣе. Но многіе изъ ихъ сопутниковъ на кораблѣ, замѣчая ея короткое обращеніе съ счастливымъ юношей, уже начинали предполагать между ними гораздо болѣе согласія, чѣмъ было въ самомъ дѣлѣ.

Однажды корабль пристalъ къ одному изъ острововъ Архипелага. Попутчики разошлись по городу. Александръ остановился въ загородной гостиницѣ, которой нижній этажъ заняли двѣ дамы. Весь день провели они вмѣстѣ, гуляя по прилежащему саду. Когда они возвратились домой, уже взошла луна. Они сѣли на балконѣ. Разговоръ становился безпрестанно живѣе и откровеннѣе. Они были одни. Вокругъ тѣнистыя деревья едва шевелили листьями.

«Вы не можете понять,—говорила графиня Александру,—какія тяжелыя минуты переноситъ иногда сердце женщины, скованной свѣтскими приличіями. Съ самаго дѣтства она

невольница чужаго разсчета. Ей не позволено вздохнуть отъ сердца; слово отъ души ставятъ ей въ преступленіе. Вмѣсто всего счастія, которымъ наслаждаться могутъ, хоть не умѣютъ, женщины низшаго круга, мы должны ограничиться одною выгодою: казаться счастливыми, внушать зависть къ тѣмъ благамъ, которыми мы не наслаждаемся! Не успѣвши оглянуться въ жизни, должны мы на вѣки подчинить судьбу свою человѣку постороннему, который часто и остается навсегда постороннимъ для сердца. Намъ говорятъ: богатство! знатность! мѣсто въ обществѣ! прежде чѣмъ мы понимаемъ— какой смыслъ подъ этими звуками. Насъ ловятъ на блескъ, какъ эту ночную бабочку можно поймать на свѣчку. А послѣ, вмѣстѣ съ желѣзнымъ приличіемъ, является долгъ, честь и другія слова, неопровергаемыя, убійственныя сердцу, которое для жизни»...

«Бѣдная графиня! Мнѣ жаль васъ отъ всей души!»

«Александръ! Я вижу въ глазахъ вашихъ непритворное участіе; благодарю васъ! Это благо рѣдкое и безцѣнное! Не могу сказать вамъ, какъ утѣшительно для меня встрѣтить прямое и чистое чувство!»

«О! вы можете быть въ немъ увѣрены, графиня. Ваша дружба для меня дѣло священное...»

«Дружба... Александръ! дайте мнѣ руку вашу... да, я принимаю вашу дружбу... Чистая, прекрасная душа! Еще не испорченная жизнью, еще не замаранная разсчетомъ, не искаженная притворствомъ! Какая пустыня, какая неприступная крѣпость сберегла это сокровище отъ заразы людей? Александръ!.. Сядьте сюда... я хочу видѣть насквозь эту прекрасную душу въ вашихъ глазахъ... еще ближе ко мнѣ... Александръ... скажите мнѣ... любили вы когда-нибудь?»

«Графиня, — отвѣчалъ Александръ дрожащимъ голосомъ, самъ не понимая причины внутренняго волненія,—то, что у васъ называется любовью, то, что пишутъ въ вашихъ книгахъ... кажется, для меня чувство незнакомое. Но если глубокая сердечная преданность одному существу есть любовь, да! я ее знаю. Но для чего этотъ вопросъ? Онъ разбудилъ въ душѣ моей тяжелое чувство... Графиня! говорите

мнѣ о себѣ! Мнѣ лучше слушать васъ, чѣмъ отвѣчать вамъ.»

Она продолжала спрашивать; Александръ принужденъ былъ разсказать свою исторію, разумѣется, не упоминая ни объ островѣ, ни объ чемъ, что могло дать о немъ подозрѣніе. Но съ чувствомъ и съ жаромъ разсказалъ онъ: какъ въ его семьѣ воспитывалась дѣвушка красоты невыразимой, какъ онъ оставилъ семью, снѣдаемый страстью любопытства, какъ разъ, уѣхавъ, онъ понялъ въ себѣ то чувство, котораго не замѣчалъ прежде, какъ съ тѣхъ поръ страдаетъ онъ мыслью объ отцѣ, объ матери и еще больше о бѣдной Еленѣ, и какъ, наконецъ, съ самаго дня отъѣзда, онъ всякую ночь видитъ ее во снѣ,— «и такъ живо, такъ ясно»,—говорилъ онъ,—«какъ будто въ самомъ дѣлѣ душа моя переносится къ ней. Мысль, что это не сонъ, а видѣніе, служитъ мнѣ истиннымъ утѣшеніемъ. И сказать ли вамъ, графиня? Я думаю даже, что эти постоянные сны рождаются во мнѣ не изъ души моей, но даются мнѣ извнѣ, наводятся на меня силою талисмана, который я ношу на груди. Да, графиня! я пробовалъ снимать его, и сны мои объ Еленѣ оставляли меня вмѣстѣ съ нимъ. Надѣну опять, и опять тѣ же ясные сны...»—

Тутъ показалъ онъ графинѣ рубинъ, который Елена дала ему на прощанье. А между тѣмъ, графиня уже выручила руку свою изъ его руки, уже лицо ея приняло прежнее выраженіе достоинства, голова поднялась съ видомъ холодной гордости, въ глазахъ ея осталось что-то живое, неуспокоенное; но съ улыбкою снисхожденія она взяла рубинъ, посмотрѣла его разсѣянно и, отдавая назадъ, сказала Александру:—«Да, можетъ быть въ самомъ дѣлѣ, онъ имѣетъ силу талисмана. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ ваша привязанность къ роднымъ очень похвальна... Это дѣлаетъ вамъ много чести... Однако, роса; становится холодно; пойдемте къ тетушкѣ.»

«Красивая куколка!—думала она, входя въ гостиную— и душа безъ вкуса, безъ смысла, не смотря на свой начитанный умъ, на свою безтолковую живость. И я могла хоть на минуту считать его *чѣмъ-то!* Вотъ до какого безумія дово-

дитъ женщину сила несчастія, тоска пустоты душевной! Послѣ того обвиняйте ее, когда она встрѣтитъ человѣка въ самомъ дѣлѣ достойнаго! Дайте ей камень зарека, убейте ее безъ ея власти, вы, женщины добродѣтельныя! Въ самомъ дѣлѣ: завидное дѣло—ваша добродѣтель!»

Вслѣдствіе этого разговора, отношенія графини къ Александру, по видимому, остались тѣ же, но въ сущности измѣнились во всемъ. Она по прежнему продолжала показывать ему свое участіе дружбы, но уже *его* участія не искала. Та же короткость осталась между ними, но въ этой короткости явилось такъ ясно выраженіе неравенства, такъ холодно обозначилось ея превосходство и добродушное снисхожденіе къ нему, что при концѣ путешествія, товарищи ихъ плаванія уже отказались отъ своихъ насмѣшливыхъ предположеній и тѣмъ охотнѣе сознали свою ошибку, что прекрасная графиня совершенно очаровала ихъ своею свѣтскою любезностію, умною внимательностію ко всѣмъ.

Въ Тріестѣ Александръ простился съ графинею. Дамы отправились въ Вѣну, онъ въ Италію.

Вѣну тогда ожидало зрѣлище, какого еще не представлялъ ни одинъ городъ на свѣтѣ отъ самаго сотворенія міра. Готовился конгрессъ. Рѣшалась судьба всего просвѣщеннаго міра, въ блестящемъ, торжественномъ собраніи всѣхъ властителей міра.

Давно прежде, въ древнемъ Римѣ также рѣшалась судьба вселенной. Но чего не было ни въ Римѣ, ни гдѣ когда-либо, это было чувство, съ которымъ міръ ожидалъ рѣшенія судьбы своей.

Теперь, новыя событія заслонили въ нашей памяти это недавно прошедшее время. Но кто захочетъ воскресить его въ умѣ своемъ, конечно, сознается, что не было надеждъ столь заоблачныхъ, не было такихъ невозможныхъ мечтаній о благѣ людей и человѣчества, которыя бы не казались возможными для народовъ, видѣвшихъ паденіе угнетавшаго ихъ Наполеона.

Вѣчный миръ, совершенное согласіе, повсемѣстная справедливость, безмятежное благополучіе,—все это принадлежало

къ числу самыхъ умѣренныхъ, самыхъ благоразумныхъ ожиданій.

Исполинъ палъ. Ошибка сдѣлана. Въ великодушномъ самоубійствѣ сгорѣла древняя столица; его дружина погибла въ снѣгахъ Сѣвера; его царскій вѣнецъ на главѣ другаго; его барабаны замолкли; его могущество въ разсказѣ школьныхъ учителей!

Но не вся судьба еще совершилась: еще впереди таится голый, горячій островъ на океанѣ; но уже онъ близко. Тамъ—пытка неволи, каторга мѣлочныхъ оскорбленій, потомъ смерть, потомъ—слава!

Но въ то время, когда онъ палъ, кажется, и слава его слетѣла на минуту съ освобожденной земли; ибо тогда не только друзья его забыли объ немъ, но и враги его почти забыли. —

Готовится конгрессъ. Со всѣхъ сторонъ сбиралось въ Вѣну безчисленное множество королей, принцевъ, герцоговъ, эрцгерцоговъ, владѣтельныхъ князей, великихъ полководцевъ, глубокихъ дипломатовъ, знаменитыхъ красавицъ, славныхъ ученыхъ, огромныхъ богачей, всего, что есть замѣчательнаго въ образованномъ мірѣ. Но тотъ, кто былъ душею всего движенія, кто поднялъ угнетенный міръ, кто велъ царей и народы, на комъ особенно покоились всѣ надежды и ожиданія, на чью молодую и прекрасную голову, увѣнчанную небывалымъ вѣнцомъ всемірной любви, восторговъ, устремлены были взоры всѣхъ царей и народовъ,—Русскій Императоръ былъ еще въ Парижѣ.

Но его ждали—и огромныя, почти баснословныя приготовленія праздниковъ, парадовъ и всякаго рода удовольствій и пышностей готовились къ его пріѣзду.

Правда, не время было тогда путешествовать по Италіи. Она была въ странномъ положеніи: ни война, ни миръ, но все безпокойство войны, все бездѣйствіе мира.

Однакожъ Венеція сильно зажгла воображеніе Александра. Хотя пѣсни на ея гондолахъ уже начинали умолкать, хотя Наполеонъ вывезъ изъ нея много сокровищъ искусства; но осталось еще довольно.

Проѣзжая по темнымъ улицамъ года, Александру казалось, что онъ живетъ въ сказкѣ, которой чудная таинственная завязка разрѣшается въ свѣтломъ музыкальномъ аккордѣ.

Въ одной гостиницѣ съ Александромъ сталъ еще другой путешественникъ: это былъ молодой Нѣмецкій поэтъ и живописецъ, Леонардъ фонъ-Фуксъ, изъ Дрездена, который, окончивъ свой академическій курсъ въ Германіи, рѣшился, для довершенія своего художественнаго образованія, объѣхать Италію—zu fuss (пѣшкомъ). Его блѣдное лицо, свѣтлые волосы, длинно разсыпанные по плечамъ, задумчивый взглядъ, и по временамъ быстрое оживленіе лица, обнаруживали юношу мечтательнаго, напитаннаго философіей, преданнаго искусствамъ, влюбленнаго въ классическую древность. Эта послѣдняя черта скоро сблизила его съ Александромъ. Потомъ—молодость идеальное стремленіе обоихъ и случайное созвучіе душъ, тѣсно сдружили ихъ въ короткое время, такъ что они рѣшились не разставаться во все время путешествія.

Много узналъ новаго Александръ отъ своего молодаго товарища, но особенно драгоцѣнны ему были его замѣчанія о картинахъ. Онъ не только объяснилъ Палеологу отличія различныхъ школъ и особенности почерковъ кисти извѣстныхъ мастеровъ; но, что всего важнѣе, научилъ цѣнить достоинство *художественной красоты*, которая составляетъ половину *красоты изящной*.

Однажды, въ Римѣ, осматривая уже въ десятый разъ сокровища Ватикана и отдыхая отъ впечатлѣній дня въ уединенной прогулкѣ за городомъ, Александръ сказалъ своему другу:

«Когда я сравниваю себя прежде путешествія въ Италію и теперь, я вижу, что новый міръ создался въ душѣ моей изъ чудныхъ вліяній искусства, разсыпаннаго здѣсь. Но странно: отъ чего я не могъ предчувствовать его прежде?»

«Отъ того,—отвѣчалъ Леонардъ,—что этотъ міръ живой.»

« Но развѣ наука, чувство, страсть, красота не живутъ также? — возразилъ Палеологъ. — Однако, все это можетъ понять человѣкъ безъ опыта, одною силою размышленія. Изящество, кажется, ближе всего къ уединенію: оно все отвле-

ченное созданіе воображенія; отъ чего же не можемъ мы воображеніемъ *догадаться* о мірѣ изящнаго?»

«Ты ошибаешься, — сказалъ Леонардъ, — и не одинъ ты. Многіе смѣшиваютъ изящное въ искусствахъ съ красотою въ природѣ, или съ выдумкою воображенія; но это не справедливо. Кромѣ красоты, кромѣ первой мысли, основнаго чувства въ художникѣ, для изящнаго произведенія нужна еще *удача выраженія*. И этого мало: еще нужно *постепенное развитіе* этихъ удачъ, длинный рядъ опытовъ, цѣлая исторія откровенія, концертъ несозданныхъ согласій, найденныхъ между выраженіемъ и невыразимымъ. Отъ того изящное понятно только въ совокупности двухъ созданій. Но если будетъ человѣкъ одаренъ всѣми способностями отъ природы, и если ему показать одну, только одну картину, хотя бы это было лучшее произведеніе Рафаэля, или Леонардо де-Винчи, то онъ не пойметъ красоты этой картины; я думаю даже, онъ тѣмъ меньше пойметь ее, чѣмъ она будетъ совершеннѣе.»

« Это правда » сказалъ Палеологъ.

«Въ мірѣ изящнаго, есть неожиданность вдохновенная, — продолжалъ Леонардъ, — есть какая-то игра случайностей, которая составляетъ одну изъ его прелестей. Ты замѣтилъ, что счастливая случайность есть вообще одна изъ стихій красоты? То, что правильно выдумывается умомъ, всегда холодно; что случайно и неожиданно прибавитъ къ выдумкѣ минута, то тепло и живо.»

« Не это ли сочувствіе души съ неожиданными случайностями минуты составляетъ то, что называютъ геніальностію?» — спросилъ Палеологъ.

«Это то, что справедливо называется *даромъ* или *талантомъ*; но для *геніальности* этого еще мало. Если бы мнѣ пришлось дѣлать опредѣленіе геніальности, я бы назвалъ ее ясновидѣніемъ невыразимаго. Посмотри Рафаэля: многіе не хуже его выразили видимое; но кто яснѣе обозначилъ невыразимое, и кто выше его? Впрочемъ, вообще искусство не выражаетъ ничего, а только обозначаетъ, намекаетъ на что-то. И напрасно изящное произведеніе называютъ *воплощеніемъ* мысли, какъ теперь мода выражаться. Оно только тѣнь ея, ея *вторый*

отблескъ. Оно такъ мало *воплощеніе*, мысль такъ мало *живетъ* въ этихъ *тѣняхъ*, что ты можешь цѣлую жизнь смотрѣть на картину и не видать ея основной мысли, можешь цѣлый вѣкъ слушать одну музыку и не понять ея значенія, покуда не оглянешься назадъ, въ глубину души, откуда эта тѣнь упала на холстъ или струны.»

«Я не понимаю тебя, — сказалъ Палеологъ: — развѣ наше тѣло не такая же тѣнь души? А между тѣмъ душу въ тѣлѣ мы называемъ воплощенною.»

«Для насъ, при нашемъ образѣ мыслей, это выраженіе истинно. Но ты не забудь, любезный другъ, что наши теоретики не такъ думаютъ.»

Въ продолженіе этого разговора друзья возвратились домой. Леонардъ, желая еще больше объяснить свои мысли объ искусствѣ, досталъ свой портфель, въ которомъ хранилось богатое собраніе его рисунковъ вмѣстѣ съ маленькими, мелко исписанными листочками, на которыхъ хранились его стихи и разныя мысли и минутныя замѣчанья.

«Да! — продолжалъ онъ говорить, перебирая страницы своего портфеля: — удивительно, какъ въ наше умное и многостороннее время говорится столько несправедливаго и односторонняго объ изящномъ»...

«Постой, Леонардъ! — прервалъ его Палеологъ: — чей это портретъ?»

«Это? Это портретъ одной знакомой мнѣ дамы; ты не знаешь ее.»

«Почему-жъ ты думаешь, что я ее не знаю? Мнѣ кажется, это графиня Эльм..., съ которой я ѣхалъ изъ Константинополя до Тріеста.»

«Да, это графиня Эльм...»

«Леонардъ, по какому случаю у тебя портретъ ея?»

«О, эту исторію я разскажу тебѣ когда-нибудь... со всѣми подробностями... вотъ: нашелъ! *Философскій выводъ женщины*, слушай!»

«Нѣтъ, Леонардъ, я не хочу теперь слушать твоихъ разсужденій; оставимъ это до другаго времени. Теперь разскажи мнѣ, какъ ты знаешь графиню Эльм...»

«Изволь, если это тебѣ любопытнѣе. Впрочемъ, исторія эта не длинная. Надобно только по порядку... Вотъ какъ это было.

«Съ тѣхъ поръ прошло четыре года,—нѣтъ, больше! теперь ужъ пять лѣтъ. Какъ время идетъ! Я учился тогда въ Іенѣ...

«Недалеко отъ Іены лежитъ одно изъ имѣній графини Эльм..., куда она пріѣзжаетъ иногда на лѣто, вмѣстѣ съ теткою своею, баронессою Вес...

«Надобно сказать, что въ университетѣ, между прочимъ, я былъ друженъ съ однимъ студентомъ, котораго звали Фридрихъ Вульфъ. Его отецъ пасторомъ въ Р...; это маленькій городокъ въ Виртенбергѣ.

«Фридрихъ Вульфъ имѣлъ одно качество въ высочайшей степени: онъ былъ музыкантъ, какихъ мало, какіе родятся вѣками. Только, по несчастію, онъ былъ еще и поэтъ. Вмѣсто того, чтобы совсѣмъ предаться одному искусству, Вульфъ старался соединить ихъ оба: онъ бросилъ свою скрипку и пристрастился къ гитарѣ, чтобы на ней съ утра до вечера наигрывать темы для своихъ стиховъ. Впрочемъ, надобно признаться, что онъ скоро достигъ на гитарѣ до такого совершенства, какое трудно вообразить, не слыхавши его. Изъ своихъ семи струнъ умѣлъ онъ извлекать такіе звуки, которыхъ нельзя было и подозрѣвать въ этомъ бѣдномъ инструментѣ. Я до сихъ поръ не понимаю, откуда онъ бралъ эту сладость, эту силу, эту необыкновенную *пѣвучесть* своей игры. Съ гитарою онъ пѣлъ свои стихи. Его голосъ былъ звучный и выразительный. Поэтому ты поймешь, что, не смотря на посредственность стиховъ, мы часто слушали ихъ съ большимъ удовольствіемъ.

«Вульфъ былъ весь въ музыкѣ и въ своихъ стихахъ. Его свѣдѣнія въ наукахъ были довольно посредственныя; на лекціи ходилъ онъ лѣниво; впрочемъ, неохотно также раздѣлялъ и забавы товарищей. Почти всегда задумчивый, съ гитарой, онъ наигралъ и надумалъ себѣ какой-то особенный міръ изъ мечтательныхъ звуковъ, изъ блестящихъ словъ, изъ мудреныхъ выдумокъ,—и жилъ себѣ въ этомъ мірѣ одинъ.

«Меня любилъ онъ; охотно разсказывалъ мнѣ свои мечты, игралъ свои фантазіи и пѣлъ стихи. Признаюсь, что въ этихъ довѣренностяхъ, не смотря на многое сумасбродное, я находилъ много поэтическаго.

«Его внутренняя жизнь была не столько собраніемъ чувствъ, сколько догадокъ сердечныхъ. Въ дѣтствѣ онъ былъ несчастливъ; изъ большой семьи одинъ сынъ нелюбимый—рано пріобрѣлъ онъ убѣжденіе, что жизнь настоящая не въ обстоятельствахъ, а въ мысляхъ, и что отъ горя жизни можно укрыться въ музыкѣ и поэзіи. Съ этою цѣлью началъ онъ строить себѣ *храмъ убѣжища*, какъ онъ выражался. Въ этомъ храмѣ должно было соединиться все, что питаетъ и грѣетъ душу, чего ищутъ, желаютъ, куда идутъ надежды; все, что служитъ концомъ сердечныхъ стремленій. И что бы ни касалось его воображенія, тотчасъ же одѣвалось въ мимику и переходило въ слово. Онъ вѣрилъ, что для всего на свѣтѣ есть особенный переливъ звуковъ, и что есть какое-то *слово*, вѣнецъ и основаніе всякаго мышленія, ключь ко всѣмъ тайнамъ, цѣль всѣхъ воздыханій человѣчества; что это *слово* незамѣтно для людей, потому что хранится высоко въ сердцѣ, выше, дальше внутренняго зрѣнія; что тамъ лежитъ оно несгараемо, въ вѣчномъ огнѣ изъ самыхъ пламенныхъ чувствъ, изъ горячихъ думъ и раскаленныхъ образовъ воображенія человѣка; что къ нему ведетъ воздушная лѣстница, составленная изъ сильныхъ думъ, изъ страстныхъ звуковъ и сердечныхъ вдохновеній; что по ступенямъ этой лѣстницы скользятъ и восходятъ незримые духи, легкія тѣни, которыя помогаютъ душѣ; что все прекрасное на землѣ есть только блѣдный отблескъ одного живаго слова, горящаго на высотѣ сердечной. Однако, смотря на прекрасное земное, можно, какъ бы смотря въ зеркало, догадываться: откуда свѣтъ и гдѣ къ нему дорога. Но горе тому,— говорилъ онъ, — кто приметъ зеркало за правду, если кто усомнится въ правдѣ, обманувшись въ зеркалѣ!»

«У меня въ альбомѣ есть портретъ Фридриха, посмотри его: этотъ листокъ я считаю однимъ изъ лучшихъ моего портфеля.»

Тутъ Леонардъ досталъ картину, на которой изображенъ былъ Нѣмецкій студентъ съ распущенными волосами, кото-

рыми игралъ вѣтеръ, безъ галстуха и съ гитарою въ рукахъ. Онъ сидитъ подъ деревомъ; вокругъ него разбросана свѣтлая роща, которой вѣтви гнутся въ одну сторону, и нѣсколько цвѣтущихъ кустарниковъ, тоже смятыхъ находящею бурею. Часть неба покрыта облаками, тучи несутся грядою, но лучи солнца еще ярко озаряютъ одну половину картины. Другая уже темна. Гроза начинается; но видно, что день былъ прекрасный. Вдали подымается радуга.

Все это замѣтно было съ перваго взгляда на Леонардовой картинѣ. Но когда Палеологъ сталъ вглядываться въ нее подробнѣе, она вдругъ приняла новый видъ. Каждая часть въ ней оживилась особенно, каждая черта кисти выражала какой-нибудь фантастическій предметъ. Облака были собраніемъ безчисленныхъ лицъ и тѣней: то крылатая женщина летитъ съ распущенными волосами; то чудное зданіе распадается на части, но изъ обломковъ его образуются очерки новыхъ существъ; то горы, сотканныя изъ разнообразныхъ фигуръ; исполины, змѣи, страшныя чудовища и прекрасныя дѣвы, все вмѣстѣ, одинъ призракъ сливается съ другимъ, и всѣ вмѣстѣ составляютъ одну густую, бурную тучу.

Но не одно небо, не одни облака, также и деревья были оживлены. Каждая вѣтка, согнутая вѣтромъ, рисовала очеркъ тѣней, фигуръ; каждый промежутокъ въ листьяхъ обрисовывалъ лицо или чудовище; даже цвѣты на кустарникахъ, склоняясь къ землѣ, обозначали какой-нибудь призракъ.

Но въ одномъ мѣстѣ, гдѣ солнечный лучь сквозь отверстіе вѣтвей ярко падалъ на свѣжую зелень, пересѣкая дугу далекой радуги и образуя собою прозрачный столбъ свѣтлой пыли, тамъ, чуть замѣтно внимательному взору, подымалась въ глубинѣ свѣта воздушная лѣстница, усѣянная крылатыми тѣнями.

Между тѣмъ, какъ Палеологъ разсматривалъ картину, Леонардъ продолжалъ свой разсказъ...

1838 г.

—

ВЪ ОТВѢТЪ А. С. ХОМЯКОВУ.

Статья г-на Хомякова возбудила во многихъ изъ насъ желаніе написать ему возраженіе. Потому я хотѣлъ сначала уступить это удовольствіе другимъ и предложить вамъ статью объ иномъ предметѣ. Но потомъ, когда я обдумалъ, что понятіе наше объ отношеніи прошедшаго состоянія Россіи къ настоящему принадлежитъ не къ такимъ вопросамъ, о которыхъ мы можемъ имѣть безнаказанно то или другое мнѣніе, какъ о предметахъ литературы, о музыкѣ или о иностранной политикѣ, но составляетъ, такъ сказать, существенную часть насъ самихъ, ибо входитъ въ малѣйшее обстоятельство, въ каждую минуту нашей жизни; когда я обдумалъ еще, что каждый изъ насъ имѣетъ объ этомъ предметѣ отличное отъ другихъ мнѣніе, тогда я рѣшился писать, думая, что моя статья не можетъ помѣшать другому, говорить о томъ же, потому что это дѣло для каждаго важно, мнѣнія всѣхъ различны, и единомысліе могло бы быть не безполезно для всѣхъ.

Вопросъ обыкновенно предлагается такимъ образомъ: прежняя Россія, въ которой порядокъ вещей слагался изъ собственныхъ ея элементовъ, была ли лучше или хуже теперешней Россіи, гдѣ порядокъ вещей подчиненъ преобладанію элемента Западнаго? — Если прежняя Россія была лучше теперешней, говорятъ обыкновенно, то надобно желать возвратить старое, исключительно Русское, и уничтожить Западное, искажающее Русскую особенность; если же прежняя Россія была хуже, то надобно стараться вводить все Западное и истреблять особенность Русскую.

Силлогизмъ, мнѣ кажется, не совсѣмъ вѣрный. Если старое было лучше теперешняго, изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы оно было лучше теперь. Что годилось въ одно время, при однихъ обстоятельствахъ, можетъ не годиться въ другое,

при другихъ обстоятельствахъ. Если же старое было хуже, то изъ этого также не слѣдуетъ, чтобы его элементы не могли сами собой развиться во что-нибудь лучшее, если бы только развитіе это не было остановлено насильственнымъ введеніемъ элемента чужаго. Молодой дубъ, конечно, ниже однолѣтней съ нимъ ракиты, которая видна издалека; рано даетъ тѣнь, рано кажется деревомъ и годится на дрова. Но вы конечно не услужите дубу тѣмъ, что привьете къ нему ракиту.

Такимъ образомъ и самый вопросъ предложенъ неудовлетворительно. Вмѣсто того, чтобы спрашивать: лучше ли была прежняя Россія? — полезнѣе, кажется, спросить: нужно ли для улучшенія нашей жизни теперь возвращеніе къ старому Русскому, или нужно развитіе элемента Западнаго, ему противоположнаго? —

Разсмотримъ, какую пользу мы можемъ извлечь изъ рѣшенія этого вопроса?

Положимъ, что вслѣдствіе безпристрастныхъ изысканій мы убѣдимся, что для насъ особенно полезно бы было исключительное преобладаніе одного изъ двухъ противоположныхъ бытовъ; положимъ, притомъ, что мы находимся въ возможности имѣть самое сильное вліяніе на судьбу Россіи,—то и тогда мы не могли бы отъ всѣхъ усилій нашихъ ожидать исключительнаго преобладанія одного изъ противоположныхъ элементовъ, потому именно, что хотя и одинъ избранъ *въ нашей теоріи*, но другой вмѣстѣ съ нимъ существуетъ *въ дѣйствительности*. Сколько бы мы ни были врагами Западнаго просвѣщенія, Западныхъ обычаевъ и т. под.; но можно ли безъ сумасшествія думать, что когда-нибудь, какою-нибудь силою истребится въ Россіи память всего того, что она получила отъ Европы впродолженіе двухъ-сотъ лѣтъ? Можемъ ли мы не знать того, что знаемъ, забыть все, что умѣемъ? Еще менѣе можно думать, что 1000-лѣтіе Русское можетъ совершенно уничтожиться отъ вліянія новаго Европейскаго. Потому, сколько бы мы ни желали возвращенія Русскаго или введенія Западнаго быта, — но ни того, ни другаго исключительно ожидать не можемъ, а поневолѣ должны предполагать что-то третье, долженствующее возникнуть изъ взаимной борьбы двухъ враждующихъ началъ.

Слѣдовательно, и этотъ видъ вопроса — который изъ двухъ элементовъ исключительно полезенъ теперь? — также предложенъ неправильно. Не въ томъ дѣло: который изъ двухъ? но въ томъ: какое *оба* они должны получить направленіе, чтобы дѣйствовать благодѣтельно? Чего отъ взаимнаго ихъ дѣйствія должны мы надѣяться, или чего бояться?

Вотъ вопросъ, какъ онъ существенно важенъ для каждаго изъ насъ: направленіе туда или сюда, а не пріобрѣтеніе того или другаго.

Разсматривая основныя начала жизни, образующія силы народности въ Россіи и на Западѣ, мы съ перваго взгляда открываемъ между ними одно очевидно общее: это христіанство. Различіе заключается въ особенныхъ видахъ христіанства, въ особенномъ направленіи просвѣщенія, въ особенномъ смыслѣ частнаго и народнаго быта. Откуда происходитъ общее, мы знаемъ; но откуда происходитъ различіе и въ чемъ заключается его характеристическая черта?

Два способа имѣемъ мы для того, чтобы опредѣлить особенность Запада и Россіи, и одинъ изъ нихъ долженъ служить повѣркою другому. Мы можемъ, или восходя исторически къ началу того или другаго вида образованности, искать причину различія ихъ въ первыхъ элементахъ, изъ которыхъ они составились; или, разсматривая уже послѣдующее развитіе этихъ элементовъ, сравнивать самые результаты. И если найдется, что тоже различіе, какое мы замѣтимъ въ элементахъ, окажется и въ результатахъ ихъ развитія, тогда очевидно, что предположеніе наше вѣрно, и основываясь на немъ, намъ уже виднѣе будетъ, какія можно дѣлать изъ него дальнѣйшія заключенія.

Три элемента легли основаніемъ Европейской образованности: Римское христіанство, міръ необразованныхъ варваровъ, разрушившихъ Римскую Имперію, и классическій міръ древняго язычества.

Этотъ классическій міръ древняго язычества, недоставшійся въ наслѣдіе Россіи, въ сущности своей представляетъ торжество формальнаго разума человѣка надъ всѣмъ, что внутри и внѣ его находится, — чистаго, голаго разума, на себѣ самомъ

основаннаго, выше себя и внѣ себя ничего непризнающаго и являющагося въ двухъ свойственныхъ ему видахъ — въ видѣ формальной отвлеченности и отвлеченной чувственности. Дѣйствіе классицизма на образованность Европейскую должно было соотвѣтствовать тому же характеру.

Но потому ли, что христіане на Западѣ поддались беззаконно вліянію классическаго міра, или случайно ересь сошлась съ язычествомъ, но только Римская церковь въ уклоненіи своемъ отъ Восточной отличается именно тѣмъ же торжествомъ раціонализма надъ преданіемъ внѣшней разумности, надъ внутреннимъ духовнымъ разумомъ. Такъ вслѣдствіе этого внѣшняго силлогизма, выведеннаго изъ понятія о Божественномъ равенствѣ Отца и Сына, измѣненъ догматъ о Троицѣ, въ противность духовному смыслу и преданію; такъ вслѣдствіе другаго силлогизма папа сталъ главою церкви вмѣсто Іисуса Христа, потомъ мірскимъ властителемъ, наконецъ непогрѣшаемымъ; бытіе Божіе во всемъ христіанствѣ доказывалось силлогизмомъ; вся совокупность вѣры опиралась на силлогистическую схоластику; инквизиція, іезуитизмъ, однимъ словомъ, всѣ особенности католицизма развились силою того же формальнаго процесса разума, такъ что и самый протестантизмъ, который католики упрекаютъ въ раціональности, произошелъ прямо изъ раціональности католицизма. Въ этомъ послѣднемъ торжествѣ формальнаго разума надъ вѣрою и преданіемъ проницательный умъ могъ уже напередъ видѣть въ зародышѣ всю теперешнюю судьбу Европы, какъ слѣдствіе вотще начатаго начала, т. е., и Штрауса, и новую философію со всѣми ея видами, и индустріализмъ, какъ пружину общественной жизни, и филантропію, основанную на разсчитанномъ своекорыстіи, и систему воспитанія, ускоренную силою возбужденной зависти, и Гёте, вѣнецъ новой поэзіи, литературнаго Талейрана, мѣняющаго свою красоту, какъ тотъ свои правительства, и Наполеона, и героя новаго времени, идеалъ бездушнаго разсчета, и матеріальное большинство, плодъ раціональной политики, и Лудвига Филиппа, послѣдній результатъ такихъ надеждъ и такихъ дорогихъ опытовъ!

Я со всѣмъ не имѣю намѣренія писать сатиру на Западъ;

никто больше меня не цѣнитъ тѣхъ удобствъ жизни общественной и частной, которыя произошли отъ того же самаго раціонализма. Да, если говорить откровенно, я и теперь еще люблю Западъ, я связанъ съ нимъ многими неразрывными сочувствіями. Я принадлежу ему моимъ воспитаніемъ, моими привычками жизни, моими вкусами, моимъ спорнымъ складомъ ума, даже сердечными моими привычками; но въ сердцѣ человѣка есть такія движенія, есть такія требованія въ умѣ, такой смыслъ въ жизни, которые сильнѣе всѣхъ привычекъ и вкусовъ, сильнѣе всѣхъ пріятностей жизни и выгодъ внѣшней разумности, безъ которыхъ ни человѣкъ, ни народъ не могутъ жить своею настоящею жизнію. Потому, вполнѣ оцѣнивая всѣ отдѣльныя выгоды раціональности, я думаю, что въ *конечномъ* развитіи, она своею болѣзненною неудовлетворительностію явно обнаруживается началомъ одностороннимъ, обманчивымъ, обольстительнымъ и предательскимъ. Впрочемъ распространяться объ этомъ было бы здѣсь неумѣстно. Я припомню только, что всѣ высокіе умы Европы жалуются на теперешнее состояніе нравственной апатіи, на недостатокъ убѣжденій, на всеобщій эгоизмъ, требуютъ новой духовной силы внѣ разума, требуютъ новой пружины жизни внѣ разсчета, однимъ словомъ, ищутъ вѣры и не могутъ найти ее у себя, ибо христіанство на Западѣ исказилось своемысліемъ.

Такимъ образомъ раціонализмъ и въ началѣ былъ лишнимъ элементомъ въ образованіи Европы, и теперь является исключительнымъ характеромъ просвѣщенія и быта Европейскаго. Это будетъ еще очевиднѣе, если мы сравнимъ основныя начала общественнаго и частнаго быта Запада съ основными началами того общественнаго и частнаго быта, который если не развился вполнѣ, то по крайней мѣрѣ ясно обозначился въ прежней Россіи, находившейся подъ прямымъ вліяніемъ чистаго христіанства, безъ примѣси міра языческаго.

Весь частный и общественный бытъ Запада основывается на понятіи о индивидуальной, отдѣльной независимости, предполагающей индивидуальную изолированность. Оттуда святость внѣшнихъ формальныхъ отношеній, святость собственности и условныхъ постановленій важнѣе личности. Каждый индивиду-

умъ—частный человѣкъ, рыцарь, князь или городъ, *внутри своихъ правъ* есть лицо самовластное, неограниченное, само себѣ дающее законы. Первый шагъ каждаго лица въ общество есть окруженіе себя крѣпостію, изъ нутра которой оно вступаетъ въ переговоры съ другими и независимыми властями.

—

Въ прошедшій разъ я не докончилъ статьи моей, а потому обязанъ продолжать ее теперь. Я говорилъ о различіи просвѣщенія въ Россіи и на Западѣ. У насъ образовательное начало заключалось въ нашей Церкви. Тамъ вмѣстѣ съ христіанствомъ дѣйствовали на развитіе просвѣщенія еще плодоносные остатки древняго языческаго міра. Самое христіанство Западное, отдѣлившись отъ Вселенской Церкви, приняло въ себя зародышъ того начала, которое составляло общій оттѣнокъ всего Греко-языческаго развитія: начала раціонализма. Потому и характеръ образованности Европейской отличается перевѣсомъ раціональности.

Впрочемъ этотъ перевѣсъ обнаружился только впослѣдствіи, когда логическое развитіе, можно сказать, уже задавило христіанское. Но въ началѣ раціонализмъ, какъ я сказалъ, является только въ зародышѣ. Римская Церковь отдѣлилась отъ Восточной тѣмъ, что нѣкоторые догматы, существовавшіе въ *преданіи* всего Христіанства, она измѣнила на другіе, вслѣдствіе *умозаключенія*. Нѣкоторые распространила, вслѣдствіе того же логическаго процесса, и также въ противность преданію и духу Церкви Вселенской. Такимъ образомъ логическое убѣжденіе легло въ самое первое основаніе католицизма. Но этимъ и ограничилось дѣйствіе раціонализма на первое время. Внутреннее и внѣшнее устройство Церкви, уже совершившееся прежде въ другомъ духѣ, до тѣхъ поръ существовало безъ очевиднаго измѣненія, покуда вся совокупность церковнаго ученія не перешла въ сознаніе мыслящей части духовенства. Это совершилось въ схоластической философіи, которая по причинѣ логическаго начала въ самомъ основаніи Церкви, не могла иначе согласить противорѣчіе вѣры и разума, какъ силою силлогизма, сдѣлавшагося такимъ образомъ первымъ условіемъ всякаго убѣжденія. Сначала, естественно, этотъ же самый силлогизмъ доказывалъ вѣру противъ разума и подчинялъ ей

разумъ силою разумныхъ доводовъ. Но эта вѣра, логически доказанная и логически противопоставленная разуму, была уже не живая, но формальная вѣра, не вѣра собственно, а только логическое отрицаніе разума. Потому въ этотъ періодъ схоластическаго развитія католицизма, именно по причинѣ раціональности своей, Западная Церковь является врагомъ разума, угнетающимъ, убійственнымъ, отчаяннымъ врагомъ его. Но развившись до крайности, продолженіемъ того же логическаго процесса, это безусловное уничтоженіе разума произвело то извѣстное противодѣйствіе, котораго послѣдствія составляютъ характеръ теперешняго просвѣщенія. Вотъ что я разумѣлъ, говоря о раціональномъ элементѣ католицизма.

Христіанство Восточное не знало ни этой борьбы вѣры противъ разума, ни этого торжества разума надъ вѣрою. Потому и дѣйствія его на просвѣщеніе были не похожи на католическія.

Разсматривая общественное устройство прежней Россіи, мы находимъ многія отличія отъ Запада, и во первыхъ: образованіе общества въ маленькіе такъ называемые міры. Частная, личная самобытность, основа Западнаго развитія, была у насъ также мало извѣстна, какъ и самовластіе общественное. Человѣкъ принадлежалъ міру, міръ ему. Поземельная собственность, источникъ личныхъ правъ на Западѣ, была у насъ принадлежностью общества. Лицо участвовало во столько въ правѣ владѣнія, во сколько входило въ составъ общества.

Но это общество не было самовластное, и не могло само себя устроивать, само изобрѣтать для себя законы, потому что не было отдѣлено отъ другихъ ему подобныхъ обществъ, управлявшихся однообразнымъ обычаемъ. Безчисленное множество этихъ маленькихъ міровъ, составлявшихъ Россію, было все покрыто сѣтью церквей, монастырей, жилищъ уединенныхъ отшельниковъ, откуда постоянно распространялись повсюду одинакія понятія объ отношеніяхъ общественныхъ и частныхъ. Понятія эти мало по малу должны были переходить въ общее убѣжденіе, убѣжденіе въ обычай, который замѣнялъ законъ, устроивая, по всему пространству земель подвластныхъ нашей Церкви, одну мысль, одинъ взглядъ, одно стремленіе, одинъ порядокъ жизни. Это повсемѣстное однообразіе обычая было, вѣроятно,

одною изъ причинъ его невѣроятной крѣпости, сохранившей его живые остатки даже до нашего времени, сквозь все противодѣйствіе разрушительныхъ вліяній, въ продолженіе 200 лѣтъ стремившихся ввести на мѣсто его новыя начала.

Вслѣдствіе этихъ крѣпкихъ, однообразныхъ и повсемѣстныхъ обычаевъ, всякое измѣненіе въ общественномъ устройствѣ, не согласное съ строемъ цѣлаго, было невозможно. Семейныя отношенія каждаго были опредѣлены прежде его рожденія; въ такомъ же предопредѣленномъ порядкѣ подчинялась семья міру, міръ болѣе обширный — сходкѣ, сходка — вѣче и т. д., покуда всѣ частные круги смыкались въ одномъ центрѣ, въ одной Православной Церкви. Ни какое частное разумѣніе, ни какое искусственное соглашеніе не могло основать новаго порядка, выдумать новыя права и преимущества. Даже самое слово: *право*, было у насъ неизвѣстно въ Западномъ его смыслѣ, но означало только справедливость, правду. Потому ни какая власть, ни какому лицу, ни сословію, не могла ни даровать, ни уступить никакого права, ибо правда и справедливость не могутъ ни продаваться, ни браться, но существуютъ сами по себѣ, независимо отъ условныхъ отношеній. На Западѣ, напротивъ того, всѣ отношенія общественныя основаны на *условіи*, или стремятся достигнуть этого искусственнаго основанія. *Вит* условія нѣтъ отношеній правильныхъ, но является произволъ, который въ правительственномъ классѣ называютъ *самовластіемъ*, въ управляемомъ—*свободою*. Но и въ томъ и въ другомъ случаѣ этотъ произволъ доказываетъ не развитіе внутренней жизни, а развитіе внѣшней, формальной. Всѣ силы, всѣ интересы, всѣ права общественныя существуютъ тамъ отдѣльно, каждый самъ по себѣ, и соединяются не по нормальному закону, а—или въ случайномъ порядкѣ, или въ искусственномъ соглашеніи. Въ первомъ случаѣ торжествуетъ матеріальная сила, во второмъ—сумма индивидуальныхъ разумѣній. Но матеріальная сила, матеріальный перевѣсъ, матеріальное большинство, сумма индивидуальныхъ рузумѣній, въ сущности составляютъ одно начало, только въ разныхъ моментахъ своего развитія. Потому *общественный договоръ* не есть изобрѣтеніе энциклопедистовъ, но дѣйствительный идеалъ, къ

которому стремились безъ сознанія, а теперь стремятся съ сознаніемъ всѣ Западныя общества, подъ вліяніемъ раціональнаго элемента, перевѣсившаго элементъ христіанскій.

Въ Россіи мы не знаемъ хорошо границъ княжеской власти прежде подчиненія удѣльныхъ княжествъ Московскому; но если сообразимъ, что сила неизмѣняемаго обычая дѣлала всякое самовластное законодательство невозможнымъ; что разборъ и судъ, который въ нѣкоторыхъ случаяхъ принадлежалъ князю, не могъ совершаться несогласно со всеобъемлющими обычаями, ни толкованіе этихъ обычаевъ, по той же причинѣ, не могло быть произвольное; что общій ходъ дѣлъ принадлежалъ мірамъ и приказамъ, судившимъ также по обычаю вѣковому и потому всѣмъ извѣстному; наконецъ, что въ крайнихъ случаяхъ князь, нарушавшій правильность своихъ отношеній къ народу и Церкви, былъ изгоняемъ самимъ народомъ,—сообразивши все это, кажется очевидно, что собственно княжеская власть заключалась болѣе въ предводительствѣ дружинъ, чѣмъ во внутреннемъ управленіи, болѣе въ вооруженномъ покровительствѣ, чѣмъ во владѣніи областями.

Вообще, кажется, Россіи также мало извѣстны были мелкіе властители Запада, употреблявшіе общество, какъ бездушную собственность, въ свою личную пользу, какъ ей неизвѣстны были и благородные рыцари Запада, опиравшіеся на личной силѣ, крѣпостяхъ и желѣзныхъ латахъ, непризнававшіе другаго закона, кромѣ собственнаго меча, и условныхъ правилъ чести, основанныхъ на законѣ самоуправства.

Впрочемъ рыцарства у насъ не было по другимъ причинамъ.

Съ перваго взгляда кажется непонятнымъ, почему у насъ не возникло чего нибудь подобнаго рыцарству, по крайней мѣрѣ во время Татаръ? Общества были разрознены, власть не имѣла матеріальной силы, каждый могъ переходить съ мѣста на мѣсто, лѣса были глубокіе, полиція была еще не выдумана; отчего бы, кажется, не составиться обществамъ людей, которые бы пользовались превосходствомъ своей силы надъ мирными земледѣльцами и горожанами, грабили, управлялись, какъ хотѣли, захватили бы себѣ отдѣльныя земли, деревни, и строили

бы тамъ крѣпости; составили бы между собой извѣстныя правила, и такимъ образомъ образовали бы особенный классъ сильнѣйшаго сословія, которое, по причинѣ силы, могло бы назваться и благороднѣйшимъ сословіемъ?—Церковь могла бы воспользоваться ими, образуя изъ нихъ отдѣльные ордена, съ отдѣльными уставами, и употребляя ихъ противъ невѣрныхъ, подобно Западнымъ крестоносцамъ. Отчего же не сдѣлалось этого?

Именно потому, я думаю, что Церковь наша въ то время не продавала чистоты своей за временныя выгоды. У насъ были богатыри только до введенія христіанства. Послѣ введенія христіанства у насъ были разбойники, шайки устроенныя, еще до сихъ поръ сохранившіяся въ нашихъ пѣсняхъ, но шайки, отверженныя Церковью и потому безсильныя. Ничего не было бы легче, какъ возбудить у насъ крестовые походы, причисливъ разбойниковъ къ служителямъ Церкви и обѣщавъ имъ прощеніе грѣховъ за убіеніе невѣрныхъ: всякій пошелъ бы въ честные разбойники. Католицизмъ такъ и дѣйствовалъ; онъ не поднялъ народы за вѣру, но только бродившихъ направилъ къ одной цѣли, назвавъ ихъ святыми. Наша Церковь этого не сдѣлала, и потому мы не имѣли рыцарства, а вмѣстѣ съ нимъ и того аристократическаго класса, который былъ главнымъ элементомъ всего Западнаго образованія.

Гдѣ больше было неустройства на Западѣ, тамъ больше и сильнѣе было рыцарство; въ Италіи его было всего менѣе. Гдѣ менѣе было рыцарства, тамъ болѣе общество склонялось къ устройству народному; гдѣ болѣе, тамъ болѣе къ единовластному. Единовластіе само собой рождается изъ аристократіи, когда сильнѣйшій покоряетъ слабѣйшихъ, и потомъ правитель на условіяхъ переходитъ въ правителя безусловнаго, соединяясь противъ класса благородныхъ съ классомъ *подлыхъ*, какъ Европа называла народъ. Этотъ классъ подлыхъ, по общей формулѣ общественнаго развитія Европы, вступилъ въ права благороднаго, и та же сила, которая дѣлала самовластнымъ одного, естественнымъ своимъ развитіемъ переносила власть въ матеріальное большинство, которое уже само изобрѣтаетъ для

себя какое-нибудь формальное устройство, и до сихъ поръ еще находится въ процессѣ изобрѣтенія.

Такимъ образомъ, какъ Западная Церковь образовала изъ разбойниковъ рыцарей, изъ духовной власти власть свѣтскую, изъ свѣтской полиціи святую инквизицію, что все, можетъ быть, имѣло свои временныя выгоды,—такимъ же образомъ дѣйствовала она и въ отношеніи къ наукамъ, искусствамъ языческимъ. Не извнутри себя произвела она новое искусство христіанское, но прежнее, рожденное и воспитанное другимъ духомъ, другою жизнію, направила къ украшенію своего храма. Оттого искусство романтическое заиграло новою блестящею жизнію, но окончилось поклоненіемъ язычеству, и теперь кланяется отвлеченнымъ формуламъ философіи, покуда не возвратится міръ къ истинному христіанству, и не явится міру новый служитель христіанской красоты.

Науки существенною частію своею, т. е., какъ познанія, принадлежатъ равно языческому и христіанскому міру, и различаются только своею философскою стороною. Этой философской стороны христіанства католицизмъ не могъ сообщить имъ потому, что самъ не имѣлъ ее въ чистомъ видѣ. Оттого видимъ мы, что науки, какъ наслѣдіе языческое, процвѣтали такъ сильно въ Европѣ, но окончились безбожіемъ, какъ необходимымъ слѣдствіемъ своего односторонняго развитія.

Россія не блестѣла ни художествами, ни учеными изобрѣтеніями, не имѣя времени развиться въ этомъ отношеніи самобытно, и не принимая чужаго развитія, основаннаго на ложномъ взглядѣ и потому враждебнаго ея христіанскому духу. Но за то въ ней хранилось первое условіе развитія правильнаго, требующаго только времени и благопріятныхъ обстоятельствъ; въ ней собиралось и жило то устроительное начало знанія, та философія христіанства, которая одна можетъ дать правильное основаніе наукамъ. Всѣ Святые Отцы Греческіе, не исключая самыхъ глубокихъ писателей, были переведены и читаны, и переписываемы, и изучаемы въ тишинѣ нашихъ монастырей, этихъ святыхъ зародышей несбывшихся университетовъ. Исаакъ Сиринъ, глубокомысленнѣйшее изъ всѣхъ

философскихъ писаній, до сихъ поръ еще находится въ спискахъ 12 и 13 вѣка. И эти монастыри были въ живомъ, безпрестанномъ соприкосновеніи съ народомъ. Какое просвѣщеніе въ нашемъ подломъ классѣ не въ правѣ мы заключить изъ этого одного факта! Но это просвѣщеніе не блестящее, но глубокое; не роскошное, не матеріальное, имѣющее цѣлью удобства наружной жизни, но внутреннее, духовное; это устройство общественное, безъ самовластія и рабства, безъ благородныхъ и подлыхъ; эти обычаи вѣковые, безъ писанныхъ кодексовъ, исходящіе изъ Церкви и крѣпкіе согласіемъ нравовъ съ ученіемъ вѣры; эти святые монастыри, разсадники христіанскаго устройства, духовное сердце Россіи, въ которыхъ хранились всѣ условія будущаго самобытнаго просвѣщенія; эти отшельники, изъ роскошной жизни уходившіе въ лѣса, въ недоступныхъ ущельяхъ изучавшіе писанія глубочайшихъ мудрецовъ христіанской Греціи, и выходившіе оттуда учить народъ, ихъ понимавшій; эти образованные сельскіе приговоры; эти городскія вѣча; это раздолье Русской жизни, которое сохранилось въ пѣсняхъ—куда все это дѣлось? Какъ могло это уничтожиться, не принесши плода? Какъ могло оно уступить насилію чужаго элемента? Какъ возможенъ былъ Петръ, разрушитель Русскаго и вводитель Нѣмецкаго? Если же, разрушеніе началось прежде Петра, то какъ могло Московское Княжество, соединивши Россію, задавить ее? Отъ чего соединеніе различныхъ частей въ одно цѣлое произошло не другимъ образомъ? Отъ чего при этомъ случаѣ должно было торжествовать иностранное, а не Русское начало?

Одинъ фактъ въ нашей исторіи объясняетъ намъ причину такого несчастнаго переворота; этотъ фактъ есть *Стоглавый Соборъ*. Какъ скоро ересь явилась въ Церкви, такъ раздоръ духа долженъ былъ отразиться и въ жизни. Явились партіи, болѣе или менѣе уклоняющіяся отъ истины. Партія нововводительная одолѣла партію старины, именно потому, что старина разорвана была разномыслiемъ. Оттуда, при разрушеніи связи духовной, внутренней, явилась необходимость связи вещественной, формальной, оттуда мѣстничество, опричина, рабство и т. п. Оттуда искаженіе книгъ по заблужденію и не-

вѣжеству, и исправленіе ихъ по частному разумѣнію и произвольной критикѣ. Оттуда передъ Петромъ правительство въ разномысліи съ большинствомъ народа, отвергаемаго подъ названіемъ раскольниковъ. Отъ того Петръ, какъ начальникъ партіи въ государствѣ, образуетъ общество въ обществѣ, и все что за тѣмъ слѣдуетъ.

Какой же результатъ всего сказаннаго? Желать ли намъ возвратить прошедшее Россіи, и можно ли возвратить его? Если правда, что самая особенность Русскаго быта заключалась въ его живомъ исхожденіи изъ чистаго христіанства, и что форма этого быта упала вмѣстѣ съ ослабленіемъ духа; то теперь эта мертвая форма не имѣла бы рѣшительно никакой важности. Возвращать ее насильственно было бы смѣшно, когда бы не было вредно. Но истреблять оставшіяся формы можетъ только тотъ, кто не вѣритъ, что когда-нибудь Россія возвратится къ тому живительному духу, которымъ дышетъ ея Церковь.

Желать теперь остается намъ только одного: чтобы какой-нибудь Французъ понялъ оригинальность ученія христіанскаго, какъ оно заключается въ нашей Церкви, и написалъ объ этомъ статью въ журналѣ; чтобы Нѣмецъ, повѣривши ему, изучилъ нашу Церковь поглубже и сталъ бы доказывать на лекціяхъ, что въ ней совсѣмъ неожиданно открывается именно то, чего теперь требуетъ просвѣщеніе Европы. Тогда, безъ сомнѣнія, мы повѣрили бы Французу и Нѣмцу, и сами узнали бы то, что имѣемъ.

1838 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ

первой части.

Стр.

Матеріалы для біографіи Ив. Вас. Кирѣевскаго . . 1—112

—

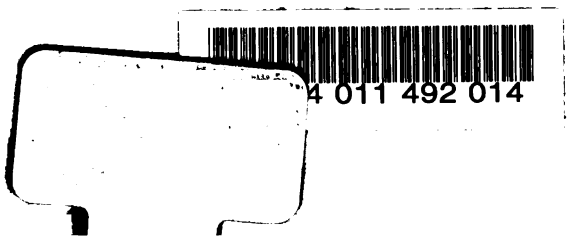
Царицынская ночь 1
Нѣчто о примѣрѣ поэзіи Пушкина 5
Обозрѣніе Русской Словесности за 1829 годъ . . . 19
Опалъ (волшебная сказка) 47
Девятнадцатый вѣкъ. 61
Обозрѣніе Русской Словесности за 1831 годъ . . . 86
Русскіе альманахи за 1832 годъ 103
Горе отъ ума — на Московскомъ театрѣ 106
Нѣсколько словъ о слогѣ Вильмена 111
О Русскихъ писательницахъ 114
О стихотвореніяхъ Языкова 126
Отрывокъ изъ романа: Двѣ жизни 139
Островъ (недоконченная повѣсть) 147
Въ отвѣтъ А. С. Хомякову 188

—

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does ***not*** *exempt the borrower from overdue fines.*

Harvard College Widener Library
Cambridge, MA 02138 617-495-2413

WIDENER
WIDENER
SEP 1 0 2000
CANCELLED
BOOK DUE

Please handle with care.
Thank you for helping to preserve
library collections at Harvard.